

Дмитрий Могилевцев

Хозяин лета. История в двенадцати патронах



Однажды летом в Город пришла война. Кровавое безумие захлестнуло людей – брат пошел на брата, сын предал отца, друзья отrekli друг от друга. Страну рвут на части – спецслужбы, политики-интриганы, каждый хочет получить свою долю.

По воле случая, в эпицентре безумных кровавых событий оказываются двое приятелей – научный сотрудник и вечный студент. Одного судьба заносит в лагерь повстанцев, другой оказывается в руках спецслужб. Их задача – выжить, ведь именно они должны распутать клубок грязных интриг и сыграть главную роль в этом абсурдном спектакле.

Дмитрий Могилевцев

Хозяин лета

История в двенадцати патронах

ПАТРОН ПЕРВЫЙ: ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Тогда было жарко. Мы сидели в кафе, там, где проспект отрывается от площади Победы, и пили дорогое русское пиво. У нас почти не было денег, но мы купили по бокалу «седьмой» «Балтики», холодной до ломоты в зубах, цедили потихоньку, растягивая удовольствие, и говорили про Город и войну. А он сидел за соседним столиком – долговязый, нахохлившийся, спрятавший руки в карманы короткой кожаной куртки. Жара стояла под тридцать, липкая, удушливая, выжимающая пот жара, а он сидел, упрятав руки в карманы. Перед ним на столе стоял полупустой бокал с пивом, лежала непечатая пачка сигарет.

Мы, перебивая друг друга, доказывали, что этот Город построен вокруг войны, минувшая война – главное событие его истории, он волочит ее за собой, только копни – всё полезет наружу. И что это чепуха, всё давно сгнило, рассыпалось, стало словами, война спряталась в телевизор, и никому до этого прошлого нет дела и не было никогда. А он слушал, уставившись в бокал. Потом в кармане у него запищало. Он вынул левую руку, посмотрел на часы. Залпом допил пиво, поморщился. Встал. Вынул из кармана правую руку – вместе с зажатым в ней пистолетом. Шагнул вперед, за тротуар.

И мы, глядя ему вслед, увидели, как от Инъяза на площадь заворачивают машины – сперва джип с черными стеклами, потом низкий серый «мерседес». Сворачивая на проспект, тормозят. А он шагает между джипом и «мерседесом», поднимает пистолет и стреляет. Он успел выстрелить всего раз. Потом «мерседес» ударил его, подбросил в воздух, отшвырнул, словно ломаную куклу, на тротуар. А сам, завизжав тормозами, крутанул вправо, со странным звуком, похожим на хруст ломающегося карандаша, свалил фонарный столб и въехал в витрину писчебумажного магазина. Рядом начали визжать и метаться, из джипа выскочили квадратные тяжелые люди во взмокших от пота белых рубашках, кто-то повалил соседний зонтик, брызнуло пиво. А Дима неестественно спокойным голосом сказал: «Смотри». И показал пальцем вниз.

Заглянув под столик, я увидел: у самых моих ног лежал пистолет. Серый, тяжелый, с выбитым на коробке кожуха номером, с отполированной руками рукоятью. Я хотел что-то сказать и не смог, в горле застряло холодное, гадкое. Мутно подумалось: нужно скорее бежать, нет, спокойно встать или закричать: мы ни при чем, он случайно попал, прилетел, ударом вырвало.

– Не вздумай заорать, – сказал Дима. – Спокойно допиваем пиво и уходим. Война, говоришь?.. Мать твою.

Нагнувшись, он поднял пистолет и сунул в сумку.

Мы допили пиво. Я едва дождался, пока Дима выцедит последние капли. Я его ненавидел. Меня жгло, кубоголовые люди кричали и махали руками у воткнувшегося в витрину «мерседеса», вылившего радужную вязкую лужу, плакала официантка, забыв закрыть пивной краник, кого-то били черными дубинками набежавшие омоновцы, а мы допивали пиво. Потом, через сотню холодных, потных вечностей мы встали и пошли к Инъязу.

Когда на углу Дима, приостановившись, закурил, я прошипел сквозь зубы: «Мудак!» Димка ухмыльнулся и постучал согнутым пальцем по лбу. А я сказал, что он – полнейший дебил, этот пистолет теперь – приговор и мне, и ему, и, если он не выбросит его немедленно

и не уедет куда-нибудь в тмутаракань, если его, не дай бог, поймают, он и меня под монастырь подведет, и половину наших знакомых. А он сказал, ухмыляясь: всё будет о'кей, пистолету я найду применение, не сомневайся. Тогда я его ударил снизу в челюсть, а потом в ухо, но он нырнул под удар, и некоторое время я ничего не видел, уткнувшись в свои колени и хватая ртом воздух. А после, когда уже смог дышать нормально, мы пошли в парк, купили по гамбургеру и молча съели, глядя на разноцветные катамараны, ползающие по цветной свислочской воде. Дима ел морщась – горчица щипала разбитые губы.

Это лето было знойным и злым. С середины мая на Город навалился удушливый азиатский зной, злой, напитанный пылью. Небо, утратив обычную майскую голубизну, превратилось в белесую муть, накрывшую Город катаракту, застоявшуюся гарь. Жара пришла, как внезапный удар под дых после непомерно долгой, растянувшейся на полгода зимы. Весь март лежал снег, апрель беревило нудными, промозглыми дождями, и весна пробилась в Город только к майским праздникам. Длилась она три дня, пока распускалась листва, а потом Город захлестнуло лето. Жара мертвила. Открытые окна не приносили прохлады – горячий ветер нес песок, и осадок в чайных стаканах скрипел на зубах. Пропотевшие воротники рубашек вбирали пыль, превращаясь в наждак, и до крови стирали шею. Сидеть в кабинете стало мукой. К середине июня жара выдавила из Города всех, кто мог себе позволить уйти в отпуск, спрятаться на дачах и в деревнях или в санаториях у пригородных водохранилищ.

Я этого себе позволить не мог. Я жил в крохотной комнатухе академического общежития, похожего на облупленный кусок бетонных сот, стоящая вкопанный в землю. А Дима тогда вообще нигде не жил. Он очередной раз пытался восстановиться на третьем курсе Радиотеха, пил пиво, бродил в сумерках по улицам, а устав, до одури зачитывался Розановым, лежа на коврик в моей комнате. Спал он на этом же коврике, укрывшись старым спальным мешком. В принципе, ночевать он мог в комнате брата, уехавшего в Гамбург аспирантствовать и оставившего в подарок ключи, но ключи Дима, по своему обыкновению, потерял, а взламывать дверь не позволили соседи. Потому он ночевал у меня.

Всякий раз, когда он вставал среди ночи покурить и пробирался на балкон, спотыкаясь о коробки с книгами и лязгая дверью, у меня возникало желание швырнуть в него лампой. А утром он делал чай, священнодействовал, ополаскивал чайник кипятком, подваривал щепотку чая, потом заливал чуть остывшей водой, взбалтывал. Налив первую порцию, подолгу принимался, прежде чем сделать первый крошечный глоток. Потом полчаса сидел на балконе, медленно потягивая чай и выкуривая сигарету за сигаретой, стряхивая пепел на изгаженный собаками газон. Он был талант, циник, болтун и разгвоздяй. У него блестяще получалось всё, что успевалось за день; кое-как, с грехом пополам выходило то, на что приходилось тратить месяц, а все долгосрочные проекты неизменно заканчивались катастрофами.

Его выперли со второго курса Радиотеха в результате длинного ряда безобразий, венцом которых стала подделка телефонных карт. Димин напарник, занимавшийся сбором отработанных карт и продажей перезаряженных, не нашел ничего лучшего, как разместить объявление прямо на доске напротив институтского гардероба. В милиции напарник плакал, клялся и божился, жаловался на скудную стипендию. Дали ему два года условно, а Дима очень долго объяснял, откуда у него взялись три сотни телефонных карточек, и что он с ними собрался делать. Но так и объяснил, а напарник, шмыгая носом, стараясь не глядеть на безмятежно улыбающегося Диму, так и не смог внятно рассказать на очной ставке, какую именно роль в предприятии Дима играл. Тем более что из имущества, кроме карточек, у Димы нашли только три пары носков и брошюрку Бердяева – и ни единого проводка или микросхемы, не говоря уже о программаторе для карт.

После инцидента с картами деканат дождался первого экзамена зимней сессии, злая старая дева в черепаховых очках вписала в зачетку «неуд», не выслушав ответа даже на первый вопрос, и Дима отправился в армию – защищать Родину в составе войск быстрого

реагирования. За первые полгода армии он едва не заболел цингой, трижды прыгал с парашютом, научился водить бронетранспортер и познакомился с начальницей полковой бухгалтерии, крупнозубой крашеной блондинкой с накладной грудью третьего размера.

Оставшийся год с небольшим Дима провел за компьютером, составляя программы расчета зарплат для полковой, а потом и для дивизионной бухгалтерии. Армейскую форму он забросил, ходил в толстом свитере, подаренном начальницей, и драных джинсах, а на обед кушал супчик, который приносили из дому хихикающие, упитанные вольнонаемницы. Они то и дело просили объяснить, как в компьютере работает то и это. Взмахивая густо накрашенными ресницами, слушали, томно наклоняя головы. Дима объяснял сурово и немногословно, по-военному. Вольнонаемницы вздыхали и тайком приносили ему сигареты и домашние пирожки. Подполковник здоровался с Димой за руку.

Идиллия закончилась месяца за три до дембеля, когда начальница, неожиданно прибежав вечером на работу за забытой косметичкой, увидела на своем столе раскинувшую пухлые голые ноги, сладко всхлипывающую Ниночку из планового отдела и размеренно трудившегося над ней Диму. Начальница швырнула в них сумочкой и истошно завизжала. Дима молча слез с Ниночки, повернулся к начальнице, неторопливо спрятал мокрый член в штаны, застегнулся. За его спиной трясущаяся от ужаса Ниночка пыталась попасть ногой в трусики. Начальница визжала. Дима размахнулся и влажной от пота и Ниночки ладонью шлепнул ее по щеке. Начальница икнула и закрыла рот, а открыв, пообещала Диме трибунал и дисбат.

До трибунала, правда, не дошло – Ниночка, перед тем как уволиться по собственному желанию, рассказала, что тоже как-то наведася вечером в начальнический кабинет и тоже кое-что увидела, но визжать не стала, а совсем наоборот. Чья корова бы мычала, а ее, начальническая, помалкивала бы про разврат в армии. И еще вдруг открылось: весь написанный бухгалтерский пакет, которым уже полгода начисляли зарплату всей дивизии, почему-то оказался без документации, и без Димы с ним никак невозможно управиться. Поэтому Дима благополучно дотерпел до дембеля, перетерпел его и снова оказался в зимнем Городе – без денег, без жилья, с парой носков в кармане и томиком Бердяева.

Кое-кто из старых знакомых помог найти работу в фирме, которая днем продавала компьютеры, а ночью на заднем дворе лихорадочно перегружала коробки и тюки из одних фур в другие. Через месяц Дима пришел к менеджеру сообщить, что за месяц этот продано всего два компьютера. Менеджер, весело ухмыльнувшись, сказал, что дела, оказывается, идут намного лучше, чем ожидалось, а Диме лучше сидеть в своем кресле и тихо получать заработанное. И не беспокоить занятых людей. На завтра Дима уволился, а еще через неделю офис фирмы ночью взяли штурмом спецназовцы. Во дворе, у фур, началась перестрелка. Менеджер, отстреливавшийся из короткоствольного десантного «калаша», получил пулю в живот и трое суток умирал в военном госпитале на Золотой горке, в палате с решетками на окнах. Дима снова оказался на улице без гроша в кармане. А потом началось лето.

Дурацкое, болезненное, несуразное, злое лето. Город заболел им. Мучительно и сильно, как взрослые болеют запоздалой ветрянкой. В реках и каналах зацвела вода, а берега заполонили метелистые, золотисто-мохнатые камыши, из газонов полезла жесткая трава с острыми краями, в парках и скверах птичий гомон заглушал шум машин. Начались перебои с водой, а когда вода шла, то отдавала ржавью и плесенью, и запах этот не могла перебить никакая хлорка. Всё регулярное – от троллейбусов до киносеансов – как-то сразу разладилось, начало откладываться или начиналось до срока. И, на моей памяти впервые в Городе, по ночам начали стрелять.

Нам тогда перестали платить деньги. Подходил день полочки, на дверях кассы висела картонка с двумя аккуратно выведенными шариковой ручкой словами: «Денег нет». В бухгалтерии пожимали плечами. Денег не было во всей Академии наук, институты отправляли людей в бессрочные отпуска за свой счет. Поговаривали, правительство решило втихомолку Академию вообще прикрыть, сократить вдвое число институтов, а оставшиеся раздать по министерствам. Я не обращал на слухи внимания. Мне нужно было за июнь

окончить работу по проекту, а после я собирался в горы – до осени, подальше от академических потрясений и заболевшего Города. Я вставал утром, умывался, пил заваренный Димой чай, шел на работу, возвращался вечером, пил чай и ложился спать, зачеркивая в календаре еще один прожитый, выпихнутый в прошлое день. Оставшаяся до жирно-красной отпускной черты колонка цифр становилась всё короче, и я поглядывал на нее с удовольствием. Деньги у меня еще оставались, всю зиму я подхалтуривал – писал для местного полуподпольного издательства боевик с героем-спецназовцем и толпой совокупающихся с ним красоток. Правда, в рамках жанра я удерживался с трудом.

Вконец доконало боевик то, что под Новый год я вдрызг рассорился с Леной. Один мой старый приятель, прознав, что мы наконец-то отнесли заявление в загс, созвал друзей, пригласил нас к себе и устроил прощание с холостяцкой жизнью. Прощались мы бурно, вспоминая былые похождения. По мере убывания жидкости в бутылках воспоминания наши становились всё более откровенными. В конце концов Лена, расплакавшись прямо за столом, пообещала хозяину квартиры, терзавшему гитару, разбить бедный инструмент о его голову. Я отдал Лене свой носовой платок, вывел ее наружу и усадил в такси. На прощание она посоветовала мне забыть о ее существовании – для тренировки в забывании вещей, которые стоит забыть раз и навсегда. Но забыть у меня пока получалось не очень.

Чем чаще я не мог заснуть, ворочаясь на узкой общежитской койке, тем больше совокупительных сцен оказывалось в романе. К весне боевик превратился в откровенную порнографию. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы к концу романа герой снова начал стрелять и успел на оставшихся до нормы тридцати страницах перебить всех злодеев.

На аванс, полученный за три первые главы порнобоевика, я жил, а на гонорар хотел поехать в горы. С аванса же подкармливал Диму. Его не хотели восстанавливать на бесплатном отделении, а на платном пришлось бы выкладывать восемьсот долларов за год. Продать он мог только свой программистский профессионализм, но кому нужен программист без высшего образования, когда в Городе полно безработных выпускников того же Радиотеха? Плюс университет, плюс Политехнический. Еще он умел прыгать с парашютом, плевать сквозь зубы, вязать страховку обледенелой веревкой и курить на четырехкилометровой высоте, не задыхаясь. Помимо этого, предложить потенциальному работодателю было нечего. Правда, еще он умел стрелять.

Вечером того дня мы сидели в моей комнате на ковре и пили заваренный до черноты «Ахмад». Сумка с пистолетом валялась под столом, и мне казалось – сквозь ее мягкий дерматин отчетливо видны контуры пистолета. Я сказал, что Дима может оставаться в этой комнате до завтра – не дольше. И если он хочет выползти целым из дерьма, в которое по собственной глупости затянул и себя, и меня, то утром немедленно уедет из Города. Куда? Куда угодно, к черту на кулички, и забросит в эти кулички пистолет, сунет в болото или корове в задницу, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, а лучше, если разберет на части и разбросает в разные стороны. Нет денег? Вот пятьдесят долларов. Больше не дам. Этого хватит, чтобы доехать до какой угодно отечественной глухомани и обратно, а потом к родителям в Витебск и сидеть там до осени, а лучше и вообще оттуда не выползать, пока не поумнеет. Дима согласно кивал и подливал себе чай. Потом вылил мой, остывший, и налил из чайника свежего.

Часов в девять пришел Володя – историк, знаток православной литургии и полиглот, способный разговаривать и писать на семи живых и двух мертвых языках и совершенно не способный заработать на жизнь с их помощью. Он рассказал нам про недавний футбольный матч с испанцами, про то, какие красивые голландки, про то, что сейчас среди оппозиции распространяется самое настоящее язычество: они не старые традиции восстанавливают, а проповедуют самое настоящее поганство. Вы на них только посмотрите: хороводы водят, в венках, голыми вместе в реке по ночам купаются – стыд. Правильно их разгоняют.

Мы слушали, изредка вежливо поддакивая, Володя разошелся, обличая, сек ладонью воздух. Потом внезапно застеснялся, смолк, отхлебнул чай, похвалил: да, Дима всегда

отлично чай заваривает, ни у кого так не получается, живой чайный аромат. Мы молчали. Чувствуя, что разговор не клеится, Володя вспомнил прогноз погоды, поинтересовался, как моя работа, и нашел ли Дима работу себе. А вообще, особое положение скоро будет и комендантский час. Наверное, соберут спецназ со всей республики сюда, террористов искать. Может, и войска в Город введут. Почему? Как почему, вы разве не слышали? Да весь Город гудит, по радио сколько раз передавали: сегодня на площади Победы застрелили Понтаплева.

Я выронил полную чашку чая – себе на брюки.

Особое положение ввели назавтра – об этом по радио передали сразу после утреннего гимна. Правда, в чем именно состоит особое положение, не пояснили. И про комендантский час – ни слова. Утром я провожал Диму. Мы сели в троллейбус и поехали к вокзалу. Ближе к центру приметы особого положения стали явственно различимы. Взгляд повсюду утыкался в черно-пятнистые униформы. Ими всё кишело, как муравьями во время лета, они кучковались и бродили поодиночке, уныло толклись у машин, крутили в руках дубинки, останавливали редких прохожих. На перекрестках, впечатавшись сапогами в асфальт, укоренились их утяжеленные разновидности – в касках и черных потертых бронежилетах, с автоматами наперевес. На Немиге в троллейбус вошли омовцы – сразу во все двери. Мое сердце провалилось сквозь пятки и троллейбусный пол – куда-то к загнанной под землю реке, в гнилую, холодную воду. Но они никого не проверяли. Прошли по троллейбусу, особенно ни к кому не приглядываясь, их старший, сержант, махнул водителю рукой – езжай, всё в порядке. Напротив из разбитого окна азербайджанской закусочной выволакивали кого-то, кричащего, забрызганного кровью. У стены шеренгой стояли какие-то всклокоченные, полурастерзанные люди, по тротуару вилась змейка желто-коричневой, горячей жижи. У вокзальной развязки, за Театром музкомедии, в развороченном газоне торчал бронетранспортер, темно-зеленая восьмиколесная, приплюснутая раскоряка, с нашлапкой башни наверху. Башенный пулемет был расчехлен.

Нам повезло. Если б мы приехали на метро, нас бы взяли прямо у выхода на вокзал. Подходы к вокзалу огородили, у проходов стояли двумя шеренгами, пятнистым коридором, водили металлоискателем по одежде, по сумкам и чемоданам, подозрительное заставляли выворачивать прямо на бетон, ощупывали, обыскивали, уводили. Дима дернулся назад, но я схватил его за локоть, и мы подошли к привокзальному скверу, к грязной пивной, устроенной в старой багажной. Обычно там круглые сутки околачивались бомжи, а поутру стекались, мучимые похмельем, – в семь утра за километр вокруг вокзала похмелиться было больше негде. Там мы всю Димину сумку загрузили бутылками, дрянной местной «Оливарией». Мне казалось, донца бутылок лязгают о пистолетное железо, этот лязг отчетливо слышен, к нам не бегут только потому, что еще не поняли, но вот-вот поймут, непременно поймут. Последняя бутылка не влезла, я открыл ее и тут же, у окошка, изображая мучительную жажду, наполовину выхлебал, затылком ощущая взгляды.

Диме пришлось тащить сумку с девятью бутылками пива через три квартала, до «Института культуры». Проще, наверное, было проехать на троллейбусе назад и сесть на метро, но я не хотел рисковать. На самом деле куда большим риском было идти пешком: патрули попадались через каждые десять метров. На Московской, у Академии управления, нас остановили и попросили предъявить документы. Я, млея, потащил из кармана ворох карточек, пропусков, удостоверений, Дима полез за паспортом, но, видя нашу покорность и готовность предъявить всё и вся, патруль потерял интерес, омовец перелистнул страницу паспорта и тут же вернул его, и мы потащились через переход к платформе, с которой отправляются электрички. Через двадцать минут отправлялась оршанская.

По платформе тоже бродил патруль, но к нам не подошел. Уже стало жарко, от залитых мазутом рельсов, от асфальта пошла нефтяная вонь, смердело гнильем из урны, доверху набитой огрызками и скомканной бумагой, тошнота подкатывала, дергала глотку, но я терпел, стиснув зубы. Взыв издали, подкатила электричка, лязгнула дверьми. Я не стал

ждать, пока она отправится, махнул Диме на прощание и поспешил в метро, к прохладе. Меня всё же вырвало – утренним кофе и пивом, вырвало на троллейбусной остановке у Академии наук, прямо под ноги, на асфальт. Я оперся о стену, стена странно качалась, словно резиновая, невозможно удержаться, ко мне поспешили, подхватили, тряхнули, сбросив с носа очки. Я смотрел на расплывчатую пятнистую фигуру перед собой и улыбался – вяло и счастливо. Омоновец усадил меня на скамейку, сунул в руки очки, похлопал на прощание по плечу: «Держись, паря!» Его напарник хмыкнул: «Пить надо меньше».

Весь день я отлеживался, оплывая потом, и пил минеральную воду. Часов около шести встал, поплелся в магазин – купить еще минералки, а заодно купил газеты – и правительственные, и пару невест как уцелевших оппозиционных. В правительственных всю первую страницу занимало гневное выступление отца нации, призывавшего укрепить, отомстить и разобраться – прежде всего с теми, кто подрывает единство нации в трудные времена. Хорошо известно, откуда протянулась когтистая лапа, на чьи деньги готовят убийц, кому неуютны лучшие люди страны. Мы найдем и отомстим, мы покажем. Мы вскроем гнилой нарыв заговора, поразившего страну. Мы начинаем безжалостную войну. И так далее. Оппозиционная пресса молчала, только в «Деловой газете» появилась короткая недоумевающая статья: кому помешал Понтаплев? Кому повредил? И кому вообще был нужен, кроме отца нации? На последнем вопросе статья обрывалась, словно автор ужаснулся могущих последовать выводов. В вечерних российских новостях сообщили деловито и сухо: умер мгновенно, пуля попала в лоб, убийца погиб, подозреваемые арестованы (у меня екнуло сердце), следствие ведется.

В самом деле, кому мог мешать Понтаплев? В правительстве он исполнял роль министра без портфеля, он ничем не командовал и ни за что не отвечал, ничем не руководил, да и навряд ли был способен руководить. Единственной его должностью и обязанностью было говорить с отцом нации. Тогда, когда у того возникало желание поговорить с кем-нибудь просто так, ни о чем. Понтаплев был единственным выжившим и оставшимся в милости членом команды, приведшей отца нации к власти. Единственным из тех, кто играл с ним в футбол на траве подле ленивой реки, на окраине крохотного провинциального городка, известного только огурцами да событиями трехсотлетней давности.

Остальные окончили либо послами в странах, где имя нашей едва ли знали за пределами посольского квартала, либо политэмигрантами, либо тихо перебрались в соседнюю державу, предварительно прикупив там собственность и переведя капиталы. С ними всеми отец нации расправился еще в первый год пребывания у власти. Остался лишь Понтаплев, ничего не умеющий, никому не угрожающий выпускник областного Пединститута, сменивший десяток мест работы – от инспектора детской комнаты милиции до завхоза спецшколы для слепых, компанейский, мягкий, вялый, верный человек, слепо верящий в того, которому помог пробраться к власти.

Я знал его. Я знал и нынешнего президента, видел, как он размашисто лупил по мячу, бежал, кричал: «Держи!» и «Мне давай, мне!», как после, скинув мокрую от пота майку, лез в воду, ухал, плескался. Потом они на лужайке над пляжем стелили газеты и выкладывали нехитрую закуску, разливали припасенную водку, спорили, вытирали о газету засаленные руки. Трудно было предположить, что эти люди через пару лет уже будут распоряжаться чужими судьбами, и моей в том числе.

Мне в голову как-то пришла мысль, что отец нации, должно быть, немыслимым чудом прополз из тогдашнего, знаменитого, трехсотлетней давности прошлого в современность. Приволок оттуда свою странную, первобытную харизму, и корявый язык, и жилистые, волосатые, сильные ноги. Он мог бы звать окрестную мелкую, вечно пьяную шляхту в набег на соседей, или вынестись на саблях на гребень бунта и залить кровью приграничные поветы, или орать на сейме: «Не позволяй!» Может, потому он с такой легкостью продирался, куда хотел, что наше время по-настоящему не держало его. Он лгал легко, как дышал, и яростно отрицал, что солгал хоть когда-нибудь, всегда делал и говорил, что хотел,

и ненавидел всех, имевших право приказывать ему.

Когда он шел к власти, страна болела. Едва отколовшись от империи, она нищала на глазах, и тогдашнее руководство, большей частью старое провинциально-имперское чиновничество, разбавленное горсткой сунувшихся во власть интеллигентов, не успевало латать дыры в расползавшемся по швам государстве. А будущий отец нации упрямо лез наверх, расшвыривая их, как кегли. У него всегда были ответы на все вопросы, и, пока первый спросивший стоял с открытым ртом, силясь найти смысл в бессмысленном ответе, ответы получали уже второй и третий – все с такой же безапелляционностью и уверенностью. Уже депутатом парламента он выучился экранной магии: лоску, бьющему в глаза эффекту, позе, резкой, рубленой фразе, пристальному, не отпускающему взгляду. Он вел себя так, будто вот-вот выскочит из костюма, высклизнет, высалится и очутится перед экранами голым, волосатым, воплощенным срамом, хищной пещерной елдой, вонючей, грязной и жаркой.

Ночью меня лихорадило. Я, должно быть, начал путать прошлое с настоящим, то просыпаясь, то снова проваливаясь в зыбкий, больной сон. Ночью Дима вставал покурить и шел на балкон, я чертыхался, швырял в него чем-то, вскочил, чтобы закрыть за ним дверь и запереть на балконе, – сколько можно ходить, в самом деле? – а балконная дверь оказалась закрытой. Кажется, я открыл ее и вышел на балкон сам. Внизу, в огороженном домами дворе, оглушительным, болезненно ярким огненным веером выбрызнулась автоматная очередь, побежали, закричали люди. Я стоял, крепко вцепившись в ржавый поручень, – а потом оказался в кровати, ломило в висках, я привстал, потянулся, нащупал балконную дверь – заперта.

Когда начало светать, зашел Барановский, местный алкоголик, когда-то сотрудник Академии, с тощей козлиной бороденкой и бородавкой на лбу, спившийся, отовсюду уволенный, подрабатывавший между запоями на стройках. Когда его мучило похмелье, он мог зайти и в шесть утра, и в четыре, стоять уныло, сгорбившись, приоткрыв дверь, но боясь переступить порог, просить тоскливо и хрипло: «Ну хоть тысячу, а? На хлеб». От него несло мочой и перегаром, нестерпимо, тошно; я закричал, бросил будильником. Но он не уходил. Я вдруг вспомнил: он умер еще три месяца тому назад. Он пьяным повадился ходить к девушке, сотруднице Института социологии, жившей этажом выше меня. Она не знала, куда от него деться, он признавался в любви, носил цветы, просил всех подряд сходить к ней и сказать, как он любит ее, пел у нее под дверью – обычно одетый только в ветхие, дырявые, полуспущенные семейные трусы. Она не открывала, кричала из-за двери, чтобы он уходил, а то вызовет милицию. Барановский плакал, бил себя кулаками в грудь, говорил, что умрет, жить-то ему незачем, вот сейчас пойдет на лестницу, упадет и убьется, и она будет виновата. Три месяца тому назад, в начале весны, он в самом деле упал. Его пытались растормошить, заговаривали с ним, пинали. Потом оттащили, чтоб не загораживал проход. Часа через два выглянула девушка, закричала и побежала вызывать «скорую».

Барановский не уходил. Тогда я принялся его уговаривать. Говорил, что он мертвый, и ему уже не нужно хлеба. И пить ему тоже не нужно. Поднялся с кровати, прикрываясь простыней. Волоча ее за собой, подошел к двери – я очень боялся и всё время говорил, чтобы отвлечь его внимание, – а он стоял неподвижно и смотрел. Я захлопнул дверь и повернул защелку. Добрел до кровати, повалился. Заснул.

Утром я поставил себе градусник, раскопав его в тумбочке среди старых бумаг и карт. Оказалось тридцать девять с половиной. Я выпил две таблетки аспирина. Заварил чаю с медом. Заставил себя выпить. Сел на кровати, дрожа. Это жара и нервы. Должно быть, просто жара и нервы. Я уже не первый год едва доползаю до отпуска. Сейчас не дополз. Ничего, не страшно. Бывало и хуже. Бывало. Наверное.

Около двух я заставил себя встать, на четвереньках дополз до двери, цепляясь за стену, встал. Зашел в душ, включил холодную воду и сел на пол. Было больно, но хорошо. Потом я принес одеяло в душевую и, не выключая душ, лег в раздевалке.

Пролежал я целую ночь, то оплывая потом от жары, то трясаясь от холода. А в понедельник утром, когда я наконец встал, жадно съел зачерствевшую за трое суток четвертинку хлеба, выбрился и пошел на работу, – я заблудился.

Я прожил в Городе шестнадцать лет, почти полжизни. Я изучил его весь: от свалок до центральной площади, огороженной университетом и серой, слепою из кубов и пирамид громадой Дома Правительства. В шестнадцать лет я поступил в университет и с тех пор кочевал по Городу. Год там, месяц тут, комнаты общежития, квартиры, снова комнаты, уже на другой спице исполинского колеса, кое-как уложенного, вмятого в приречные холмы. Я изучил сеть его улиц, его прожилки и закоулки, как узор морщин на своей ладони. Я прошел вдоль каждого из спиц-проспектов, разбегавшихся от загроможденного сталинской лепниной центра, проследил русла рек и каналов, пересекающих людные улицы, чтобы спрятаться в кварталах фабрик, затеряться среди пустырей, заросших бурьяном.

Я давал свои имена улицам – имперская топонимика была на редкость убогой, карту заполняли имена маршалов, народных героев, дюжины узаконенных поэтов и стандартный, присутствующий в любом имперском городе набор прилагательных. Я давал имена не всему, а только тому, что было изучено до мелочей. Со знанием приходило и имя. Великокняжеский проспект. Шоссе Первого маршала империи. Храмовый провал. В студенческие годы мы целыми днями играли в городскую дуэль: дуэлянты, не глядя на карту, по очереди называли улицы и направления, а секунданты двигали фишку по карте – от перекрестка до перекрестка. Проигрывал тот, кто пересекал уже пройденный путь или позволял противнику завести фишку в назначенное им заранее место. Я проигрывал редко. Я мог бродить по Городу вслепую, определяя улицы по шуму, запаху, по контуру теней летним вечером, по скрипу качелей во дворе.

А в понедельник утром, щурясь от яркого солнца, я вышел из общежития, прошел по Широкой до тракта, зашел в парк, минут десять шел по вьющейся среди деревьев тропе, вышел к шоссе – и понял, что не могу вспомнить этого места. На остановке парились в пятнистых комбинезонах солдаты. Не чернопятнистый ОМОН, а зеленые, армейский спецназ. Их «уазик» стоял метрах в ста, под кустами. За шоссе начиналась частная застройка – странная, сплошь из ветхих, гнило-черных деревянных домов, крытых ржавым железом и кое-где даже – я едва поверил своим глазам – гонтом. Я пошел на запад по улице, минут через десять она уткнулась в глухую кирпичную стену метра в два высотой. Направо улица терялась среди деревьев, налево виднелись высотные дома. Еще минут через десять левая дорога вывела к мосту через мелкий, заросший камышами канал, я не смог его вспомнить. К метро я вышел только через час, а на работе полдня изучал карту, пытаюсь понять, куда же меня занесло. Но так и не понял.

Город менял краску, как заблудившийся хамелеон. Улицы стали черно-пятнистыми, зелено-коричневыми. У института на всех четырех углах перекрестка стояли разноцветные солдаты – коричнево-серо-рыже-желто-зеленые униформы, каски с маскировочной сеткой и без, автоматы, подсумки, бронежилеты. В обед ко мне в комнату забежал коллега, бородатенький, толстенький, мягкогубый человечек Царьков, и, округляя глаза, шепотом принялся рассказывать, какие ужасы творятся вокруг, скольких арестовали и что подозревают – страх-то какой! – кого-то из Академии.

– С какой стати из Академии? – спросил я, улыбнувшись снисходительно, чтобы обозначить заведомую глупость этого предположения.

– Из Академии, из Академии, – забормотал Царьков, вздрагивая губами. – Все срочно по отпускам разбегаются, тебе шеф еще не говорил, нет? Он, конечно, тебе сам скажет, но я вот заранее говорю. Ты смотри.

Подозрение хозяев Города действительно пало на Академию. Нам с Димой очень повезло. Через пару минут после того, как мы, допив пиво, ушли, подъехавшие со всех

сторон охранка и ОМОН стали хватать всех, кого замечали поблизости: и прохожих, и тех, кто еще сидел в кафе, оцепенев от неожиданности, и барменов, и официанток, и ремонтировавших вывеску рабочих. В городе хозяйничали разные охранки, свирепо враждовавшие между собой. Делами Города ведало Управление КГБ по Городу и области, могущественное и богатое, на равных соперничавшее с Управлением КГБ страны. И те и другие предпочитали не конфликтовать с личной охранкой отца нации.

Кроме того, была еще армейская охранка, в послеимперское время, правда, захиревшая, но еще сохранившая связи с метрополией. Было МВД со своим Особым отделом по борьбе с терроризмом и ОМОНОм, неимоверно в последнее время разросшимся. На месте происшествия, конечно же, первой оказалась личная президентская охранка, именно ее люди сопровождали машину Понтаплева. Но они некоторое время никого не арестовывали; вытаскивали «мерседес» из витрины, вызывали подмогу и думали, что доложить начальству.

Хватать разбежавшихся начал наряд ОМОНа, случившийся неподалеку на проспекте. Вслед за ним начали отлов кагэбэшники из городского Управления. Прибывшим еще минут через десять кагэбэшникам республиканским осталось только смотреть на разбитую витрину и масляное пятно и на коллег-соперников, деловито метящих асфальт мелками. И тут капитан из республиканского обратил внимание на то, что, схватив буквально всех и каждого, непостижимым образом никто из соперников не обратил внимание на барменшу, стоящую у крошечной пивной стойки под зонтиком, совсем рядом с тем местом, где сидел стрелявший. Она стояла как изваяние, оцепенев от ужаса, в синем фартучке и фирменной кепке «Балтика», приставленный к пиву и краникам истуканчик, привычный предмет интерьера. И на нее никто не обратил внимания, кроме раздраженного отсутствием улова капитана.

Тот сперва не поверил своим глазам, а потом вытащил барменшу из-под зонтика и потащил. Она начала визжать, метившие асфальт особисты бросили мелки, капитан волок бьющуюся в истерике барменшу к своей машине, а навстречу уже бежали коллеги-республиканцы. Пока он доволок ее до машины, она выбила ему зуб и едва не сломала челюсть. Капитана звали Андрей Ступнев, ему было тридцать три, в охране он работал восьмой год. За два года до того, как стать особистом, он ходил вместе со мной в Фанские горы.

Барменша осталась единственным уловом республиканского Управления – но уловом ценным. Комитетчики городского Управления взяли больше сотни человек, заняли ими четыре следственные группы, и пришлось срочно формировать пятую. Республиканское Управление имело только барменшу и вскоре выкачало из нее всё без остатка. Полезной информации оказалось немного. В ее памяти застряли обрывки: кожаная куртка стрелявшего, испещренное паутиной сетью трещин стекло, кто-то в бейсболке, рыжий, нагло требовавший заменить уже початый бокал с пивом: дескать, бокал оказался грязным. Бедняжка, она полдня стояла на жаре, изнывая, у нее чесалось под кофточкой, а сменить не хотели. Ее всё злило: и машины, и разговоры, и люди, чьи лица слепились в бесформенную мешанину губ, чело и противосолнечных очков. Всё злило. А что особенно злило? Да всё, всё!

На второй день допроса, после ночи на третьем подвальном этаже желтого дома на площади Рыцаря Революции, она вспомнила, что особенно ее злили разговоры, а в особенности разговор, подслушанный перед самым выстрелом. Сидели двое, совсем рядом с тем, в кожаной куртке, который стрелял, и трепались про жуткую заумь. История какая-то, война, уши в трубочку сворачиваются, тут такая жара, не знаешь, куда деться, хоть бы музыку включили, так нет, стой, слушай эту ученую белиберду. Следователь слушал, не перебивая, и кивал. Когда она наконец устала и затихла, следователь спросил, в очках ли они были. Она ответила: нет, без очков, она бы запомнила. Следователь, подумав с минуту, уточнил, что он имел в виду не противосолнечные, а обычные, такие, как очкарики носят. Барменша сказала: «Ой!» – и тут же вспомнила: были очки, гадкие такие, толстые, в проволочной оправе. У обоих были... ой, нет, кажется, у одного только, у того, который

больше всего трепался, небритый. Они по одному пиву взяли и сидели битый час. Все выпьют и пойдут, а они сидят, сидят, а еще у одного была сумка, точно, была. Следовательно кивал, улыбаясь про себя.

Но нам с Димой повезло снова: единственным словом нашей беседы, увязнувшим в памяти этой особы, оказалась «история». И потому республиканское Управление начало не с моего института.

Отец нации давно имел зуб на Академию наук. В давние провинциальные времена он питал едва ли не суеверный страх перед наукой, представлявшей ему чем-то вроде недостижимого, могучего волшебства, которым занимаются мудрые, непонятные люди. Надо сказать, к науке как таковой отношение его изменилось мало, но очень изменилось отношение к тем, кто наукой занимается. До отца нации страной руководил университетский профессор, физик, очень интеллигентный, умный, порядочный человек. При нем жизненный уровень и зарплаты упали чуть ли не в десять раз, при нем же развалилась империя, и именно он поставил подпись под документом, империю приговорившим.

Отец нации с легкостью переиграл его в парламенте, в пух и прах разнес на выборах и в конце концов оставил во главе игрушечной оппозиционной партии, едва наскребшей тысячу нужных для регистрации голосов. Вскоре после прихода к власти отец нации явился на заседание Президиума Академии, присмотреться к мудрым и непонятным служителям храма науки, но увидел перед собой только тех, с кем привык иметь дело на каждой ступеньке своей карьеры: мягкотелых, бессильных болтунов и ухватистых чиновников. Только болтуны были помягче, а чиновники – высокомернее.

Тогдашний глава Академии, директор Института математики, процедил сквозь зубы: «Я с этим крестьянином за стол больше не сяду». Его слова услышали и донесли до отца нации. Глава за стол действительно не сел, вскорости отправившись в Швецию и благополучно оставшись там то ли в качестве университетского профессора, то ли в качестве консультанта фирмы «Эрикссон». Еще через пару лет, присмотревшись к Академии пристальнее, президент прихлопнул остатки академической самостоятельности, оставив капризным академикам только право совещательного голоса, раздул втрое состав Президиума и назначил главой бывшего министра коммунального хозяйства. Тот, впрочем, оказался человеком прозорливым и не стал ворошить академический муравейник без особой нужды.

Отец же нации в конце концов окончательно разуверился в том, что полунинчие, вечно озабоченные, суетливые, занятые какими-то дрызгами и писаниной люди, сидящие в облезлых институтских комнатах, имеют какое-то отношение к великой и таинственной науке. Да, эти люди делали полезные вещи, выпускали какие-то приборчики, которые иногда можно было даже и продать за рубеж, особенно куда-нибудь на Восток. Но что, скажите, великого и таинственного во вставленных в железную оправу кусках стекла? Или лампочке? Или урчащей, плюющей маслом коробке с ручками?

Эти люди были не более чем мастеровыми, инструментами, довеском, едва ли оправдывающим свое звучное имя. Отец нации вообще хотел раздать Академию по заводам и министерствам, но его отговорили, указав, что заводы не прокормят такую ораву бездельников. Тогда он велел урезать финансирование до предела – пускай кормят себя сами – и проследить, откуда возьмут деньги те, кто сумеет себя прокормить. Этим занялись охранки, все три главных. Попытались даже ввести цензуру электронной почты, но быстро захлебнулись в лавине информации, и пришлось ограничиться выборочной проверкой. Но одновременно высочайшим указом были назначены особые премии и стипендии выдающимся ученым, республиканские премии за выдающиеся открытия.

Отца нации поразило, что, оказывается, были открытия и вполне международного масштаба. Оказывается, эта великая наука всё же скрывалась где-то рядом, среди академического стада всё же прятались они, истинные жрецы. Академическое же стадо почему-то стало быстро разбегаться, в массе уезжать за границу, и те, заграничные, заведомо настоящие жрецы почему-то их принимали. Охранки пытались ограничить отъезд, бывший

министр коммунальных услуг взывал к патриотизму, аспирантов обязали отрабатывать три года под угрозой лишения диплома, но они всё равно уезжали. В Институте математики, вдохновленном примером директора, на седьмой год правления отца нации остались только дирекция, бухгалтерия и завлабы. Директор Института биохимии прихватил с собой и бухгалтерию, а заодно всю документацию по разработывавшимся в институте лекарствам. И вскоре открыл в Штатах фармацевтическую фирму.

Академия была головной болью. Рано или поздно ею пришлось бы заняться основательно. Потому республиканское Управление получило добро, как только попросило об этом. И первым под гребенку попал Институт истории.

По образованию отец нации был учителем истории, быть может, потому он сильнее всего ненавидел именно ее.

После разговора с Царьковым я пошел пообедать в пиццерию по соседству с институтом. Пицца там была не ахти, похожая скорее на вымазанный плавленым сыром распухший, дряблый блин, но ее было много, и стоила она дешево. В пиццерии я встретил Володю и еще одного парня из Института истории, Марата, археолога из отдела позднего Средневековья. Володя махнул мне рукой: садись к нам. Я подсел, и Володя спросил:

– Знаешь, что у нас? Не знаешь?

– Не знаю, – ответил я.

– Котловича взяли.

– Как взяли? Куда?

– Туда, – сказал Марат. – Приехали и взяли.

– Только его?

– Да. Прочим выписали приглашения. Полнубуйся. – Он протянул мне листок серой бумаги.

– Мне тоже дали, – сказал Володя, – только на четверг, а не на завтра. Директору целую кипу дали, почти на всех сотрудников, а он уже сам раздавал.

– И что теперь? – спросил я.

– Что? – Марат усмехнулся. – Ко мне по поводу молодежного лагеря на моем раскопе приходили еще прошлым летом. Вызывали. Прямо в лагерь приезжали. Всё выспрашивали, кто мы и как, да что мы про «Белый легион» знаем и про «Вояров». Интересовались, с чего это я молодежь собираю и почему это им так интересно в земле копаться.

– Говорят, подозревают «Белый легион», – сказал Володя.

– Этих клоунов в униформах? Это же бред. Да к тому же они наполовину из стукачей состоят – иначе с чего б их терпели так долго?

– Кому, может, и бред, – пожал плечами Марат. – А Котловича вели по коридору в наручниках... У меня раскопки через две недели должны начаться, я ребят уже собрал в лагерь. А тут... мать твою, и раскоп же нельзя бросать, столько работы.

– Как думаешь, что будет, если по повестке не прийти? – спросил Володя. – Приедут, как за Котловичем?

– Ну, ты как ребенок, ей-богу. Еще одну пришлют, на розовой бумаге с виньетками.

– Так что? Ты завтра пойдешь? – поинтересовался Володя.

– Пойду? С какой стати? Можно подумать, тридцать седьмой год вернулся, и им всё вот так просто сойдет с рук. Им нужно, пусть и приходят. – Марат вытер о повестку пальцы, скомкал ее и бросил на тарелку, в стекшую с пиццы майонезную кляксу.

В четыре ко мне в комнату зашел завлаб. Поздоровался, спросил, где мой сосед по комнате. Я не знал. Завлаб подошел к окну, выглянул наружу. Помолчал немного. Спросил, не глядя на меня:

– Дмитрий Сергеевич, вы собрались в отпуск с первого?

– Да, – ответил я.

– Вы напишите заявление, что уходите за свой счет с завтрашнего дня и до первого.

– Но мне еще нужно доделать столько всего.

– Доделывайте, – сказал завлаб, пожав плечами. – Правда, с завтрашнего дня Интернет в институте отключат. А возможно, и электричество. И большинство людей уйдет в отпуск. Я тоже. Я уже три года не был в отпуске... Вы, как всегда, собрались в горы?

– Да, – ответил я.

– Ну и прекрасно, – сказал завлаб. – Я до половины шестого у себя в кабинете. Приносите заявление.

Заявление я написал и отнес. Завлаб подписал его и пожелал мне удачи. Я опечатал свою комнату, сдал пенал, расписался в журнале и вышел на улицу. Жара навалилась тюком пыльной ваты. Я выпил бокал пива в похожем на шапито ресторанчике напротив мамонтовой колоннады Президиума Академии и побрел домой. И заблудился снова.

Я, наверное, еще не вполне выздоровел. Меня немного мутило, я брел, опустил голову, и поднял ее только тогда, когда под ногами вместо асфальта вдруг оказалась пыль. Слева и справа высились заборы в человеческий рост, некрашенные, из почернелых, покособившихся досок. Калитки в них – на ржавых массивных петлях, за заборами – крыши домов, ржавое кровельное железо, гонт и солома. Потемневшая от дождей соломенная крыша, посередине торчит кирпичная труба. Вдоль улицы – просмоленные деревянные столбы с фарфоровыми чашками изоляторов и проводами. За забором напротив зашла лаем собака. Я обернулся – за спиной, метрах в пятидесяти, перекресток, и такие же дома, и ни одной антенны над крышами. А впереди – лес.

Из калитки вышел босой небритый человек с ведром, одетый в серо-черный замызганный пиджачок и такие же штаны. Я поспешил к нему, спросить, куда я забрел. Он шархнулся от меня, словно от сумасшедшего, бросился назад, за калитку, крикнул оттуда: «Катися отседа, лайдак, а то собак спущу!» Я повернулся и побрел обратно. За перекрестком, у кирпичного дома с жестяной вывеской «Магазин», я наткнулся на девушку в ситцевом сарафанчике, лузгавшую семечки. Девушка, сплевывая, объяснила мне, что улицы Широкой она не знает, нет такой улицы, с этого конца Города она все улицы знает. Может, это новая, сейчас много строят (она сплюнула), а Академию (она еще раз сплюнула), конечно, знает, большая такая, да-да с колоннами, там рядом кино показывают, вот так идите, потом налево повернете и прямо до второго перекрестка, а там спросите.

За вторым перекрестком оказался проулок, выводящий на площадь Всероссийского старосты, к магазину «Тысяча мелочей» с рекламой мобильных телефонов, с патрулем из трех скукающих пятнистых омоновцев у памятника старосте. Я прошел по проспекту до института, перешел улицу, втиснулся в троллейбус, обливаясь потом, стиснутый мокрыми спинами и плечами, вытерпел двадцать минут и вывалился на остановке у общежития. Мне напоследок надали чемоданом под коленки.

Вечером пришел Марат – он жил в этом же общежитии, – с Володей вместе, принес пиво, и мы пили его, усевшись по-турецки на ковре вокруг тарелки с чипсами и сушеной кальмарьей строганиной. На третьей бутылке я, набравшись решимости, спросил Марата: не показалось ли ему, что Город стал странным?

– Конкретнее? – спросил Марат.

– Станным, не таким... будто незнакомым, – промямлил я.

Марат ухмыльнулся и ответил, что куда уж страннее, стал поперечно-полосатый: то зеленый в крапинку спецназ, то черный в полосочку ОМОН. Плюс бронетранспортеры.

– Я немного не о том, – сказал я. – Я заблудился сегодня. Попал куда-то, дома деревянные, облезлые, крытые гонтом. Будто и не здесь вовсе, а лет на шестьдесят назад. Будто провалился. Ты встречал в Городе что-нибудь похожее?

– Без шапки ходить нужно поменьше, – ответил Марат и зевнул.

– Всё смешалось, – вмешался Володя. – Наступают последние времена. Этот город погряз в грехе.

– Я серьезно, – сказал я.

– Я тоже серьезно, – хмуро отозвался Володя. – По телевизору передают: везде, во всём мире, грабят, убивают, войны повсюду, и тут уже всякое безобразие. Последние времена. Грядет Антихрист.

– Не Антихрист, – сказал Марат. – Хозяйка лета придет. Она как раз таким летом приходит. В ночь солнцестояния появляется. При ней всё бывает. Одни времена появляются, другие пропадают. Вместе с людьми. Погодите, то-то еще будет. Давай налью, пиво еще есть.

– Да ну вас, – фыркнул я.

– А вот мы ее встречать будем. Танцевать, картошку печь, может, и выпьем чего ароматного, – сказал Марат. – Завтрашней ночью. Сегодня же двадцатое, не забыл? Давай, если хочешь, с нами. Тут недалеко, на Вяче.

– Язычники вы, – нахмурился Володя. – Поганцы. Вам бы только... срам один, и только.

– А чего? – сказал Марат. – Кому плохо? А как наши предки встречали лето? Чем мы хуже?

– Может, и встречали. Так наши предки вон конской кровью валуны кропили, да мало ли еще что. Всю эту языческую погань с корнем высекли, огнем выжгли. И не зря. А вам не обычаи предков, вам только б голыми поскакать.

– Можно и голыми, почему нет? – Марат подмигнул мне. – Поехали с нами. Там такие девушки будут! Танцовщицы. Профессиональные. Ребята из рыцарского клуба будут, из «Северо-Западного храма», обещали даже в доспехах. И Зигфрид Дольский с волянкой, говорил, группу с собой возьмет. Фест будет что надо!

– Вот вас всех скопом и заберут. Голыми, – сказал Володя. – Так вам и надо за срамоту.

– Пускай, – Марат ухмыльнулся, – лучше так, чем самому идти. В приемной стоять, в руках портфельчик теребить, дожидаясь, пока подойдет очередь на самого себя настучать, а? Хорошо, правда?

– А я и не пойду никуда, – сказал Володя. – Вот увидишь. Не пойду. Пусть... пусть забирают. Я уеду. Домой. Тут всё равно работать нельзя, Город этот дурацкий, солдаты теперь. Зло, тут всюду зло. Довлеет дневи злоба его. А дома тишь, там спокойно, никто не мешает. И пусть их!

Он махнул рукой и опрокинул бутылку с остатками пива на ковер. Сконфузился, принялся сбивчиво извиняться, говорить, что сам ковер вычистит, если я хочу, прямо сейчас с собой заберет.

– Да нет, не нужно, мелочи, – отмахнулся я.

Наконец он сослался на то, что завтра рано вставать, очень много работы, и убежал, забыв забрать свою тарелку. Марат посидел еще минут десять, допил свое пиво и тоже ушел, спросив на прощание, поеду ли я с ними завтра. Я ответил: поеду.

Плоть Города была замешана на войне. Война почти стерла его, оставив поля развалин. То, что не разрушили немцы в сорок первом, довершили танкисты Баграмяна летом сорок четвертого. Город двух блицкригов – гудериановского и Жуковского. И с тех пор, со времени, когда пленные немцы отстраивали его, над Городом повис призрак ревущих, рвущихся сквозь лето танковых клиньев. Проспекты шире стадионов, улицы, в любом другом городе ставшие бы проспектами. Узкие проезды-ловушки в сплошных стенах огородивших проспекты домов. Парапеты-надолбы. И – памятники повсюду. Здесь немцы сожгли один танк, здесь – целых три. Здесь – расстреляли, здесь – отважно сражались те-то и те-то. Названия улиц, мемориальные доски, малые и большие обелиски во главе с исполинской иглой на Площади Победы, машины, тракторы, пушки на пьедесталах и постаментах. Город, населенный памятниками. А на самом высоком городском холме, на серой бетонной площади у Офицерского собрания отделанную бурым гранитом бетонную глыбу оседлал их хозяин – настоящий, баграмяновский «Т-34-85», темно-зеленый, в бугристых сварочных швах, уткнувший длинный пушечный хобот в небо над президентским

дворцом.

Война здесь стала священной, настолько привычной, что ее ритуалы превратились в обычную часть жизни, естественную, как очередь. Молодожены, поставив подписи в канцелярской книге, несли цветы к подножию иглы на площади, к сизому газовому пламени, прыгавшему над дырой посреди бронзовой, вделанной в гранит пентаграммы, фотографировались. Если расписывались не в центре, шли к ближайшей стеле, доске, бронзовому истукану – к увековеченной войне. Фотографировались подле, запечатлевали за собой, улыбающимися, мертвый кусок металла и камня – капище войны. Городские семьи начинались с войны.

Первоклассников водили к войне, им говорили о героях войны. Развалившаяся империя похоронила прежних героев своих войн, но обнаружились новые и по эту сторону войны, и по ту. Их знали, о них рассказывали взахлеб. Чуть ли не каждый день узнавали о войне новое. Остатки выживших, человеческие обломки войны каждый год выходили на проспекты Города, неся на груди панцирь из орденских планок. Ветеранов продолжали награждать, год за годом, будто война еще не кончилась.

Главное святилище войны было за городом, километрах в двадцати от городской кольцевой, подле Имперского шоссе. Посреди поля – ровный земляной конус, укрытый дерном, высокий, насыпанный руками холм, увенчанный короной, кольцом из мертвых бетонных лиц, прикрепленным к основанию огромного каменного штыка. Раньше туда возили туристов, и те молча, гуськом, как паломники на Фудзи, поднимались к основанию штыка. Тащили наверх цветы. Раньше там всё сплошь было завалено свежими и подсохшими цветами, и постоянно пахло силосной прелью. Сейчас туда ездили редко, разве только иная свадьба побогаче подъезжала к подножию, и молодожены с охапкой цветов плелись наверх. Без людей курган стал жутковатым. Сквозь плиты дорожек пробилась трава, бетонные лица почернели и исказились, стали мертвыми масками, суровость превратилась в жестокость, из впадин между губами сочилась черная слизь. Газовый огонь там теперь зажигали редко, но летними ночами на кургане жгли костры из старых автопокрышек, пятная камень копотью. Выпивая, оставляли у штыка немного водки в пластиковом стаканчике, толику нехитрой закуси, яблоко, пол-луковицы, хлеб – как па кладбище.

Даже свой главный праздник Город отмечал в день, когда по его улицам прокатились рвавшиеся на запад танки.

Я поехал с Маратом. Я весь день не находил себе места: съездил на работу, побродил по пустым институтским коридорам, посидел за компьютером, пытаясь привести в порядок хоть что-то, но почти ничего так и не сделал. Потом обедал в ресторанчике на проспекте, запихал в себя тягучую, облитую резинчатым плавленым сыром пиццу. Попробовал позвонить родителям Димы. Это было глупо, я не представлял, что им скажу, но не мог больше терпеть. Трубку сняла Димина мама и спросила: «Дима? Ты?» Я повесил трубку. Ради убийства времени сходил в кино, на «Спасение рядового Райана», приторную американскую мыльную оперу на тему высадки союзников в Нормандии. Там оказалось неожиданно много крови и разлетающихся по экрану ошметков мертвечины. Фильм шел с панорамным звуком, танковые гусеницы лязгали прямо за спиной, так, что хотелось спрятаться под сиденье.

Уезжали со стоянки у пивного ресторанчика напротив колоннады часов в семь вечера. Марат нанял микроавтобус, побитую, выдавшую виды «Газель», куда набилось двенадцать человек с рюкзаками, сумками и гитарами. По пути подобрали еще троих: двух парней с тяжеленными рюкзаками и алебардой – настоящей, кованой, с крюком-шипом и отточенным лезвием – и девушку. Запихивая алебарду в салон, чуть не оторвали водителю ухо. Он выматерился и сказал, что эту хрень никуда не повезет, машина перегружена, и так страшно, милиции повсюду – не продохнуть, а тут, етит вашу, багром по ушам бьют. В конце концов алебарду сунули под ноги, водителю пообещали еще пятерку и поехали дальше – полулежа, полусидя, хохоча, когда на ухабе все и всё валилось друг на друга.

Девушка была пухленькая и веснушчатая, с родинкой за левым ухом, теплой, рыженькой родинкой, почти под цвет волос. На каждом ухабе девушка валилась мне на колени, хохотала, махала рукой, лупила ладонью по подголовникам и моему плечу, лезла назад и на новом ухабе снова оказывалась у меня на коленях. То ли на третий, то ли на четвертый раз я ухватил ее за майку и не пустил. Она посмотрела на меня и спросила:

– Извините?

– Зачем? – ответил я. – Мне не тяжело.

– Ну, – сказала девушка. – Меня Рыся зовут.

У нее был теплый пухлый задик, плотно обтянутый тоненькими, коротенькими шортами. Она поерзала, размещаясь поудобнее, и я почувствовал, краснея, как мой корень твердеет и распрямляется. Я сделал вид, что увлечен законным пейзажем, трясшимся в такт «Газели», а Рыся вдруг, нагнувшись, шепнула мне едва слышно в самое ухо: «Не спеши». И засмеялась.

Я дрался за нее этой ночью. Я напился быстро и сильно. Когда уже высыпали звезды, когда по кругу пошла уже то ли шестая, то ли седьмая качавшаяся в руках кружка, Рыся танцевала у костра. Тогда танцевали все – под дуду Зигфрида, под флейты, гитары, под барабаны из ведер, под лязг мечей о щиты и перезвон кольчуг, под крики: «Жыве Беларусь!!», под плеск воды и хохот. Водили хороводы между костров, крутились, тянули за руки тяжело переминавшихся с ноги на ногу кольчужников. Мы молились, все вместе, став кругом, под заунывное, бессловесное пение, бросали в костер недоеденные куски, плескали из кружек. Потом вдруг закричали: «За хозяйку! За даму сердца! За хозяйку ночи!»

Алебардами, жердями огородили круг между костров, и зачинщики вызывали драться всех желающих. Лязгали тупыми мечами в сумраке, хакали, насакивали, отступали. Их впихивали древками алебард назад, в круг. Вокруг орали: «Давай, так его, так!», свистели, улюлюкали, выли. Дерущихся растаскивали, распихивали по углам, уводили, и в кругу танцевали девушки в длинных средневековых платьях.

Рыся танцевала одна. У нее на волосах был тонкий серебристый обруч, и в нем камешек, стеклистая фасетчатая грань, ловившая отблески пламени, вспыхивающая. Я протолкался к кругу, нырнул под древко, закричал: «Рыся!» Меня сильно ударили древком в бок, но я устоял на ногах. Судья, с ног до головы в доспехах, в белой котте с крестом поверх, спросил меня недоверчиво:

– Ты хочешь драться за нее?

– Да, – ответил я. – А это запрещено?

– Нет, – замялся судья. – Но...

– Тогда не нужно «но», – сказал я ему.

Меня не спросили, дрался ли я раньше, напялили кольчугу на вонючей, пропотелой войлочной подкладке, обшитые жостью перчатки, нахлобучили на голову цигейковую шапку, а на нее – шлем, вдавив очки в переносье. Сунули в левую руку кусок дерева, я отпихнул его, тогда мне в руки вложили длинную, тяжелую железную полосу. Я взмахнул ею, уцепившись за рукоять обеими руками, и едва устоял на ногах, когда лезвие по инерции пошло вбок и развернуло меня. Судья выкрикнул мое имя и имя моей дамы сердца. К нему подбежали, зашептали на ухо. Он пожал плечами. Махнул рукой – начали!

Первого я так толком и не разглядел – щуплый человечек, скрючившийся за щитом, в железном горшке на голове, подступавший мелкими, судорожными шажками. Я забил его, как гвоздь, будто киркой, кайлом, с размаху, из-за спины! По шлему, по краю щита, по чему попадет, вниз – вверх – хрясь – потянуть на себя – скрежетнуть – снова вверх! Бедняга не осмеливался подступить, топтался на месте, прятался за щит. Вдруг подогнул колени, осел наземь. Меня отпихнули алебардами, затащили в угол. Но-но, не нужно рваться, отдышись, успеешь еще, сейчас. Я пританцовывал от возбуждения, от нетерпения.

Второй вышел без щита, с таким же полутораручным мечом, как и я. Я бросился к нему навстречу, занося меч над головой, крутанул вниз, лезвие почему-то ушло далеко вбок, разворачивая меня за собой. Я потянул назад, кажется, почти даже успел дотянуть, и увидел

стремительно поднимающуюся навстречу серую полосу. Потом из последовательности секунд и минут куда-то пропал большой кусок, и я уже лежал на траве без шлема и кольчуги, головой на чьих-то коленях, с мокрой тряпкой на лице.

– Лежи, Рыцарь печального образа, – хихикнула Рыся, – ничего страшного. Скоро всё уймется. Из носу течет немного. Кровь – ничего страшного. Это даже хорошо. Вся кровь сегодня – ей. Она любит кровь.

– Кому хорошо? – спросил я.

– Хозяйке. Хозяйке лета.

– Ах да, хозяйке, – сказал я, щупая переносицу.

– Это пройдет, – сказала Рыся.

– Да, пройдет. – Я вздохнул. – А где мои очки?

– Вот, они не разбились даже. Я их протерла.

Очки держались плохо – переносица распухла. Было больно.

– А ты здорово дрался, – похвалила Рыся. – Это тебя наш Белка завалил. Он крутой – у нас почти самый лучший. Он по турнирам ездит... Пойдем купаться. Уже все купаются, кто турнир не смотрит.

Берег реки зарос ивняком, пробитым множеством переплетающихся тропок, мы шли по ним, как по лабиринту. Рядом, за кустами, плескались, хохотали. Я споткнулся о чью-то одежду. Остановился, прислушиваясь. Рыся потянула меня за рукав – пойдем дальше. Берег поднимался, мы съехали вниз, па песчаный пятачок.

– Отвернись, – сказала Рыся.

Я отвернулся, расстегивая рубашку, прислушиваясь к шороху за спиной.

– Можно. Повернись, – шепнула Рыся мне в ухо. – И возьми меня за руку.

Уже начинало светать, когда я проснулся от грохота где-то неподалеку.

– Ты чего? – сонно пробормотала Рыся, поднимая голову.

Я вскарабкался наверх, на обрыв. Над Городом полыхало зарево, и под истошный, валяющийся с неба вой один за другим из земли с грохотом выметывало черно-багровые факелы.

ПАТРОН ВТОРОЙ: ЗАБРОШЕННЫЙ АЭРОДРОМ

В электричке было душно. Солнце прокалило ее, словно консервную банку, и дерматин сидений, высаленный множеством спин и ягодиц, смердел. Пивные бутылки за четверть часа стали горячими. Дима подумал: хотя бы половину стоило оставить соседу. Пить это пиво трудно и холодным, а уж кипяченым и подавно. А человек, выбрасывающий летом пиво, – или маньяк, или замышляет что-то очень плохое. Но сосед не взял бы. Он на перроне едва в штаны не напустил, увидев милиционера. Бледная, трясущаяся туша. Он за зиму набрал с десяток лишних килограммов и, пока таскались по городу с пистолетом, терял эти килограммы на глазах. Хорошо, если до дому дотащится без инфаркта. Может, попробовать всё-таки открыть пиво? Дима, поразмыслив немного, вытянул из сумки верхнюю бутылку, зацепил ребристый краешек пробки за подоконник, дернул – и тут же выставил горлышко в окно. Почти сразу же с середины вагона, через четыре сиденья от Димы раздалось: «Ты, мудака!!»

– Извиняйте, ребятки, – сказал Дима, улыбаясь и отряхивая пену с рук, – оно так нагрелось.

– Ё твоё, мудака, ты что, совсем не соображаешь? Электричка несется, все окна открыты, куда, по-твоему, твоё е...ное пиво полетит?

– А че, хотите? – сказал Дима. – Оно нагрелось, но ничего еще. Пивко – класс, зашибись. Я вам новую бутылку открою, а то из этой почти всё вылилось. У меня вон склад.

– Шел бы ты со своим пивом, – сказал облитый свирепо.

Пивная пена заляпала ему щеку, и бугристое загорелое плечо, и трико, полосатый китайский «Адидаас».

– Миха, остынь, – сказал его сосед, такой же бритоголовый и загорелый и в такой же пропотелой майке. – Видишь, случайно вышло.

– Я за такое «случайно»... – сказал бритый Миха, шевеля бицепсами. – Не умеешь, так не брался б.

– Ну, промашка вышла. Так за мной не станет. Давайте, ребята, пить пиво, – сказал Дима. – Всё равно не довезу, так не пропадать же добру. Пока не вскипело. Вон, полная сумка.

Дима вынул из сумки еще бутылку, безмятежно улыбаясь, протянул Михе. Тот помедлил немного, но всё же взял. Посмотрел сквозь бутылку на свет, а потом просто ладонью сдернул пробку и мгновенно вставил горлышко в рот.

– Е...ть-колотить, ну не слабо! – сказал Дима восхищенно.

– Миха еще не то может, – сказал второй. – Он ас у нас. Он ребром ладони бутылки бьет – как Брюс Ли. Коричневый пояс.

– Дима, – представился Дима и протянул руку.

– Сергей. – Сергей сунул свою влажную ладонь в его.

– Миша, – сказал Миха, смутившись. – Давайте вам бутылки открою, что ли.

Спустя некоторое время Дима подумал, что, если мерзость достаточно мерзостна и ее много, она приобретает вкус сама по себе. Углубляется и набирается сил. Как тухлые яйца – если дать им тухнуть достаточно долго, а потом еще отварить в патоке, получается китайский деликатес. Соседи по общежитию, вьетнамцы, жарили мойву в молоке, вернее, в сливках, хороших брестских сливках, не порошковых. Уверяли, что с порошковыми сливками вкус гораздо хуже, и к тому же пригорает. Они давали попробовать для сравнения. У них сливки кончились, и остатки мойвы дожаривали на городских, порошковых. Удивительно, но вполне явственно чувствовалось: на порошковых в самом деле гораздо хуже.

От горячего пива в животе и в голове начинает пузыриться, ползет тухлая, мутная пьянь. После третьей бутылки Сергей, эволюционировавший сперва в Серого, а после просто в Серу, рассказал, как они с Михой мочили ментов, вздумавших их с Михой разгонять. В парке Пятидесятилетия Октября пацаны собрались, а их, как лохов, как этих оппозиционеров долбанных, менты погнали. Ну, мы им вломили! Дима спросил, какие такие эти «мы». Сера серьезно ответил: мы жидов бьем. Наш дом – только для нас. А ментов знаешь чем? Шнурками. Запасной шнурок над ботинком вяжешь, сыромятный нужен, нитяной не годится. Если что – мгновенно сдергиваешь и пошел. Дубинку захлестнуть и из рук выдернуть – никаких проблем. Пацаны даже щиты цепляли, точно тебе говорю, сам видел. Нет, Миха не цеплял. Ему и не нужно. Он ногой если в щит даст, так и щит, и мент до Новинки долетят. Дали ментам так, что те в автобусы свои попрятались и подкрепление вызвали, даже гроб с брандспойтом приехал. Ну, тогда пацаны смотались оттуда, кому кипятком по яйцам охота. Видишь, у Михи на плече пятно – это ему кипятком.

– Не от кипятка это, – буркнул Миха. – Не знаешь, а пи...дишь.

– Да от кипятка, – отмахнулся Сера. – Ты сам уже не помнишь.

– А чего вы пацанами друг друга называете? – спросил Дима.

– Ты че вы...бываешься? – вскипел Миха.

– Это кто вы...бывается, – сказал Дима. – «Пацан» – слово жидовское. Кто знает – никогда так своих не зовет.

– Какое жидовское, ё... твою!

– Тихо ты, – шикнул на него Сера. – Пусть разотрет.

– Так жиды нашу молодежь обзывали, а потом всё перепуталось, – сказал Дима, – вы ж знаете, что по-жидовски значит «поц»? Знаете?

– Пи...дишь ты, – проворчал Миха угрожающе.

– Не пи...дит Димон, – сказал Сера, – я знаю. Что, что! Что в штанах у тебя.

– Ты думаешь, я тупой, – ошетинился Миха. – Я тебя сейчас так пи...дану, до Новинок долетишь.

– Так вот, «пацан» – это значит «маленький поц», – продолжил Дима и, увидев выражение лица Михи, поспешно хлебнул пива, но во рту не удержал, поперхнулся, брызнув, и очень кстати закашлялся.

– Ты не спеши сосать. Думаешь, пиво твое без тебя выжрем? – сказал Миха и зареготал.

– Давай по спине похлопаю, – предложил Сера.

– Не, не, – сказал Дима, отдышавшись, – не нужно. Я уже. Берите пиво. Открой мне еще, Миха. Не слабо всё-таки. Как клещами.

– Я гвоздь, десятку, гну, – сказал Миха с гордостью.

– Мне пива че, не оставили? – спросил Сера и полез в сумку.

Дима повернулся и застыл, моментально трезвея. Рука Серы, нырнувшая в сумку, помедлила там немного, шаря.

– А это что? – хохотнул Сера, хохотнув.

– Это... положи это. На место, – ответил Дима тихо.

– Ты че, Димон? – спросил Сера.

– Положи, – сказал Дима, прищурившись. – Разожми ладонь. Не торопясь. Ты меня понял? Не торопясь.

– Хорошо, – согласился Сера, не сводя с Димы глаз. – Хорошо. Я положу. Только не надо, хорошо? Не надо.

– Ты че? – спросил Миха удивленно.

– Вот так, хорошо, – сказал Дима, поднимая сумку с пола и пристраивая рядом с собой на сиденье, – а теперь встань и иди на свое место.

– Он чаго? – переспросил Миха.

– Пойдем, пойдем, – сказал побледневший Сера, – пойдем, Миха, пойдем... Я... я тебе потом скажу, пойдем.

У их прежнего сиденья Миха обернулся, но Сера потянул его за локоть, они прошли до конца вагона и скрылись за дверью в тамбур. Дима, подхватив сумку, пошел в противоположную сторону. Электричка остановилась, и он вышел. Объявленное название станции он не расслышал, а прочитать было негде. Асфальтовая полоса вдоль путей, беленый бетонный навес, белены остатки скамейки с одной уцелевшей жердью. Никаких табличек и надписей. В точности то же – с другой стороны, только скамейки нет. Почти вплотную к путям подступал реденький еловый лесок, с другой стороны – поля. Дима присел на жердь, закурил. Солнце лупило нещадно. Вдыхать горячий дым на такой жаре – сумасшествие. Будто рот набили ватой. Впрочем, подобное подобным – сигарета перебила вкус пива.

Дима прождал полчаса. Мимо прошла еще одна электричка – не останавливаясь. Прошли московский скорый и товарняк, длинная цепь грохочущих, заляпанных глянцевыми битумными кляксами цистерн. Дима подумал, что наверняка эти два идиота не побежали бы никому докладывать. Можно было спокойно ехать дальше – только перейти в другой вагон. Ничего бы не случилось. А так торчи здесь. Хотя кто заставляет торчать? До соседней станции наверняка километров десять, не больше. Два часа. Правда, по жаре.

Пистолет стоило всё-таки завернуть поаккуратнее, сперва в какой-нибудь пакет, а уже потом в полотенце. Пока таскался с бутылками, оно размоталось, и вот вам – кролик из шапки мистера фокусника. У Серы был такой вид, будто он гадюку вытащил. А тут даже не знаешь, как стрелять из этой штуки, есть там предохранитель или нет, куда жать и что передвигать.

Дима достал пистолет, взвесил на ладони. Серое, выглаженное ладонями железо. Наверняка часто использованное. Старое. Предохранитель... Так, достаточно охватить рукоять ладонью, больше ничего. Вводить тоже не нужно. Обойма – нажать здесь, у наружного края, можно достать пальцем. В обойме прорезь по длине, чтобы видно было. Одиннадцать патронов. Тяжелых, с длинными гильзами – мощные. Остроносенькие пули, странные. Дима

выщелкнул патрон – от острого кончика спиралью к кольцевой бороздке вились черные и белые расширяющиеся полосы. Как в мороженом – мягком, выдавленном в вафельный стаканчик. Пробившем бронестекло и череп доверенного лица отца нации. А ведь бронестекло рассчитано на винтовочный выстрел в упор. По крайней мере, если верить тому, что пишут о бронестеклах представительских авто. А тут пистолет.

Ведь эту пулю нашли, наверняка уже нашли. По пуле, по следам нарезов, как по отпечаткам пальцев, можно опознать пистолет. Установить марку, возраст. А иногда определить и номер машины, и количество любовниц последнего владельца. У пистолетов паспорта бывают вполне человеческие. И досье. Как говорил сосед, персонификация оружия. У пистолета больше отличительных признаков, чем у выпускника школы милиции, этот пистолет получившего. Пистолет к тому же и долговечнее. Может, стоило, по совету соседа, просто выбросить его подальше. Да хотя бы прямо здесь опустить в урну. Или закопать в лесу под деревом. А зачем тогда нужно было пистолет поднимать? Конечно, если бы взяли, то объяснять пришлось бы долго, кто ты и откуда и какое к этому пистолету имеешь отношение. Тут – как решат дяди из желтого дома на площади: захотят – не будешь иметь отношения. А не захотят – будешь, и еще какое. С другой стороны, от наличия пистолета под столом это не очень зависит. И хрен с ним.

Дима редко рефлексировал над своими поступками дольше одной сигареты. Только когда приспичит выкурить в один присест больше. Потому, раздавив окурочек ногой и пристроив поаккуратнее в сумке завернутый в полотенце пистолет, он пошел вдоль путей, по тропинке под невысокой насыпью. Пройдя с километр, оказался на окраине села, разделенного железной дорогой надвое. По обе стороны дороги тянулись огороды. Заборы подходили к рельсам чуть ли не вплотную. Тропка сворачивала вбок и убегала на задворки, вилась между сараями. Дима прикинул, что в пачке, последней пачке, осталось четыре сигареты. Деревня тянулась и в ту, и в другую сторону чуть не до горизонта, бесконечная вереница шиферных и жестяных крыш, труб, разлапистых антенн. Где-то обязательно должен быть магазин – налево или направо? В кармане нашелся красный шербатый жетончик метро. Подброшенный, упал буквой «М» вверх. Дима, успевший забыть, какая сторона чему соответствует, сунул жетон в карман и пошел направо.

В магазине продавщица, распаренная, в прилипшем к спине халатике и синяком на пухлой руке, опершись бюстом о прилавок, беседовала с милиционером и лузгала семечки. Милиционер был в чине лейтенанта, при форме, кобуре, фуражке и в кожаных продранных шлепанцах на босу ногу.

- День добрый, – сказал Дима.
- Привет, – ответила продавщица. – Чего надо?
- Сигарет мне. Одну. Не, лучше две пачки.
- «Астру» всю распродали.
- Так мне и не «Астру». Вон у вас стоит. «Пэл Мэл». На верхней полке.
- Они дорогие.
- Мне как раз.
- Раз как раз, так сами и доставайте.
- Давай-давай, Семеновна, шевелись, – сказал милиционер. – Обслужи клиента.
- Я тебе не бл...дь, обслуживать.
- Семеновна, привлеку за нарушение трудового законодательства, – пригрозил лейтенант, ухмыльнувшись.
- Кобелина!
- Давай, давай, шевелись, ты пока повернешься, у хлопца борода вырастет... Вон табуретик, становись, потянись... самое то!
- Отстань, – огрызнулась Семеновна.
- Сзади ее халатик, взмокший от пота, сделался почти прозрачным, прилип к спине. Судя по открывшемуся виду, Семеновна в такую жару белья не носила.
- На, – сказала Семеновна. – Мог бы и три купить. Всё равно этот кобель сейчас у тебя

полпачки стрельнет... Что, без сдачи нету?

– Нет, – ответил Дима.

– Тогда обойдешься. Считай, свою сдачу уже получил.

– Тебе бы, Семеновна, театр стриптиза открыть. Мужики б стадами валили.

– От таких, как ты, проходу нету... А ты чего стоишь? Еще чего захотел купить? Всё, обед у меня, вали.

– Спасибо, – сказал Дима, выходя на улицу.

– Хлопец!

– Что? – спросил Дима, обернувшись.

– Ты кто такой будешь? Зачем приехал? Ты не из местных, я тут всех знаю. К родным, что ли?

– Нет, – ответил Дима, лихорадочно соображая. – У меня тут дела.

– Дела, значит, – хмыкнул милиционер. – Документы есть при себе?

– Паспорт, вот. Студенческий еще.

– Ты присядь. Давай, на лавочку рядом со мной, покури, пока я на твои бумажки посмотрю... Не угостишь сигаретой?

– Пожалуйста. – Дима протянул пачку.

Милиционер вытянул три.

– Студент, значит. Из Города.

– Из Города, – подтвердил Дима.

– А что у нас делаешь?

– Я... я историей увлекаюсь, – сказал Дима. – У меня тут дед воевал, в сорок первом. В самом начале войны. Вот я и хочу выяснить, где он тут лазил.

– Ты что, историк по специальности?

– Я – н-нет, – ответил Дима. – Я программист. В Радиотехе учусь.

– В РТИ, что ли?

– В РТИ. Только сейчас он академией называется.

– Наш капитан в РТИ учился. На заводе год повкалывал, в милицию пошел. Хороший мужик, – сказал милиционер. – А ты, значит, историк?

– Нет, я – программист. Историей так, сам по себе, увлекаюсь. Войной.

– Да, воевали здесь. Партизанили. Как в сорок первом началось, так до сорок четвертого ни дня, ни ночи спокойной не было. Всё время стреляли... Кыш, курва! – шуганул лейтенант курицу, норовившую клюнуть носок его шлепанца. – Сколько раз говорил – на улицу не пускайте. У нас же гэ-пэ считается, а не деревня, задавит кто на улице и денег не заплатит. А то вон всю улицу засрали, на скамейках срут, не сядешь. Так говоришь, дядька твой тут воевал?

– Дед, – сказал Дима терпеливо.

– Дед, значит. А откуда ты, программист, историю знаешь? Со школы, что ли?

– Я в книгах читал. У меня друзья есть, историки. Квалифицированные. Кандидаты наук, в Институте истории работают. Они мне рассказывали. О Гудериане, об июне-июле сорок первого, о том, какие тут танковые бои шли. Мой же дед танкистом был, – вдохновенно соврал Дима.

О танковых боях сорок первого ему сосед все уши прожужжал. У него целая полка была заставлена мемуарами немецких генералов и книгами о сорок первом на Востоке. Сосед бредил войной.

– Он на чем воевал? На «Исе»? Мощный был танк, – сказал милиционер. – Самый лучший наш. Все немцы боялись.

– «Исы» на фронте только в сорок четвертом появились. Под Корсунь-Шевченковским, – поправил Дима.

– Да? А на чем воевал твой дядька?

– Мой дед воевал на «БТ-5». И утопил его в болоте под Копысью, перед тем, как немцы форсировали Днепр. Тогда был встречный танковый бой, наши танки шестьдесят шестого

стрелкового корпуса, против немецких, двадцать девятой гудериановской танковой дивизии.

– В болоте? Под Копысью?

– Под Копысью, – подтвердил Дима.

– Пойдем-ка мы, хлопец, ко мне. Там поговорим про Гудериана, деда, про стрелковый корпус. Пошли.

Милиционер шел посреди улицы, шаркал по асфальту. Сзади у него вылез из штанов пропотелый клочок рубашки. Сейчас можно бы было подскочить, выхватить у него из руки паспорт с удостоверением и побежать. Только куда? Можно побежать и так, без паспорта. С тем же результатом. Или достать пистолет и прямо посреди улицы пристрелить. Мать же твою. Захотелось идиоту сигарет купить. И зачем было трепаться про танки? Плохо стало в электричке, затошнило, вышел на полустанке, теперь не знаю, как уехать. Всё.

Но лейтенант пришел не к отделению, а к недостроенному дому за высоким забором из сплошных досок. Постучал в дверь. Открыл огромный, щетинистый мужик с расплывшейся синюшной вытатуированной русалкой над обвислым пупом.

– Заходи, – сказал мужик. – Кто это с тобой?

– А, интересный хлопчик, – ответил лейтенант, снимая фуражку. – Из Города.

– Пойдем на кухню, – буркнул мужик, – я в зале только паркет начал класть.

Кухня оправдывала свое название только тем, что в углу, на табуретке, стояла электроплитка, а на ней – мятая алюминиевая сковородка с лужицей застывшего жира.

– Я сейчас табуретки принесу.

– Мы постоим, – остановил его лейтенант.

– Ладно, – сказал хозяин. – В чем дело?

– Подарочек из Города, – ухмыльнулся лейтенант. – Я ж вам говорил, зря мы на переправе колуемся. В Протасовском болоте надо искать.

– Откуда? – оживился толстяк. – Кто это? Как?

– Ты что думаешь, одни мы такие умные? Не одному тебе хочется пол в зале дубовым паркетом застелить.

– Простите, не понимаю, про что это вы, – сказал Дима, осторожно пододвигая сумку вперед.

– Да? В самом деле? Кто у тебя там в шестьдесят шестом стрелковом воевал? Седьмой воды на киселе шурин?

– Дедушка. Он механиком-водителем был. На «БТ-5», – ответил Дима.

– Откуда ты его такого взял? – спросил мужик.

– В магазине, сигарет зашел купить. Самые дорогие спросил, – сказал лейтенант. – Смотрю – не наш. Ну, я документы и проверил. Спросил. И – на тебе.

– Слушай, – сказал мужик, – если б он в самом деле шарить явился, какой холеры ему пи...деть первому встречному менту? У него на харе написано: студент. Собиратель, мать его, народных песен.

– В том-то и дело – не знал он. Наша доблестная сельская милиция уважает культуру. Приехал из столицы – нате вам с кисточкой, и чарку, и шварку, кали ласка. Наш Гриня что, на своем «козле» его бы до самой Копыси не довез? Довез бы, как пить дать. И автограф попросил. А знать он может. У них там, в столице, к таким архивам доступ – тебе не снилось. Куда угодно пускают.

– Слушай, Шерлок Холмс, ты его проверял, прежде чем ко мне вести? – спросил толстяк.

– Когда мне было?

– На предмет паперок, заметок? Ну, знаешь, карт таких, на которых крестиком отмечено, где бабушкин клад?

– Студент, – приказал лейтенант, нахмурившись, – выкладывай всё, что есть в карманах. Не торопись. Сумку сюда давай.

Дима сунул правую руку в сумку и, шевельнув плечом, позволил ее ремню соскользнуть с плеча. Милиционер сказал: «А-а» – и замолк, позабыв закрыть рот.

– Мой паспорт, – велел Дима. – Положи вот сюда.
Он пододвинул ногой сумку.
– Теперь верю, – сказал мужик спокойно. – Угадал ты, Шерлок Холмс.
– Заткни е...ло, – огрызнулся Дима. – А теперь, пан милициант, подай мне сумку. Только медленно, плавно. Ножкой подтолкни.

Лейтенант облизнул губы.
– Щенок, – прошипел мужик. – Тебе яйца оторвут и на дуло намотают.
– К приезжим нужно хорошо относиться, – назидательно сказал Дима, пытаясь сообразить, что же делать дальше.

– Ты ж не выстрелишь, – отозвался мужик. – Я таких, как ты, щавликов с пушкой, на ногте давил, как гнид. Ты ж не выстрелишь.

Дима подумал, что в самом деле может не выстрелить. Еще немного, и придется в самом деле либо стрелять в толстого, либо драпать. Он же колет. По всем правилам. Сейчас пойдет по нарастающей. Что делать?

– Щавлик, – процедил толстяк, – ты пушку опусти. Подобру-поздорову.
– Пан милициант, – позвал Дима, – сделайте шаг ко мне. Один, всего один небольшой шагок.

Милиционер шагнул. Пистолет в Диминой руке метнулся вбок и ударил рукоятью милиционера в переносье. Но вместо того, чтобы упасть и потерять сознание, тот по-поросячьи взвизгнул и бросился вперед, растопырив руки. Дима ударил его коленом в грудь, отпихнул, и вдруг рука с пистолетом онемела. А потом из легких вылетел весь воздух, легкие слиплись, расплющились, вдавились в ребра, и под ногами не оказалось пола.

– Во говнюк. Надо ж так, – сказал мужик. – Ты как, целый?
– Гадина! Лоб мне разбил. – Лейтенант хлюпнул носом.
– Ты его на пол, лицом вниз, – посоветовал мужик, нагибаясь на Диминым пистолетом. – Я сразу понял, как увидел, – стволик-то копанный. Видишь, неровно как? Ржавь счищали. А фасон я знаю. Такие до войны еще делали.

– Антиквариат дырки не хуже новых лепит, – процедил лейтенант, отирая ладонью кровь с лица. – Во падло.

Он пнул лежащего вниз лицом Диму в ребра.
– Остынь, зачем без дела лупить. Я и так ему приложил по фанере – не скоро оклемается. Он нам еще пригодится. Расскажет, где ствол раскопал. И покажет.
– Без дела? Это называется «без дела»? Ладно мне морду раскровянил, так он же тебе дыру в пузе чуть не проделал!
– Не проделал бы. Сопляк. Я таких десятками колол. Глазки бегают, весь как пружина, трясет его от возбуждения. Не знает, что дальше-то делать. Щавлик. Мы из него все потроха за час вытрясем. Звони Вовику – поедem в Балбасово.

Диме досталось еще дважды. Первый раз, когда впихивали в машину. «Уазик» закапризничал, закашлял мотором, толстяк вылез и вместе с Вовиком, чернявым коротышом, крепким и круглым, как яблоко, начал копать в моторе. Милиционер, шипя сквозь зубы, коротко ткнул Диму в живот – раз, другой. Но размахнуться места не хватило, тычки получились слабенькие. Зато второй раз, когда вылезали из машины, он, изловчившись, пнул сзади в копчик, очень сильно, и добавил по почкам. Дима вывалился на асфальт, сложился пополам. Его схватили за шиворот, встряхнули, подняли – но ноги не держали, он снова осел мешком, как только ворот выпустили. Тогда толстяк выматерил лейтенанта и пообещал сломать челюсть, если он хоть раз еще, гнида, притронется. Лейтенант шипел и скалился. У него распухла переносица, под обоими глазами набухли страшные черные мешки.

«Уазик» стал у низкого плоского здания на краю вымощенного бетонными плитами, полузаметенного песком поля. Сквозь бетон пробивалась трава. Над бункером торчала измятая скелетчатая розетка локатора. Ржавая дверь была в полукруглых мелких ямках – следах от пуль. Вовик постучал в нее носком ботинка, осыпав чешуйки ржавчины.

Диму сволокли в темноту за дверь, в ангар, заставленный ржавыми, огромными, изломанными механизмами. В углу люди в комбинезонах возились над танкеткой. Рядом стоял стол, заваленный бумагами, заставленный картонными коробками с замасленной металлической мелочью. За столом сидел старик, седой до желтизны, с иссохшим ястребиным лицом.

– Из-за чего сыр-бор? – спросил он. – Что за чудо вы мне привезли?

– Вот, – толстяк протянул пистолет, – при нем оказалось.

Старик взвесил пистолет на ладони, вытянул магазин, выщелкнул из него патрон. Сказал задумчиво:

– Хорошо, хорошо... и вы додумались притащить это сюда, ко мне. Ваня!

Один из возившихся над танкеткой, плечистый русский парень, подошел, вытирая руки ветошью.

– Глянь, что нам привезли.

– Ствол известный. Антиквариат. Дорогой – сейчас такие редко попадают. Эту модель, по-моему, еще до войны перестали выпускать, – с ходу оценил Ваня.

– Ты на пулю посмотри, – сказал старик.

– Ничего себе!

– Да, ничего себе, – повторил старик. – Это Шерлок Холмс подцепил его?

– Да, я, – отозвался милиционер гнусаво. Его нос теперь напоминал обваренную картошку.

– Это еще вопрос – кто кого подцепил, – сказал старик и кивнул Ване. А тот ударил лейтенанта ногой.

Лейтенант скрючился, ткнулся лицом в пол – как ветошь, беззвучно. Ваня ударил еще несколько раз – по ребрам, копчику, по голениям.

– Какой дорогой ехали? – спросил старик у Вовика.

– По лесу, мимо старого лесничества, – ответил побледневший Вовик.

– Хорошо. Хоть тут не сглупили.

– Но он же один был, – пробормотал толстяк растерянно.

– Тебя тоже нужно учить, как вот этого?

Лейтенант, всхлипывая, ощупывал рукой лицо.

– Ты не понимаешь, что такими делами в одиночку не занимаются? «В магазин, за сигаретами!» Ни с того ни с сего объявился студент из Города, зашел в магазин и купил сигарет. Кстати, сколько он купил сигарет?

– Две пачки.

– Какой молодец. Умница, – съязвил старик. – И что же, по-твоему, мы будем делать, когда друзья-однокашники явятся вслед за студентом?

– Не впервой, – усмехнулся Ваня.

– Не впервой, но всякий раз это стоит очень и очень. Прошлый раз мы полгода новые дырки в ремнях вертели. И люди. И шум. Но тут есть кое-что еще. Даже если предположить, что наш студент, – старик весело подмигнул Диме, – таки откопал ствол на бабушкином огороде, то вот это, – он показал патрон, – закопали на этом огороде совсем недавно. Меньше года тому назад. Может, студент поделится с нами, где это такое откапывают? Скажи нам, студент.

– На огороде, – сказал Дима хрипло.

Он подумал: если сейчас начнут бить, будет хуже всего. Рассказать им нечего. Разве только вывалить: это тот самый пистолет, с площади. Но ведь всё равно не поверят. А если поверят, неизвестно, что хуже.

– На огороде, – покачал головой старик. – Значит, на огороде... погоди, Ваня, не нужно. Во-первых, еще успеешь. А во-вторых... прежде чем бить, надо же подумать, зачем.

– Болото, – напомнил толстяк, – Протасовское...

– Молчать, – оборвал его старик. – С болотом мы еще успеем. Обыщи-ка студента.

Толстяк ощупал Диму, вывернул карманы. В карманах оказались деньги, зажигалка,

ключи от комнаты и истертый в лохмотья трамвайный билет.

– Ничего, – сообщил толстяк. – А в сумке документы, полотенце с зубной щеткой. Сигареты. Книжка еще. Разинов. Не, Розанов. Вот.

– Шерлок Холмс его не обыскивал, перед тем как к тебе привести? – поинтересовался старик.

– Нет. Он даже в сумку не залез, где пушка лежала.

– Само собой, само собой. Вот что: забирайте дурака и везите домой. Всех на ноги – пусть шухерят. Если кто незнакомый, подозрительный – сразу мне. Ничего, повторяю, ничего без приказа не делать. Понятно?

– Так точно! – в один голос ответили толстяк с Вовиком.

Они подхватили лейтенанта под мышки – тот зашипел от боли – и потащили к выходу.

Диму не стали бить. Его даже не расспрашивали. Его накормили хлебом и салом, дали стопку самогону – хорошей, чистой ржаной горелки, настоящей на лимонных корках, и заперли в чулане, комнатухе четырех шагов в длину и двух в ширину. Комнатка была глухая и темная, без окон, щелей и дыр, выложенная бетоном ниша в земле, пыльная и холодная. Воздух в нее проходил только сквозь дверь. В листовом ее железе зияла дыра примерно в полголовы, с неровными, отеками сварочным шлаком краями. В комнатухе валялись доски, ветошь и старые банки. Дима помочился в одну из них, поставил в углу и прикрыл доской, но всё равно комнатуха мгновенно пропиталась вонью.

Потом постелил на доски тряпье, прилег. Попытался продумать, что будет делать, а главное, что говорить. Как объяснит пистолет и историю про деда и танки в болоте. Думалось не очень, самогон шумел в голове. Мысли вились обрывчатые, хаотичные: пистолет, оказывается, выкопанный. Ведь обязательно захотят узнать, где именно. Самогонка пошла, должно быть, поверх пива, и оттого так ломит виски. А старик страшенький, как заспиртованная гадюка. Лучше, наверное, рассказать всё как есть. Но ведь всё равно будут бить, и расспрашивать про одно и то же, и снова бить. Болит грудь. Нужно повернуться на спину – легче дышать. Если бьют в грудь – нужно задержать дыхание. Иначе ребра поломают. Как хрустнуло, когда ботинком в лицо лейтенанту. Страх. Мысли замельтешили, потом свились в плотный, липкий, темный клубок – Дима незаметно для себя соскользнул в сон.

Старик кормился войной всю жизнь. Еще осенью тридцать девятого, когда гнали на восток пленных поляков, на станции в Орше он выменял серебряный портсигар и пряжку с орлом на шмат пожелтевшего сала. Поляков заперли в бараках за станцией, дощатых, приземистых, с узенькими, в два кулака окошками без стекол. В этом окошке исчезали шматки сала, хлеб, завернутая в газету махорка – махорку просили чаще всего и давали за нее больше, – а взамен появлялись блестящие, чудесные вещи. Тогда нынешнему иссохшему, с пергаментной кожей и выцветшими волосами старику было двенадцать, он был ловчее и пролазливей хорька и умел перелетать через заборы, заставляя столбенеть от изумления разъяренных хозяек.

Тогда его звали Матейкой. Его знало все Заречье. На всём оршанском кольце не было двора, с которого он не утащил бы хоть яблоко, а с иных – и куренка, и кочан-другой капусты, и забытый на плетне горлач. Поляки давали много – Матейка брал всё. И портсигары, и пуговицы. Тогда же в него первый раз стреляли. Когда Матейка совал привязанный к палке кулек с махоркой вверх, к окошку, он вдруг увидел на протянувшейся за кулем руке тускло-желтую полосу и, не раздумывая, подпрыгнул, вцепился обеими руками сразу. Потянул, повис, поляк закричал, из-под лопнувшей кожи брызнула кровь. И тотчас же по дорожке захрустели шаги, часовой закричал: «Стой!»

Матейка дернул изо всех сил, оттолкнувшись ногой от стены, упал, вскочил и бросился бежать, пригнувшись, унося зажатым в кулаке браслет с часами. Часовой выстрелил вслед – горячим шевельнуло волосы над ухом. Часовой лязгнул затвором, но Матейка на

четвереньках нырнул в лаз под забором, проскользнул между досками, выскочил – ушел. Добравшись до кустов у реки, до своей схованки, до тайного склада, где в ямке под кустом хранил добытое, разжал кулак. На разорвавшемся браслете часов остался длинный, в палец, белесый, в крапинках запекшейся крови лоскут кожи. Больше к барaku Матейка не ходил, да и незачем было – поляков через два дня увезли. Привезли раскулаченных, но от них особо ничего не перепало, их уже успели расстрелять по дороге.

В сорок первом немцы бомбили станцию, и мать забрала Матвея в деревню. Тогда он увидел, как щедро засевают оружием землю. Имперская армия катилась на восток, оставляя десятками застрявшие в болоте, обессиленные без бензина и соляра танки, обочины шоссе усеивали ломанные машины, телеги, мертвые лошади. На Днепре, у Шклова и Копыси, немцев пытались остановить, но немецкие танковые дивизии за день-два боев сбили заслоны, форсировали реку и пошли на Смоленск. За танками шла пехота, неторопливо подчищая взрезанное, раскроенное танками, добывая попавших в окружение, разгоняя по лесам выживших.

За околлицей деревни, куда увезла Матейку мать, немецкий мотоциклист расстрелял трех вышедших из лесу солдат. Солдаты, услышав мотор, бросились бежать назад, через выгон, к лесу. Мотоциклист, остановившись, срезал всех троих одной очередью и даже не стал смотреть, кого убил. Сдернул мотоцикл с места, выбросив струю пыли из-под заднего колеса, и пошел, рыча мотором, за пригорок, на восток. А солдаты и их винтовки остались на выгоне. Две винтовки забрали мужики, а третью утащил Матвей и, завернув в промасленное тряпье, закопал за сараем. За нее потом местный колхозный бригадир, удравший в лес и принявшийся собирать хлопцев покрепче да поухватистей, избавил мать Матвея от очередного побора. Бригадир, по старой привычке, установил норму: от кого сколько горелки, сколько яиц и сала каждую неделю.

В сорок втором, когда стали гнать в полицию и в Германию, Матвей сбежал в лес сам. И с того времени рассыпанное по земле, застрявшее, брошенное, забытое, спрятанное оружие стало его хлебом, заботой и профессией. В отряде считали, у него особый нюх – он находил сброшенные с мостов в реку пулеметы и запряганные в подполе, среди картошки и яблок, гранаты. Он находил упавшие в лес самолеты, обшаривал обгорелые трупы в кабинах. Летчики были прибыльнее всего, особенно немецкие – пистолеты, часы, зажигалки и портсигары, карманные ножи и бритвы, обручальные кольца. Часы и кольца он оставлял себе, прятал в одном из известных схронах. Часто неплохо перепадало и с танкистов, но в танки лазить было страшно – после взрыва и огня внутри оставалось липкое черное месиво, обломки костей вперемешку с горелым железом.

В сорок четвертом немцы покатались на запад и основательно засеяли землю еще раз. Сорок первый прокрутился назад, и теперь по лесам бродили уже не имперские окруженцы, а мышастая немецкая пехота, запуганная и голодная. Матвей к тому времени выучился неплохо стрелять, бил из винта навскидку, попадая в пятак с десяти шагов, и охотился сам, выслеживал. Но в отличие от большинства его сверстников не находил большого удовольствия в этом занятии. Опасность не пьянила, не ободряла, а всегда оставалась опасностью – тяжелой, давящей. Он предпочитал приходить после, когда из горелого выползали последние вялые, перистые завитки дыма, когда способные уползти уползали, а неспособные переставали стонать.

Бригадир, превратившийся из колхозного в партизанского, в вождя четырех сотен разномастных головорезов, не утруждал Матвея заданиями – часы и кольца делили поровну. Бригадир, как и Матвей, хотел не просто выжить, а жить, причем неплохо. В сорок пятом бригадиру дали орден, а в сорок шестом он сам отправился туда, куда отправлял раскулаченных в тридцать девятом. А Матвей остался и без труда отыскал бригадирские тайники. Но очень быстро выяснилось, что при имперской власти ни от золота, ни от оружия простому гражданину особенной пользы нет – первое было не продать, а второе сразу стало преступлением. И тогда Матвей, уже Матвей Иванович к тому времени, решил стать непростым гражданином.

Способ существовал, и довольно простой. Партизанское прошлое, пролетарское происхождение – отец работал путевым обходчиком – открывали много дверей. К тому же по представлению бригадира Матвея тоже наградили в сорок пятом – медалью «За отвагу». С ней Матвей отправился в Ленинград и поступил туда, где готовились непростые имперские граждане, облеченные властью действовать тайно и явно и отвечать только перед своим начальством. В пятьдесят втором он вернулся, влился в организацию, называвшуюся физиологическим словом «органы», благополучно пережил смерть Вождя империи, органы сильно взбудоражившую, и сделал быструю карьеру, но не совсем вверх, а, скорее, вбок.

К тому времени страсть к упрятанному в земле оружию завладела им целиком. В его кабинете на стене висели карты с заштрихованными кляксами, флажками, пометками, стояли пробирки с образцами почв, а в объемистом несгораемом шкафу хранились трофеи – и число их всё время прибывало. Его официальной специальностью была слежка за оружием, выяснение происхождения, сбор и хранение сведений. Профессионалом он был высочайшего класса, перспектив дальнейшего карьерного роста не имел. Работа эта считалась скучной и неперспективной, и потому молодые карьеристы его особо не тревожили. А неофициально он вспахивал страну, как весеннее поле, просеивал, возделывал, вскрывал. Он раз и навсегда уверился в том, что страна, сквозь которую столетиями туда и назад прокатывались войны, начинена оружием, улегшимся в землю, как кильки в томатный соус.

Конечно, железо распадалось, время и влага съедали оружие, но тем интереснее было искать места, способные его сохранить. Он стал специалистом по истории войн своей страны и уникальным, едва ли не единственным в мире экспертом по военным кладбищам. Более того, он перерос рамки чистого профессионализма, он стал художником, мастером, спортсменом, он искал уже не для того, чтобы продать, – пополняли его находки музеи или ведомственные склады, ему было уже неважно. Он искал единственно ради того, чтобы находить.

Он находил «мосинки» Первой мировой войны и фузеи Северной, находил кремневые гаковницы и сабли Потопа, находил пики ландскнехтов, находил мечи викингов. Он искал и не боялся, что источник иссякнет, работы хватило бы на две, на десять жизней. Можно было не торопиться, а смаковать, наслаждаться в полной мере каждой находкой. Уйдя на пенсию, он продолжал заниматься любимым делом, прежние коллеги позволяли – к его услугам прибегали всякий раз, когда возникали затруднения с определением оружия и слежкой за ним.

А потом империя тихо, почти без судорог скончалась – и Матвей Иванович вдруг обнаружил, что никому не нужен. За старыми стенами сидят новые люди с новыми заботами, а пенсии, той пенсии, которой в советское время хватило бы на зарплату трем докторам наук, не хватает на месячный провиант и оплату квартиры. Самое обидное, что пенсия по-прежнему оставалась выше трех докторских зарплат.

И тогда Матвей Иванович вспомнил прошлые навыки. Людей он собрал быстро – помогли служебные связи. Проблема была со связями другого рода, с тем миром, который мог платить за то, чего не имел сам. Еще большей проблемой стали конкуренты. С самостоятельными копателями справиться было несложно, достаточно выследить, где и что появляется на рынке, выяснить, кто и где откопал, и припугнуть копавших. Сложнее приходилось с теми, кто, как и Матвей Иванович, действовал под крышей. А крышу предоставляла каждая из постимперских охранок, бешено враждовавших между собой. У Матвея Ивановича был опыт, были верные, проверенные люди, были старые связи, была раскинувшаяся паутиной по стране сеть информаторов – а у охранок была власть и несметное количество юнцов, рвущихся к деньгам и чинам. Дешевого расходного материала.

Хуже всего была личная охранка отца нации, его «эскадрон смерти», привыкший к безнаказанности, не желавший договариваться ни с кем, начинавший стрелять по любому поводу и без повода. После стычки с «эскадрерос» пришлось перекочевать на окраину старого аэродрома в Балбасово, оставив мастерскую, компьютеры и почти целый немецкий «Шторх», выуженный из озера Палик.

Они явились рано поутру, на трех джипах с тонированными черно-глянцевыми стеклами, в упор расстреляли из «винторезов» охрану и начали чистить ангары. Спасла только местная милиция – ей платили много, и она честно отработала полученное, хотя и перетрусила отчаянно. В милицию «эскадрерос», угрюмые закамуфлированные молодчики в бронежилетах, стрелять не стали и позволили людям Матвея Ивановича уйти. Но захваченного не отдали. На Матвея Ивановича им было наплевать, приехали они именно за «Шторхом» и за арсеналом, скопленным за три года работы по болотам, озерам и глухим лесным урочищам. За большими, очень большими деньгами.

Старые винтовки, кресты и медали, машины, самолеты, танки, а в особенности танки немецкие, шли нарасхват. За выуженную из псковских болот «Пантеру-А» Матвей Иванович получил чек с шестизначной суммой. «Пантеру» вывезли в Эстонию под видом металлолома и отправили в Штаты на финском сухогрузе. Слухи про шестизначную цифру побежали, как крысы из-под ларька, и буквально через неделю трое сноровистых молодых людей из республиканского отдела по борьбе с терроризмом средь бела дня подогнали автокран и сняли с постаменты немецкий десятитонный 38(t), памятник защитникам Могилева, ценой огромных потерь оставивших танкистов Гудериана на Буйничском поле.

Молодых людей поймали уже на российской границе вместе с танком, запиханным в большегрузную фуру. Танк вернули на место, а похитителей – отделу. Но не сразу. Одного из троих Матвей Иванович бил сам, немецкой же тростью, добротной, перехваченной стальными кольцами можжевелевой палкой с набалдашником из слоновой кости. Юнец рычал, грозил, плевался и плакал, а в конце, когда кожа со спины начала сползать чулком, стал тоненько, по-пороссячи взвизгивать. Он так и не понял, за что его били.

Отправив восвояси привезшую Диму тройцу, Матвей Иванович немедленно начал принимать меры. Он оповестил местную милицию, дал знать своим людям по окрестным деревням, чтобы немедленно сообщали обо всех подозрительных машинах, черных джипах с тонированными стеклами, например. Приказал вытащить наверх, на бункер, пулемет, немецкий «МГ-42», откопанный в партизанском тайнике. Вызвал к себе пятерых человек, работавших на переправе через Днепр у Копыси. Наконец, позвонил в Город и, выслушав короткий, сбивчивый рассказ о творящемся там, приказал выставить посты у обоих въездов на аэродром. После велел сварить кофе. За много лет он привык к кофе, как к хлебу, для него в самые трудные времена добывали настоящий йеменский мокко. Отхлебывая из крохотной, полупрозрачного фарфора чашки смолисто-черный взвар, принялся думать, что же делать с Димой.

Дима, уложив голову на руку, уже давно присвистывал и похрапывал, а старик пил кофе и смотрел на пистолет. Всё утыкалось именно в пистолет, серый, потертый, ношенный кусок стали. Если бы не пистолет, всё определилось бы сразу и просто. Самодеятельные горе-искатели попадались постоянно: и наивные студенты, начитавшиеся мемуаров, и угрюмые неудачники с лопатами, прослышавшие, сколько дают за немецкие ордена. Неудачники действовали поодиночке либо мелкими шайками и любили рыться в могилах. Их, отловив, били без пощады, ломали лопаты о спины и советовали, с целью сохранения остатков здоровья, больше никогда ничем подобным не заниматься.

Студенты организовывались в кружки и патриотические общества, совали нос во всякую щель, выбалтывали всё подряд первым встречным и с простодушной доверчивостью ожидали, что им все помогут, подвезут, накормят, покажут и поделятся. В общем, чаще всего им действительно помогали, показывали, подвозили и делились. Матвей Иванович тоже старался обходиться с ними помягче, даже когда им удавалось увести ценное из-под носа. Во-первых, конкуренции на рынке они не составляли и найденное не продавали. Во-вторых, и деревенский люд, и сам Матвей Иванович относились к ним, скорее, как к юродивым, полусумасшедшим. Ковыряясь в земле, добывая таблички и бумаги, откапывая кости и пуговицы, отыскивая имена, они с любовной бережностью добавляли кроху за крохой к войне, стараясь сделать ее тень, маячащую за спиной, еще больше. Некрофилы-энтузиасты.

Подмастерья-гробовщики, они всю страну считали кладбищем. С восторгом рассказывали о находках, искали родственников, писали им, изощряясь в соболезнованиях, бередя старую боль. Матвей Иванович относился к ним с тихой брезгливостью.

Открытое,мышленное, симпатичное лицо, книжка в сумке, наивная болтовня про деда-танкиста – студент, гробокопатель-любитель. На все сто. Если бы не пистолет. Копаный – значит, скорее всего, чистый, нигде не засвеченный, не отслеженный. Такими обычно снабжают убийц. Значит, дед-танкист и танки в болоте под Копысью? Но ведь на Протасовском болоте ничего нет. И быть не может. Это болото – узкая, метров в триста полоса камыша с лужами-окнами вдоль речки, обмелевшей после мелиорации. Старая плотина с мостом посередине. Там и свинье не утопиться, не то что танку. У лейтенанта от жары зашкалило под черепной крышкой. Зато это болото всего в пяти километрах отсюда. Кто ж тебя ко мне послал, гражданин студент?..

Матвей Иванович вынул из рукояти магазин, один за другим выщелкнул патроны. Новенькие. Прошлогодние, судя по цифрам на доньшках гильз. Тяжелые. Пожалуй, для пистолетных патронов даже слишком. Лакированные головки, витой узор – черно-белая спираль. Никогда такого раньше не видел. Кажется. Всё же что-то смутно знакомое. Матвей Иванович расставил патроны шеренгой. Пересчитал. Пересчитал еще раз. Быстро разобрал пистолет, понюхал ствол, посмотрел на свет – и тут же, вынув мобильник, набрал номер. Ему ответили: не стрелял. Нет, не успел. Совершенно точно.

Матвей Иванович положил мобильник. Посмотрел еще раз на поблескивающий лаком и полированной латунью рядок патронов. Наивный студент-убийца с копаным стволом, из которого недавно стреляли. И не потрудились сунуть новый патрон в обойму. Странный патрон, чересчур тяжелый, с полосатой пулей. Перед тем как идти стрелять в дядю танкокопателя, мальчишки-ликвидаторы решили потренироваться. Пострелять по мишеням. Бред.

Может, всё это нагромождение глупых случайностей? Вдруг появился с копаным пистолетом в сумке, ни с того ни с сего сочинил байку о танках на болоте. А пистолет, скажем, нашел. На огороде. Правда, клиническим идиотом он не кажется. Матвей Иванович вщелкнул патрон обратно в обойму. Вставил обойму на место. Что же со студентом делать? Проще всего, наверное, не бить и не расспрашивать, отвезти куда подальше да бросить. Послать толстяка – пускай завезет, скажем, в Могилев и высадит у рынка. Самый щадящий вариант: и овцы целы, и волки сыты. Все живы, здоровы, довольны. Можно подпоить слегка, пускай повеселится, с начальством объяснится, дыша перегаром. Ваня давеча принес первоклассный первачок. Сивухой разит – с ног валит. А пистолетик – утопить. Скажем, в том самом Протасовском болоте. Вместе с загадочными полосатыми патронами, похожими на американский сувенир времен запуска первых спутников, на ракету-носитель «Юпитер» на старте. Матвей Иванович вдруг сказал сам себе: «Стоп». «Юпитер», хотя такой же толстенький и короткий, был раскрашен совсем по-другому. В шахматную клетку. Спиральный узор был на других ракетах. Совсем других. И тут Матвей Иванович вспомнил то, о чем говорил в трубку, сбиваясь, его человек в Городе. О лобовом стекле президентского лимузина, выдерживавшем очередь из «Калашникова» в упор. И не выдержавшем выстрел из пистолета.

В углу ангара пирамидой лежали свежие доски. Матвей Иванович приказал взять дюжину трехсантиметровой толщины досок, сложить стопкой и приставить к стене. Отошел на три шага, поднял пистолет и выстрелил. Потом велел одну за другой снимать доски, отыскивая входные и выходные отверстия. После двенадцатой доски, проткнутой насквозь, словно бумажный лист шилом, приказал искать на полу, у стены. А Ваня сказал: незачем искать на полу, вот она, в стене – пуля на два пальца ушла в бетон.

ПАТРОН ТРЕТИЙ: БОЛОТНЫЕ КОШКИ

Убившая Понтаплева пуля прошла сквозь бронестекла президентского лимузина и, расколов гранитную ступень у пьедестала обелиска Победы, зарылась в бетон за ней. Пулю нашли только на третий день – никак не могли определить, где именно был лимузин в момент выстрела. А когда нашли и выпилили из бетона, когда отчет экспертизы лег на стол кабинета в желтом здании напротив бронзового Рыцаря Революции – тогда жизнь многих обитателей желтого здания стала кошмаром.

Понтаплев не был крупной фигурой. Узнав о его гибели, оба соперничающих управления тут же запустили в разработку резервные планы. Резервные планы предусматривались для прикрытия трудных дел – от пьяной драки до широкомасштабного заговора, чтобы всегда можно было предъявить стране и власти виновных. Каждое управление держало базу данных для резервных планов и картотеку подходящих людей, каждое имело богатый опыт обработки и разработки. Преступные шайки, организации, кланы, заговоры, оппозиция, партизаны, происки разведок – всё вплоть до интервенции было доступно, создаваемо и организуемо. Разумеется, велось и обычное следствие, но его исход предсказать было трудно, а в делах такого уровня последствия неудачи могли оказаться фатальными для расследующих. По Понтаплеву оба ведомства сразу запустили резервный план «мелкая террор-группа», крупный заговор был излишним. Но найденная в бетоне пуля перевернула всё.

Немецкой выделки бронестекла, ставившиеся на «членовозы», роскошные представительские «мерседесы», выдерживали бронебойно-зажигательную очередь из «Калашникова» в упор. Разорвавшаяся на капоте граната не причинила бы вреда пассажирам. А убившая Понтаплева пуля пробила оба бронестекла и застряла в бетоне.

Пулю нашли люди республиканского Управления. Их эксперты, провозившись сутки, заключили, что ничего подобного раньше не видели. Сердечник пули, раскрывшейся после удара и превратившейся в длинную тонкую иглу, сделан из легированного непонятно чем урана. Когда отец нации созвал Совет Безопасности, шеф Управления по Городу и области еще не знал о пуле и бойко рассказал, сколько террористов и их пособников оказалось среди задержанных. Отец нации, хмурясь – он уже прочитал отчет, – спросил, как пистолетная пуля могла пробить бронестекло. Шеф, замаявшись, пробормотал что-то о современных технологиях и западных разработках. А его коллега из республиканского Управления положил на стол пулю в полиэтиленовом пакетике. Подождав, пока все наглядятся на нее, длинную, изящную, похожую на сложивший лепестки цветок, сказал: здесь дело не в Понтаплеве. Такая пуля может пробить навылет «БМП». И стоит она огромных денег, как и подготовка смертника-одиночки, выпустившего ее. Покушение планировалось не на Понтаплева – на президента.

Президент боялся невидимой смерти. Боялся рака и авиакатастроф. Но более всего – невидимой, цепкой сети лжи и недомолвок, созревающего под кожей гнояника, прорывающегося наружу ядом в стакане с вином или внезапно окружившими дом спецназовцами. Или снайпером. Президент бредил покушениями. Идя к власти, он, чтобы раздуть свою популярность, устроил покушение на самого себя. Стараясь сыграть достоверно, стрелявший уложил пулю в сантиметре от виска будущего президента, навсегда запомнившего шевельнувшийся волосы ветер и тонкий, на грани слуха, скрежеток раздираемой свинцом жести.

Президент накричал на начальников своих охранок, как на мальчишек, и объявил, что берет дело под свой личный контроль. Но вести дело поручил республиканскому Управлению и приказал передать ему все собранные материалы. Время резервных вариантов кончилось – президент хотел знать, кто убил сидевшего на президентском месте в президентском лимузине.

Управлению по Городу и области пришлось передать главному своему сопернику не только все собранные крохи и всех задержанных, но и данные по наполовину разработанному резервному варианту. Оба управления враждовали давно и сильно, и республиканцы, вдоволь насмеявшись сами, аккуратно разгласили резервные разработки

коллег, позволив кое-чему просочиться в газеты.

На очередном заседании совета безопасности шеф республиканского Управления осведомился у коллеги, как так вышло, что террористы оказались связаны одновременно с чеченскими ваххабитами и с «Моссадом». Коллега смолчал и, вернувшись в родное ведомство, созвал свое совещание. Республиканцы ищут олигархов, оплативших подготовку и вооружение террориста-смертника, – пусть. Управление по Городу и области продолжит свое дело и раскроет заговор в масштабах всей страны: вооруженное восстание, боевые группы в лесах, заговорщики в дивизии быстрого развертывания, глобальный план западных держав, нашедших сторонников в самых высших эшелонах власти. Даже среди верхушки некоторых силовых ведомств.

Пусть прежний резервный вариант осмеян, можно разработать новый такого масштаба, что смеяться над ним не посмеет никто. Особенно если результат разработки заживет в нужный момент самостоятельно. Когда в стране запахнет настоящей гражданской войной, станет ясно, кто был прав. И кому стоять во главе. Большой работы тут не требовалось: всего лишь состыковать планы «Лесной бункер», «Армия № 0» и «Националистическое подполье». Труднее было с привязкой к реальности: на одном камне – на убийстве Понтаплева – строить здание такой величины было проблематично, чересчур рискованно. Потому старшие офицеры Управления, начавшие было во весь опор, потихоньку нажали на тормоза.

Возможно, остыв, шеф Управления нашел бы другой способ отомстить соперникам. Урезать свои амбиции, ужать, придвинуть к реальности. Но вскоре он нашел еще одну опору для своего плана. Проснувшись рано утром двадцать второго июня и подойдя к окну, он увидел на востоке зарево. А через час ему доложили, что звено тяжелых штурмовых «Буранов», поднявшись с пригородного аэродрома, прошло вдоль кольцевой, плюясь огнем, расстреливая фуры и бронетранспортеры, и взорвало все бензоколонки в восточном секторе кольцевой дороги.

В одиннадцать утра двадцать второго июня я сидел на холме, жевал щавель, пыльный и пронзительно кислый, и смотрел на Город. Огонь уже почти потух, и сирены перестали выть. Спасенные пожарными развалины еще дымились, оставленные догорать – догорали.

У меня страшно болела голова, меня тошнило, нос распух и раздулся перезревшей сливой. Меня трясло и лихорадило. Больше всего хотелось лечь под каким-нибудь кустом, в тени, и лежать, ни на что не обращая внимания. Я уже тысячу раз успел проклясть свое желание пойти пешком.

...С утра рыцари и перепившиеся накануне гости с трудом передвигались, собираясь, разыскивая по кустам досыпающих; кого-то отправили за пивом в ближайшую деревню, над вытоптанной поляной, усыпанной бутылками, жестянками и обертками, висела тяжелая вонь блевотины и мочи.

В автобусы напихивались, как селедки. Автобусов оказалось мало: то ли кто-то уехал ночью, то ли не приехал утром. Марат, угрюмый, с мешками под глазами, командовал посадкой. Я представил, как протискиваюсь в пропахший потом и перегаром автобус, и к горлу подкатил кислый рвотный комок. Рыся нацарапала обгоревшей палочкой свой номер телефона на клочке обертки, сунула мне в карман и скользнула в набитый доверху «рафик». А я пошел пешком.

И очень скоро об этом пожалел. Земля качалась под ногами, каждый шаг отзывался в голове так, будто по ней били колючим, тяжелым молотком. Обрыв вдоль реки становился всё ниже, кусты – всё гуще, под ногами зачавкала жижа, над головой зазвенели комары. Бесчисленные их эскадрильи пикировали за шиворот, набивались в волосы, лезли в ноздри, вокруг на разные голоса орали лягушки, из-под моих ног шваркнули в заросли утки – я зашел в болото. Я и не знал, что такие есть под Городом. Островки, бугры твердой земли поросли корявыми ивами, тростник был в полтора моих роста, колыхал мохнатыми блондинистыми метелками, сыпал пылью. В тростнике шипело, ворчало, чавкало, хлюпало – удирало от меня, пряталось.

От духоты першило в глотке, солнце давило сверху раскаленной гирей. Провалившись второй раз по колено в воняющую гнилью, пузыристую, черную жижу между кочек, я решил идти напрямик, к недалекому лесу. Выйдя на очередной островок, присев отдохнуть на сухое, я почувствовал взгляд. Медленно обернулся... С протянувшегося над землей толстого узловатого сука на меня смотрела пара медово-желтых, стеклистых глаз. Я вдруг понял: узловат и толст вовсе не сук, и буро-желтое на нем – не старая разлохмаченная кора. На ушах у зверя были кисточки, пучки распушенных волосков. Я медленно, очень медленно поднялся и, пятась задом, зашел в болото. Я где-то читал: им нельзя смотреть в глаза, это опаснее всего, но я просто не мог оторвать взгляда. Я перестал смотреть, только когда споткнулся и упал на спину, в грязь. А потом перевернулся и на четвереньках сиганул сквозь кусты и тростник, с кочки на кочку, и остановился только в лесу, упал, задыхаясь, на подстилку из коричневой сухой хвои. Сколько я пролежал там – не знаю. Меня вырвало, я едва успел повернуться на бок, чтобы не захлебнуться блевотиной. Наконец заставил себя встать.

В лесу вскоре нашлась дорога, старая колея по просеке, ельник сменился редкими соснами, я спустился в ложбину, поднялся на холм – и увидел Город: зубчатую стену многоэтажек, кольцевую, пригородный поселок-новостройку, кирпичные многоэтажные мини-замки, недостроенные, заброшенные после недавнего кризиса, и шоссе. Перегородившие шоссе туши бронетранспортеров. И там и сям вдоль кольцевой поднимались в безветренное небо клубы дыма. Я передохнул на холме, полежал в тени, пытаюсь придумать, что делать. Мысли шевелились, как слизни в киселе.

Дорога, по которой я шел, сбегала по склону и через полкилометра вливалась в шоссе. Если я не слишком уклонился, то должен был подойти к Городу с северо-востока. Если держать правее от шоссе, на видимую издали группу многоэтажек, должно быть, выйдешь как раз к своему микрорайону – я жил в двадцати минутах ходьбы от кольцевой дороги. И я, дожидая щавель, пошел.

Сверху дорога казалась простой – поля, перелески. Но, пройдя немного, обойдя невесть откуда взявшееся озерцо, попав в заросли ивняка, а потом в густой еловый лес, которого сверху не видел, я понял, что заблудился снова. Наверное, я бредил и ходил кругами. Я был болен, совсем болен, я едва шел, я изнемог. Вчера в моем желудке плескалась бутылка дешевого вина, а в переносье впечаталось полтора килограмма железа, и я теперь потерял всякое представление о том, куда иду. Как в Городе – я будто провалился куда-то за десятилетия до своего времени. Мир вокруг дрожал и менялся, проваливался и всплывал снова.

Дорога вдруг вывела на поляну. Там стояла свежесрубленная деревянная капличка с надписью по-польски. Подле нее валялись бутылки из-под олифы с остатками сургуча на горлышках. От каплички через лес по просеке шла дорога, испещренная отпечатками подков. Я пошел по дороге, и за вторым поворотом навстречу мне шагнули двое, одетые в табачного цвета гимнастерки и галифе, заправленные в высокие, почти до колен сапоги, в пилотках на головах, с винтовками наперевес. Первый сказал: «Стой, кто идет!» А второй, одновременно: «Документы!» Я, почти не удивившись, вытащил из кармана отсыревшее академическое удостоверение. Первый, с изрытым оспинами грубым лицом, повертел в руках темно-красную книжечку, спросил:

– Почему здесь?

– Я домой иду, – прошептал я хрипло. – Я больной. Я ходил, мне плохо совсем. Я домой иду.

– Ходил он! – Рябой осклабился. – Здесь. В такое время. Ты что, не знаешь, война началась? Не знаешь?

– Нет, – прошептал я, – мне плохо. Позвольте мне, позвольте...

Я вдруг заметил за деревьями высокую, в два человеческих роста, дощатую изгородь.

– Петренко, – сказал рябой, – проводи его.

Петренко, сунув удостоверение в карман, ткнул прикладом мне в спину:

– Ну, пошел, пан хворы академик!

Мы пошли по дороге вдоль изгороди, до ворот, где маялся часовой с такой же допотопной, длинноствольной винтовкой, как и у моего конвоира. За изгородью стоял автофургон, жестяная глухая коробка на шасси полуторки, рядом курили люди во френчах, затянутые в португую, с кобурами на ремнях. Один из них взял мое удостоверение, глянул и бросил: «В расход!» Кто-то из стоявших заметил: «Может, в Город отправим, разберутся?» Ему ответили: «Там сейчас не до того, все эвакуируются. Всех из расстрельного отдела к нам отправляют. Сами разберемся, некогда, еще два рва для новой партии копать».

Меня подвели к неглубокой, едва ли в метр, ямине в песке. Приказали стать на край. Я стал. Петренко вскинул винтовку. Ощущения нереальности происходящего, отстраненности не было. Я очень хорошо понимал, что стою на краю песчаной ямы, и это именно меня сейчас расстреляют, а потом закопают в песке под сосной, именно мне в лицо смотрит черный, жирный зрачок винтовочного дула. Но почему-то нисколько не боялся. Выстрела я не услышал – солнце вдруг покатилося под ноги, и стало темно.

Когда планировалась «Барбаросса», немецкий Генштаб посчитал обширный район болот в среднем течении Припяти и Березины непроходимым. Танковые клинья армейских групп «Центр» и «Юг» обошли болота, а в них и за ними стягивались, скапливались разбитые имперские части. В конце концов Гудериан и Клейст были вынуждены принять меры и выкурить из трясин изголодавшихся имперских солдат. Но болота отчасти оправдали свою репутацию непроходимых и остались занозой в немецком боку вплоть до лета сорок четвертого. Оружием они были набиты под завязку.

В имперские времена на болота особо не совались. Изрядную их часть отдали под заповедники, закрытые охотничьи угодья имперской аристократии. Непрошенный гость рисковал нарваться на серьезные неприятности с егерями или быть подстреленным и посмертно зачисленным в вооруженные браконьеры. В редких деревнях милиция бдительно отслеживала чужаков. Сунувшийся в болота по возвращении нередко обнаруживал свою машину разбитой вдребезги. Жители платили егерям дань. Те делились данью с милицией, система охраны работала безукоризненно. Не трогали только научные экспедиции.

После же распада империи жители обнищали, егерям почти перестали платить, и они принялись добывать деньги сами. Кое-кто начал браконьерничать, но более умные, объединившись, быстро и беспощадно навели порядок и стали зарабатывать деньги организованно. При заповедниках возникли фирмы, продававшие охотничье-рыболовные туры для богатых иностранцев. Предлагали и экзотику вроде охоты на кабана с рогатиной. В первый же сезон нерешительно завышенную цену подняли в пять, а потом в десять раз – желающие всё равно валили валом. Егеря, отваживавшиеся сопровождать западных любителей острых ощущений на охоту с рогатиной, строили в окрестных деревнях многоэтажные коттеджи с готическими башенками и покупали американские болотоходные джипы.

А еще егеря допустили на болота искателей старого оружия. Разумеется, не бесплатно. Чем больше былучасток, чем более заповедным, чем большего количества техники для поисков требовал, тем дороже стоил. Егеря к тому же обеспечивали безопасность, и копателям не приходилось опасаться грабителей и конкурентов. А егеря не боялись никого и ничего, трусливых за десять послеимперских лет среди них, в полном соответствии с дарвиновской теорией, не осталось. Егеря носили длинноствольные, отлично пристрелянные «лоси» и «сайги» с ночной оптикой и подсветкой, стреляли навскидку и могли сутками сидеть по шею в глее, подкарауливая непрошенных гостей. Местная милиция видела сны о пятнистых егерских комбинезонах и робко смотрела их обладателям в рот. Но всевластными егеря были только на своих прикрытых статусом заповедника болотах.

Еще когда болотно-заповедный бизнес начал входить в силу, туда, на запах больших денег, явилась президентская охранка, молодые, нахрапистые, неподвластные никому, кроме самого отца нации, не желающие ни с кем договариваться, а заставлявшие платить и

благодарить за то, что не отняли всё с кошельком. Дело едва не дошло до стрельбы, но, поскольку среди егерей были двое-трое «краповых беретов» и две дюжины ветеранов последней имперской колониальной войны, охранка пошла на переговоры и согласилась на довольно скромную сумму отступного. Но с тех пор постоянно паслась поблизости, выжидая удобного момента, отслеживая возвращавшихся с добычей копателей. Так попался и Матвей Иванович, везший вытянутый из заповедного озера Палик штабной немецкий «Шторх». «Шторх» затащили в ангар понтонного парка под Бобруйском и почти неделю провозились, приводя в товарный вид. А в конце недели явились «эскадрерос».

Отец нации создал свою гвардию не как еще одну тайную службу среди многих. Он создал кулак – сильный, точный, безукоризненно послушный. По его приказу набирали молодых, умеющих стрелять лучше, чем думать, обязанных всем лично ему. Он закрывал глаза на все их шалости, на то, что они направо и налево навязчиво предлагали свои услуги бизнесменам, а иногда и сами занимались экспроприациями. Отец нации обкатал их на уголовных авторитетах, и страна быстро лишилась мафии, по крайней мере той ее части, которая не желала стать под прямой государственный контроль. Потом попробовал на оппозиционерах и просто на тех, кто мешал.

«Эскадрон» справился неплохо, но наделал слишком много шума, подвергся основательной трепке и чистке и стал осторожнее. Даже попробовал создать свою сеть сексотов, вербовать – неуклюже, грубо. Комитетчики посмеивались над ними и не принимали всерьез. «Эскадрон» пытался внедриться в большой бизнес, на таможенную – и всюду безнадежно увязал, утыкался в податливую глухую стену бюрократических тонкостей и лжи. Фирмы, которые организовывали «эскадрерос», быстро прогорали, крыша, предлагаемая ими, постоянно оказывалась дырявой, просто очередным побором. Хорошо у «эскадрона» получалось только одно – налетать и грабить. На продаже награбленного их постоянно надували, но они особенно и не торговались, компенсируя качество количеством. Они соорудили сеть постоянных баз, держали людей в провинциях и платили немалые деньги за наводку. После продажи «Шторха» одну из таких баз они устроили в Бобруйске, поблизости от заповедника, болот и возвращавшихся с богатыми трофеями копателей. Потому «эскадрерос» явились гораздо раньше, чем ожидал Матвей Иванович.

Толстяк с Вовиком хотели отправить лейтенанта в больницу. Но тот, матерясь и шипя, приказал везти домой. А по приезде велел высадить у порога, а самим убираться к чертовой матери. Толстяк, хмыкнув, сказал, чтобы лейтенант не вздумал делать глупости. Он же знает, разбитый нос ему оплатят – хватит не только на компрессы, но еще и на противосолнечные очки в золотой оправе, и на крымский заггар. Сам виноват – надо же было соображать. Столько хлопот и трат людям из-за своего идиотизма. Лейтенант послал его на три буквы и захлопнул дверь перед носом. А за закрытой дверью, всхлипывая от боли, доковылял до телефона и позвонил в Бобруйск.

Пулеметчики на крыше бункера даже не успели развернуть свой «станкач». Они в недоумении прислушивались к низкому рокоту, доносившемуся из-за леса, шурились, стараясь разглядеть что-то на горизонте, залитом закатным огнем. Вертолет выскочил из-за леса и загрохотал очередями, вспарывая залитую битумом крышу. Пулеметчики кубарем скатились вниз, под защиту бетонных стен, а на крышу с зависшего, ревающего вертолета один за другим спрыгивали упакованные в бронежилеты люди в масках. Люди Матвея Ивановича пытались отстреливаться. Дежурившие в окопчике у въезда на аэродром выпустили очередь по вертолету. Окопчик накрыли гранатой из подствольного гранатомета.

«Эскадрерос» было человек десять, не больше, но работали они, как на учениях. Трое остались на крыше – прикрывать, остальные пошли штурмовой группой, взорвали боковую дверь, забросили внутрь дымовые шашки. Потом пошли сами. С другой двери, с заднего выхода, стали выскакивать ослепшие от дыма люди, их расстреливали с крыши. Когда стрелять начали уже в бункере, его проржавевшие ворота распахнулись от мощного удара, и

наружу, лязгая гусеницами, выскочила ржавая, в пятнах болотной грязи танкетка. По ней ударили с крыши в три ствола, пули зацокали по броне, но танкетка, набирая скорость, визжа и скрежеща, выскочила за ограду и помчалась в сторону леса.

Дима проснулся от грохота. Стреляли. Совсем рядом. Били очередями. За дверью послышался топот, лязг, кто-то крикнул: «Заводи же скорее, черт побери, заводи!» Заурчал, зачихал мотор. Грохнуло так, что с потолка посыпалась крошка. А потом из дырки в двери полез желто-серый едкий дым, раздиравший ноздри, глотку, легкие. Под веки точно насыпали наждака. Дима бросился к двери, заколотил кулаками, ногами. Дым лез плотной струей в дыру, просачивался по краям двери. Дима зашелся кашлем, зажмурил глаза – и потому не увидел, как дверь распахнулась. Из дыма вынырнули двое черных людей в противогазах, похожих на вспученные свиные рыла, подхватили за руки, потащили наружу, на свежий воздух. Вертолет уже стоял на бетоне летного поля, метрах в двухстах от бункера. Диму завели туда, усадили на сиденье, прищелкнули запястье наручниками. Когда резь в глазах поутихла и он смог наконец осмотреться, то увидел человека со страшно распухшим, лилово-сизым лицом. Человек ухмылялся, кривя разбитые губы. Один из черных, содрав противогаз, спросил:

– Ну что, он?

– Он, – подтвердил лейтенант, – самый он.

Но ударить Диму хоть раз ему не позволили. Добычи оказалось мало, гораздо меньше, чем обещал лейтенант. Пара пулеметов, гора прочего оружия разной степени заржавленности, пригоршня крестов и именных знаков, полусгнивших часов, пуговиц, пряжек, проржавевших штыков, намертво приставших к ножнам, дырявых касок, неразорвавшихся мин, кожаный плащ с двойными молниями на лацканах и тремя круглыми дырочками на спине – всё. Почти никаких чертежей, бумаг, планов. Раскуроченный очередью в упор компьютер. И еще три сцепленных гусеничных трака – от той самой танкетки, выбившей ворота и увезшей с собой Матвея Ивановича и его людей.

Не всех, конечно. Пятерых из оборонявших бункер черные пристрелили, двоих ранили, еще двоих взяли невредимыми, хотя и полузадохшимися от дыма. Они пытались спрятаться за досками в углу бункера. Всех – и живых, и мертвых – забрали с собой. Живых увез вертолет, а трофеи и трупы погрузили на грузовик, подъехавший после заката. Командир «эскадрерос», молодой «краповый берет» с перебитым носом и рядом платиновых коронок во рту, раздраженно спросил у лейтенанта, какого хрена они летали и стреляли, – собранного барахла не хватит даже на вертолетный бензин и растроченные патроны к «винторезам». Лейтенант, побледнев, ткнул пальцем в Диму. А командир сказал, что если кто-то понадеялся их руками за просто так сводить счеты, то этот «кто-то» очень, очень ошибся.

На ночь их обоих оставили в одной комнате. Примкнули наручниками к спинкам кровати: Диму у двери, лейтенанта у окна. Дима чертыхнулся про себя – он надеялся рассмотреть окрестности. Может, хоть что-нибудь намекнет, где он. Наверняка не слишком далеко от Орши, летели недолго. Никто глаз не завязывал, черным, судя по всему, было всё равно, видят гости, куда их везут, или нет. А лейтенант так ни разу в окно и не глянул, сидел скрючившись и время от времени тихонько поскуливал. Часа в три ночи он начал кричать. В дверь заглянули, спросили:

– Чего надрываешься?

– Пустите меня. В туалет, – попросил лейтенант.

Ему ответили:

– Может, тебе штаны еще подержать?

– Пустите. Мне очень нужно. Меня тошнит. Тошнит.

Из-за двери добродушно заметили:

– Отведи его, еще нагадит – сами же потом будем убирать.

– Он у меня блевотину свою сам съест, козел. Я из-за него морилки наглотался за три

ржавых ствола, а теперь его еще на очко води.

– Ладно, не разоряйся, я сам свожу, – в комнату шагнул стриженный под ноль веснушчатый парень, едва не упиравшийся головой в потолок. Парень отцепил лейтенанта и потянул за наручник за собой. Не было его довольно долго, потом за дверью захохотали, и он кубарем влетел в комнату, мокрый с ног до головы. Веснушчатый верзила снова прищелкнул его к кровати, помахал пальцем:

– Ну что ты, паря, ну не надо же против ветра. – И снова басовито заржал, так, что задребезжали стекла.

Лейтенант сидел на полу, скорчившись, трясся и бормотал под нос: «Суки, сволочи, сволочи, быдло, суки, суки». Посмотрел вдруг на Диму, будто впервые заметил, и зашептал:

– Студент, слышь, студент, послушай, а?

– Чего тебе? – спросил Дима.

– Студент, ты не наврал про танки, не наврал ведь, а? Ты знаешь, что они сделают, если ты наврал? Ты ж за танком приехал, я знаю, скажи мне, богом прошу, скажи, ты ж точно знаешь?

– Ничего я не знаю, – отмахнулся Дима.

– Ты знаешь, знаешь, ты ведь врешь мне, – зашептал лейтенант. – Они же не поверят, что ты не знаешь. Я тебе скажу, что они делают: они провода к яйцам прикручивают и к телефону. И номера потом набирают. От девяток и нулей кожа под проводами горит. А еще булавки длинные, я сам видел, они под ногти загоняют, медленно, по миллиметру, до самого сустава, а потом в сустав, в костяшку самую. И дергают. Ты представить не можешь, как это. Они же за...бут тебя, за...бут. Они же меня за...бут. Всё заберут, дом, машину, всё, а потом всё равно за...бут, они не прощают. Ты им что хочешь говори, а я скажу: ты мне рассказал, ты знаешь, но не сказал, где. Про танки рассказал.

– Как тебя звать?

– Рышардом. Рышард я, – с готовностью ответил лейтенант.

– Рышард, кто эти люди? Кто нас взял? – спросил Дима.

– Ты не знаешь? Это же «эскадрон смерти», ты что, про него никогда не слышал? Ты не представляешь, что они с нами могут сделать, страшно, что сделают, а потом закопают где-нибудь на кладбище в свежую могилу, или спялят в печи, или в извести сожгут.

– И ты этим добрым людям старика заложил за то, что он тебе приказал пи... дюлей навешать?

Лейтенант рванулся и взвизгнул от боли.

– Бл...дь, студент е...ный, козел, я тебя, падло, я ж тебя, сука, убью!! – визжа, хватал воздух, как выброшенная на песок рыба. Наконец выдохся, обмяк и заплакал.

– Знаешь, Рышард, – сказал Дима, – ты не только подлец, но еще и полный идиот.

Утром их, не дав ни поесть, ни умыться, запихали в джип и повезли. Диму, толком не евшего уже двое суток, начало мутить от голода. Есть хотелось до такой степени, что слюни текли от запаха лейтенантского пота. Хотелось курить и пить, хотелось до остервенения. А Рышард впал в ступор, сидел, втянув голову в плечи, похожий на больную курицу. За ночь его лицо запухло окончательно и превратилось в сизый помятый кусок сырого мяса. Когда водитель закурил, Дима не выдержал:

– Закурить не дадите?

Сидевший рядом с ним «эскадреро», тот самый веснушчатый верзила, хмурый после бессонной ночи, сказал:

– Заткни хлебало.

– Если вы хотите, чтобы я для вас танки искал, – сказал Дима, – вы хотя б меня накормили. Я вторые сутки уже не ел и не курил, голова ни хера не соображает.

Веснушчатый, поразмыслив немного, обратился к водителю:

– У нас есть что-нибудь?

– Сухпай есть, – ответил водитель. – Пошарь под сиденьем. Тут у меня еще

двухлитровая «Аквавиты».

Верзила пошарил, выдвинул ящик, снял крышку, сказал удовлетворенно: «Во». В ящике лежали жестянки, мешочки из прослоенного фольгой полиэтилена, тубики. Дима раньше видел такое: натовские сухпайки, списанные на Западе и проданные сюда по дешевке. Вполне еще съедобные, даже вкусные, особенно мясные консервы, свинина с бобами. Их охотно покупали туристы. И, как видно, не только. Но сейчас ему было всё равно, вкусно или нет, он и ботинки бы съел.

Мясо с бобами оказалось с автоподогревом. Дима выдрал жестяную петельку, вытащил из обертки пластиковую вилку и, не обращая больше ни на что внимания, впился глазами в серое пятнышко на крышке. Когда содержимое согреется, пятнышко пожелтеет. Тогда можно срывать крышку и, хватая на вилку здоровенные куски волокнистого мяса, торчащие в густом бобовом пюре, запихивать в рот. Глотать, чавкая, брызгая жижей. Содрать крышку с еще одной жестянки – там хлеб, землистый, безвкусный, плотный. Еще банка с мясом и бобами. Тюбик с кетчупом. Жестянка с дольками ананасов в желе. Плитка шоколада. Стопка колбасных кружков, сплюснутых вакуумной упаковкой. Заботятся, однако, о натовских солдатах. Есть даже жвачка – солидный кубик, обернутый в три слоя фольгой. Да и не только жвачка.

Дима счастливо ухмыльнулся, вытащив с самого низа ящика коробочку с черным тоненьким значком. Спички нашлись тут же, в пластмассовом пенале, где лежали таблетки для обеззараживания воды, кофе и чай в пакетиках и презерватив. В коробочке оказались даже не сигареты, а сигариллы, тонкие, пахучие скрутки табачных листьев. Крепкие, ароматные, продиравшие горло, прогоняющие сытую сонность. Первая рассыпалась пеплом, кажется, за мгновение. Со второй уже почувствовал вкус – грубый, резкий, пряный. Живой. Кусочек жизни. И джип, шелестящий резиной по шоссе, и обтянутые полиэтиленом сиденья, как кушетки в кабинете участкового терапевта, и усмехающийся веснушчатый верзила, и куренок-лейтенант, глотавший тушенку, дергая кадыком, – всё стало необыкновенно прекрасным. Свалившийся сверху радужный кусочекрая. Веснушчатый спросил добродушно:

– Что, заморил червячка?

– Угу, – ответил счастливый Дима. – Сейчас бы еще сто граммов. Армянского. Или «Белого аиста».

– А может, тебе «Хеннеси»? Или «Мартеля» на блюдечке с голубой каемочкой? – ухмыльнулся веснушчатый.

– Можно и «Хеннеси», – согласился Дима. И совсем не удивился, когда водитель вытащил из бардачка плоскую бутылочку с золоченой этикеткой.

Джип остановился на краю леса, перед нешироким полем, заросшим шелковистой зеленой шерсткой яровой пшеницы. Дорога шла вдоль поля, превращаясь в пыльную колею. А за полем, за неровной, клочковатой травой, стеной стояли камыши. Второй джип уже был здесь, и командир «эскадрерос», присев на корточки и глядя на камыши, сквозь которые кое-где проблескивала вода, жевал соломинку. Он спросил у лейтенанта:

– Тут?

– Тут, тут, – затряс головой лейтенант.

– Студент, где? – спросил командир.

Дима ответил не сразу. Присел на корточки рядом, глядя на болото, на верхушки деревьев за ним. Сквозь прореху в древесной стене виднелся штырек – шпиль триангуляционной вышки. Справа, километрах в полтора, из болота выпирал бугор. Должно быть, дамба, о которой говорил старик. Над лесом, расправив длинные крылья, неторопливо кружила птица.

– Вы мою сумку не забрали? – поинтересовался Дима. – Там заметки были и план.

– Сумку забирали? – спросил командир.

– Нет, – ответил веснушчатый. – Не было никаких сумок.

– Была у него сумка, – встрял лейтенант. – Была. И книга в ней.

– А без книги ты, значит, никак? – спросил командир равнодушно.
– Почему никак? Просто искать дольше придется. Кое-что я помню, кое-что выяснится, когда шупать начнем.
– Что шупать?
– Болото, – ответил Дима. – Придется пройти и прошупать всё болото. Еще снарягу хоть бы какую. Ну, миноискатель там, хоть от них и проку почти как с козла молока.
– И сколько ты собираешься шупать?
– Неделью как минимум. Болото вон какое длиннющее.
– Неделью, – нахмурился командир, – значит, неделю... Так, я даю тебе три дня. Тебе привезут, чего надо. Палатки, лопаты. Миноискатель. Я четверых своих здесь оставлю, чтоб не мешал тебе никто. Через три дня приеду, посмотрю, чего ты наискал.
Командир встал и пошел к джипу.
– Я ж говорил, знает он, падло, знает, – обрадовался лейтенант. – Он как у нас появился, я сразу понял: знает, сучий потрох. Я ж говорил!
– А ты куда? – удивился командир.
– Я? – Лейтенант замер. – Я... у меня...
– Ты ему копать поможешь, – отрезал командир.
– Но мне же на работу. В наряд.
– Работа – не Алитет, в горы не уйдет, – хмыкнул командир. – Погуляй три дня, подыши свежим воздухом. Никуда твоя работа не денется.

Три дня и три ночи – почти вечность. За три дня может случиться многое. Революция, например. Или война. Или эпидемия дизентерии, которая заставит мускулистых молодчиков с пистолетами засесть в кустах и не вылезать, пока внутренности не выпносятся наружу. За эти три дня кого-нибудь из них может укусить гадюка, наконец. В камышах полно гадюк, приходится бить перед собой палкой, разгоняя этих тварей. За три дня можно, улучив момент, улизнуть. В принципе. А на практике этот комок мускулов с вдавленными в череп глазами тащился позади, как привязанный, не обращая внимания ни на грязь, ни на гнус, набивающийся в уши и ноздри и кусающий, кусающий, кусающий. Солнце висит над головой раскаленной жаровней, а под ним сплошным серым мельтешащим пологом колышется комарье, под ногами чавкает глей, испуская тухлый газ.

Побродив в первый день по болоту часа три с метровым железным штырем в руках, Дима, выждав, пока шуршание за спиной утихнет, рванул вперёд, через камыши и кусты, прыгая с кочки на кочку, проваливаясь, отпихиваясь руками, с маху шлепнулся в воду, выскочил, хватая ртом воздух, и услышал:

– Ты чего, студент? Кросс бегать надумал?

Дима повернулся. Его провожатый, скуластый, широченный парень с изрытым оспинами лицом стоял в двух метрах, на краю лужи, в которую Дима с разбегу бухнулся. Парень дышал легко и ровно, словно не бежал, а летел на крыльях за ним сквозь заросли.

– Не, – ответил Дима, – нет. Гадюка. Их тут, тварей, столько... как прыгнула, так я со всех ног!

– Гадюк боишься, – покивал парень. – Да, много их тут. Только ты, как увидишь следующий раз, не беги. А то я не пойму. Ты ж не хочешь, чтоб я тебя не понял?.. А гадюки – это не страшно. Их есть можно. Кушать. Хочешь, на ужин тебе зажарю?

Дима не считал себя слабым или неловким. До армии он занимался легкой атлетикой, выступал на областных соревнованиях. Но по сравнению с «эскадрерос»... Живая, мускулистая сила так и перла из них. Они двигались плавно, вальяжно, расхлябанно, будто пританцовывая под слышный им одним ритм. От нечего делать десятки раз подряд поднимали вывороченный с края поля валун. Отжимались, приседали на одной ноге, обегали поле. Как белки, карабкались на деревья. Без конца разбирали и перебирали оружие. По лесу и болоту они бежали, как по ровному месту. Удрать от них нечего было и думать. Оставалось только таскаться по болоту и ждать удобного случая. Правда, какой именно

случай мог бы тут помочь, представить было трудно. На ночь рассчитывать не приходилось – его приковывали к раскладушке наручниками. «Эскадрерос» натянули брезент над джипом, полностью его спрятав, устроили кухнюшку, поставили стол и складные стулья. Двое дежурили, двое отдыхали. Лейтенант тоже всё время торчал под тентом. Его сперва гнали на болота, но он сказал, что ему плохо, и целыми днями валялся на койке, уставившись в брезентовый потолок.

Болото тянулось на несколько километров вдоль мелкой илистой речушки, пахнувшей навозом и нефтью. В речку сливали отходы с фермы километрах в пяти вверх по течению. С обоих краев к болоту подходила вплотную сеть мелиорационных канав, с одного бока примыкало узкое поле, с другого – лес, небольшой и негустой, а за ним – снова поле. То, что в этом болоте нет ничего, кроме комаров и уток, стало ясно с первого же дня. Дима перемерил его вдоль и поперек. Сперва прошел по левому берегу, потом по правому, окунувшись по пути в каждую лужу. Провожатому как-то даже пришлось вытягивать его за шиворот – Дима шлепнулся навзничь и не мог подняться.

Он пробовал ходить и с миноискателем. Если бы нашлось хоть что-то, пусть заброшенное колесо от комбайна или какой-нибудь кусок трактора, утащенный без надобности из колхоза и заброшенный потом подальше, можно было бы выиграть время. Начать копать, хлопотать, возиться, а потом: кто ж тут виноват, миноискатель обманул, и всё. Но миноискатель, как на грех, молчал почти всюду, а суматошно пищать начинал только у дамбы. Немудрено – ее крепили рельсами, к ним привязали толстой проволокой столбы. Конечно, можно и просто сказать: ошибся. Наверное, не здесь. Но если хотя бы треть того, что рассказывают про «эскадрон», – правда, то проще уж броситься в бега по полю средь бела дня. По крайней мере есть шанс, что подстрелят сразу и насмерть, и всё сразу кончится.

Ранним утром, когда солнце еще только дышало на край неба, подсвечивало розовым из-за горизонта, над болотом поднимался туман. Он шапкой висел над трясинной, пока солнце не вползало на горизонт, а потом исчезал за минуты, будто разодранный ветром. На третий день Дима поднялся пораньше, решив начать с дамбы. К ней лес подступал ближе всего. Если туман окажется достаточно густым, если броситься вниз по склону, то... то, может быть, подстрелят уже в лесу. Или произойдет еще что-нибудь. Может быть.

В тумане рубашка сразу отсырела. Было удивительно тихо, сумрачно. На старых бревнах срубов, уложенных в болото, серебристо поблескивала роса. Брюки стали мокрыми от скопившейся на траве влаги. Зябко и сыро. Дима вспомнил, как еще до армии ходил в августе в водный поход по Кольскому полуострову. Серость, стылая тишь и холод – как там, пока вялое северное солнце не прогреет топь. И безысходность. Тогда, на Кольском, они застряли, оказавшись в сердце болотного края, летом почти непроходимого, и добрую сотню километров волокли байдарки вверх по течению. Казалось, эти болота никогда не кончатся, на них проживешь всю жизнь и умрешь, надорвавшись, завязнув в грязи, так и не увидев ничего другого.

Дима пролазил по мокрым кочкам до полудня, а в полдень пришел назад к дамбе, влез на нее, достал из кармана отсыревшую краюху хлеба. И, глядя на дамбу, понял, почему с такой ясностью вспомнил поход по Кольскому. Из Лав-озера они тогда выплыли, поднимаясь по речке Афанасия, и километров через пятьдесят добрались до места, на карте обозначенного как «бараки Койнийок». Очень странного места. Берега речки зачем-то были укреплены бревнами. Через километр друг от друга там стояли три моста, целиком деревянных, похоже, построенных вообще без железа, без скоб и гвоздей. И вместо быков там были точно такие же срубы, набитые землей и камнями. Он потом не раз видел такие на Кольском и в Карелии. Такие быки изобрел инженерный гений сталинских эзков, строивших Беломорканал почти с одними только лопатами и топорами, без бетона и железа.

Интересно, чем же набит здешний сруб? Дима присмотрелся. Встал, отошел, посмотрел чуть сбоку. Перешел по верху, по хлипким доскам, перекинутым на тот берег. Посмотрел с другой стороны. Станный сруб. Их обычно делали квадратными. Ближний такой и есть. А этот прямоугольный и длиннющий. Подозвав провожатого, сказал:

- Копать здесь будем.
- Че, нашел что? – спросил тот угрюмо.
- Разбирать сруб будем, – деловито ответил Дима.

Разбирать сруб пригнали даже лейтенанта, хотя толку от него почти не было, он едва ковырял ломом. Труднее всего оказалось вытащить верхние, привязанные к рельсам бревна. Сперва Диме и лейтенанту помогал один провожатый. Потом он позвал на помощь, и трое «эскадрерос», навалившись, выдрали бревна вместе с рельсами. Дальше дело пошло быстрее, утрамбованную землю срезали пластами, и часов около пяти Димина лопата звякнула о металл. Дима ткнул еще раз и еще – металл был везде. «Эскадрерос» взялись за лопаты и ломы. Когда к вечеру верх сруба развалили и разбросали землю, открылась скругленная, похожая на обтесанный валун, в волнистых сварных шрамах металлическая глыба с высовывавшейся из нее длинной, наклоненной вниз трубой. И лейтенант, бросив лом, выдохнул: «„Пантера"... мать твою, это же „Пантера"... Ну и сука же ты, студент. Ну ты и сука!!»

«Пантеру» выкапывали двое суток. Командир «эскадрерос», явившись и осмотрев находку, пригнал дюжину рабочих, бульдозер и автокран. Окопанная, очищенная «Пантера» смотрелась как новенькая, совсем не поврежденная, с наглухо задраенными люками и закрытыми жалюзи. В сорок четвертом, когда немцы разбегались перед танковым кулаком имперского блицкрига, эта «Пантера» попыталась пересечь болотце, засела на полкорпуса, и танкисты, заботливо всё задраив, отключив и закрыв, отправились, должно быть, за подмогой, спасти засевшего зверя. Но назад так и не вернулись, а на завязшем танке после войны построили мост, обложив его бревнами и засыпав землей. Снова приехал веснушчатый верзила, привез Диме фляжку «Хеннеси» и две толстые «Гаваны».

А Дима и так ходил будто пьяный. Напряжение последних дней спало, и его просто мотало от усталости. «Эскадрерос» перешучивались, хлопали друг дружку по спинам и поочередно лазили внутрь. Там было сухо и хорошо, в решетчатых стойках лежали длинноносые снаряды, кожа сидений ничуть не потрескалась от времени, даже стекла командирского перископа не потускнели. Хоть сейчас заводись и езжай. Лейтенанта уже никто не держал, но он не уезжал, пытался ковыряться с лопатой, мешая рабочим, курил, сидел на башне и поминутно рассказывал всем и каждому, что это он, именно он разглядел студента. Может, рассчитывал на благодарность новых хозяев. А Дима пока ни на что не рассчитывал и ни о чем не думал. Хотя стоило подумать о том, что будет, когда сорокатонную немецкую «кошку» наконец вытащат и повезут туда, где каждый ее килограмм, а то и полкило обменяют на дюжину зеленых денежных знаков... Диму попрежнему на ночь приковывали наручниками к раскладушке.

Хлопот с «Пантерой» хватало. Вокруг нее выкопали яму, отгородили болото стенками, день и ночь работал насос, откачивая воду, бревнами застелили гать, срезали склон, расчищая подъезды. На третьи сутки, рано на рассвете, когда еще висел туман, всё наконец было готово. Тросы прикреплены, лебедки вкопаны, бульдозер рычал и чихал, плюясь чадом. Вокруг собрались почти все – и вымотанные вконец рабочие, и невыспавшиеся, но довольные «эскадрерос», и лейтенант, похожий на распухшего утопленника, и Дима, пытавшийся раскурить отсыревшую сигару. Прожектора полосовали туман. По команде: «Два, три – пошел!!» – бульдозер зарычал, тросы задрожали, натянувшись, и под крики «Ура!», чавкнув тяжело, будто исполинский выдираемый из грязи сапог, «Пантера» поползла вверх, сперва по сантиметру, потом всё быстрее и быстрее.

За ревом, лязгом и криками выстрелов слышно не было. Дима увидел, как стоявший рядом с ним «эскадреро» вдруг впился обеими руками в автомат и медленно, лицом вниз повалился в мокрую траву. У самых гусениц «Пантеры» взметнулся фонтан грязи и щепок. Дима, сообразив наконец, бросился наземь, пополз вниз, под остатки насыпи, к болотному камышу. Над головой застучало, понеслось, засвистало. Черный, в бронежилете и каске, – кажется, это был сам командир, – стрелявший из-за кучи бревен, вдруг вздернулся, как кукла на веревочке, распластался, заскреб ботинками в грязи. Ревевший бульдозер наконец заглох.

И в наступившей тишине раздался мегафонный, механический, эхом раскатывавшийся над болотом и лесом голос: «Вы окружены! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!»

«Эскадрерос» еще пытались отстреливаться. Но они не видели тех, кто в них стрелял, не торопясь, прицельно, точно. Водителю, угостившему Диму коньяком, прострелили голову, как раз когда он, спрятавшись за бульдозер, вставлял магазин в «винторез». Бросившие оружие выходили по одному, подняв руки, и шли в лес. Там им сцепляли руки за спиной наручниками и клали на землю лицом вниз. Диму, впрочем, класть не стали. Увидев его, старик опустил мегафон и сказал: «Привет, студент. Не ошибся с тобой Шерлок Холмс – первый и последний раз в своей жизни». Вовчик, позвякивая связкой наручников у пояса, как экономка ключами, защелкнул Диме запястья за спиной. Толкнул в плечо – садись, мол. Дима сел на влажную с утра иглицу, сложив по-турецки ноги.

Среди пришедших сдаваться «эскадрерос» было всего трое, веснушчатый верзила в том числе. Остальные – насмерть перепуганные рабочие. Старик объявил в мегафон, что считает до десяти. Если потом никто не явится, он отдаст снайперам приказ стрелять по всем стоячим, лежащим и сидячим. На счет «семь» из-за бульдозера показалась еще одна фигура с поднятыми руками. Лейтенант. Когда он увидел, кто его ждет, дернулся назад. Толстяк, стоявший с ручным «Дегтяревым» наперевес, сказал, зло ухмыляясь: «Давай, давай, чего мешкаешь. Не к чужим, чай, пришел». Лейтенант повалился на колени, залепетал, брызгая слюной:

– Матвей Иванович, прошу вас, меня заставили. Они меня били, они мне грозились иголки под ногти, они...

Он заметил сидящего Диму и осекся. Посмотрел на него, облизнув распухшие губы, на старика, на толстяка с пулеметом.

– Встань, – сказал старик брезгливо.

Лейтенант вскочил.

– Я же не виноват, я же вам правду говорил. Зачем вы меня били? Меня и вы били, меня черные били, меня все били. За что? Студент же, сука, и вправду про танк знал. Я же ни в чем не виноват, я же как лучше хотел.

– Как лучше, значит, – процедил старик. – Вот только у меня есть один хороший знакомый, специалист по телефонам. И надо же было так случиться – только я попросил, чтобы твой телефон послушали, как звонит мне этот знакомый. Угадай, что он мне рассказал?

Лейтенант скова облизнул губы.

– Или ты уже забыл? Быть может, тебе отбили память?

Лейтенант внезапно подпрыгнул, будто резиновый мячик, и бросился бежать – вниз, к реке, к болоту. Толстяк вскинул «Дегтярев».

– Отставить, – негромко скомандовал старик, поднимая руку с пистолетом. Тем самым, с отчищенными пятнами ржавчины, с выглаженной рукоятью. Не торопясь прицелился. Выстрелил. Лейтенант, уже почти поравнявшийся с бульдозером, вскинул руки и ничком упал в грязь.

ПАТРОН ЧЕТВЕРТЫЙ: ОХРАНКА, ОХРАНКА, ОХРАНКА

Я проснулся вечером. Опухший нос почти уже вернулся к прежней форме – по крайней мере, на ощупь. Я тщательно ощупал себя, особенно голову. Никаких дыр. И даже кровоподтеков. В меня стреляли. Я это видел и слышал, я это чувствовал, я помнил. И голова трещала так, будто ее на самом деле прострелили. Но я был жив и сидел под сосной, грязный и ошарашенный.

Кольцевая была совсем рядом, метрах в трехстах, виднелась между соснами. Между ней и лесом, да и в самом лесу, стояли кресты, десятки высоких крестов, сбитых из струганых жердей, с венками на них, иконками, огарками свечей. Я знал это место. В конце

тридцатых здесь расстреливали заключенных всех городских тюрем и закапывали тут же, под соснами. Народофронтовцы откопали здесь сотни могил, заваленные трупами ямы. Поставили памятник, маленькую часовенку. Потом городские власти стали расширять кольцевую. По проекту новые полосы шоссе должны были пройти прямо по кладбищу, и почти целый год молодежь жила в палатках и шалашах подле могил. Ставила кресты. Взявшись за руки, не давала проехать бульдозерам. Бульдозеристы, ровнявшие место под асфальт, охотно останавливались, стреляли у молодых людей сигареты и рассуждали о тяжелой жизни и малой зарплате. Бульдозеристам платили за рабочее время, не за сделанную работу. Временами приезжали черно-пятнистые, временами милиция, били и разгоняли молодежь, жгли шалаша. Газеты поднимали шум, городские власти не обращали на него никакого внимания, но, когда молодежь возвращалась, некоторое время ее не трогали. Я заходил к ним. Среди них были мои знакомые и знакомые моих друзей. Я пил чай, сидя с ними у костра.

А сейчас я смотрел на кольцевую, видел разгораживающий полосы барьер из гофрированного железа, красные и белые катафоты на нем – но вроде бы и в то же самое время кольцевой передо мной не было. Были поля, а за ними вдалеке заборы и серые, крытые соломой и гонтом хаты. И вместе с ними, на их месте – поросшие лесом невысокие холмы безо всяких признаков жилья. Одно не накладывалось на другое, но существовало вместе, я видел всё это разом. Всё это тряслось, переливалось и, видимо, от усилий уместиться в моей голове ворочалось под черепной крышкой, как захмелевший еж. Я зарычал и укусил сам себя за губу. Сильно, до крови. Но добавка маленькой боли к большой не помогла нисколько – мир перед глазами дрожал и переливался и был, несмотря на разноцветность, полунастоящий какой-то, будто склеенный из плоских картинок, вырезанных из учебника истории. Вон двадцатипятиэтажка, я ее знаю, она на самом краю, у трамвайного депо. А присмотришься, стараясь разглядеть получше, она, колыхнувшись, стала просто высоким деревом прямо за дорогой, а через минуту – полосатым придорожным столбом, какие ставили век назад.

Я пощупал рукой лоб. Встал на колени. Упираясь в сосновый ствол руками, встал. Сейчас нужно было добраться до дома. Обязательно. Дома холодный душ и кровать. И полная еще с похода аптечка. И холодильник, в котором как минимум полкило колбасы. Но ни в коем случае не в больницу. Если то, что я видел с холма, не галлюцинация – все эти бронетранспортеры, перевернутые машины и пятнистые автоматчики, – сейчас лучше про больницу и не думать. А самое главное на пути домой – благополучно пересечь кольцевую, наверняка просматриваемую какими-нибудь пятнистыми патрулями, а по моему теперешнему состоянию еще и плывущую под ногами.

Брел я к кольцевой на негнувшихся ногах, поминутно ожидая, что вот-вот окликнут или рядом взвизгнут тормоза, и увернуться я не успею. Но, на удивление, обошлось без проблем. Машин не было, должно быть, движение перекрыли. А патрули если и были, то не заинтересовались ковыляющим домой оборванцем. Только когда перебирался через закопченный железный забор, разделяющий половинки трассы, сорвался и пребольно лянулся коленками, заорав от боли. Но это даже и помогло, на пару минут я будто протрезвел и, охая, резво просеменил до обочины.

По ту сторону кольцевой начинался Город. Я вошел в него, спотыкаясь об внезапно возникающие под ногами камни и кочки, натыкаясь на деревья и прохожих. Дома передо мной старели, краски выцветали и лупились, снова становились свежими, на месте одноэтажных домов возникали новостройки. Всё непрерывно дрожало и плыло. Я подумал: вот тут меня уж точно или собьет машина, или я куда-нибудь провалюсь. И хуже того, я вдруг понял, что совершенно не представляю, как до дома добраться.

Уклоняясь от очередного дерева, вдруг возникшего прямо там, где только что был тротуар, я наткнулся на будку телефона-автомата и вцепился в нее, как в спасательный круг. В крохотной, отгороженной от остального мира грязными стеклами кабинке телефон был как якорь, неизменный, никуда не девающийся. На нем просто было сосредоточиться, не отвлекаясь ни на что другое. Хотя и его я чуть не потерял. Отвлекся, нашаривая по карманам

записную книжку, очертания телефона поплыли, сменяясь чем-то мутно-зеленым, но я тут же вызвал его в памяти: солидный серый железный ящик со скругленными краями, с тяжелой черной пластмассовой трубкой, с четырьмя рядами кнопок и прорезью для карточки. Он должен тут быть, он никуда не делся. Вот он – я сейчас протяну руку и почувствую холод железного телефонного бока.

Моя ладонь коснулась кнопок, круглого выступа на боку – замка, открывающего телефонную коробку. Порядок. Я прижал плечом трубку к уху, вставил карточку, раскрыл записную книжку. Позвонил. Послушал длинные гудки, повесил трубку. Позвонил еще раз и еще. Я позвонил даже по телефону, который дала мне Рыся. То ли на десятом, то ли на одиннадцатом гудке трубку подняли, и хриплый мужской голос спросил:

– Да?

– Добрый день, – сказал я. – Вас Столбовский беспокоит.

– Не знаю такого, – отрезал голос, и в трубке раздались короткие гудки.

Я снова набрал номер, но на этот раз трубку бросили, едва услышав мой голос. В конце концов, отчаявшись, я позвонил своему редактору. Мне очень этого не хотелось, но иначе пришлось бы ловить случайного прохожего или таксиста, просить довезти или довести до дому и терпеливо принять все вытекающие последствия. Вызов милиции или «скорой», к примеру. Можно, конечно, попытаться добраться самостоятельно. Но сейчас меня это ужасало даже больше, чем последствия разговора со случайным прохожим и перспектива объяснять спецназовцам, почему я грязен, оборван, в синяках и не могу найти свой дом.

Редактора моего звали Владимир Николаевич Буров, он возглавлял издательство, меняющее название в среднем раз в три месяца и издающее буквально всё, способное принести доход: от инструкций по пользованию презервативами до псалмов. Мы встретились с ним, когда я искал издателя для своего романа, обивал пороги редакций и приучился говорить: «Спасибо, до свидания», еще не дослушав совета обязательно зайти через две недели, а лучше – через три. Роман был про Роммеля, войну и революцию в одной отдельно взятой средневропейской стране. В романе были танки, умирающие на фоне заката молодые бойцы, роковые женщины и происки разведок. Это был хороший роман. Я им гордился.

Буров пообещал обязательно на мой роман посмотреть, отложил его в сторону и осведомился, имеется ли у меня компьютер. Я ответил: имеется. Поинтересовался, кто я по профессии. Я ответил: физик. И тогда он предложил мне написать для него «Сто великих открытий» – по пять долларов за открытие. Я отказался. Тогда он предложил мне написать «Сто великих педерастов» – по пять долларов за каждого великого педераста. Я же в ответ предложил ему написать «Сто великих человеческих подлостей» – по семь долларов за подлость. Буров степенно огладил ухоженную седую бородку, посмотрел на меня поверх очков и сказал: «Пять с половиной». Сошлись мы на шести. С подлостями я покончил за четыре месяца и еще полмесяца уговаривал Бурова отдать мне деньги. Буров говорил, что сумма слишком большая, поил меня растворимым кофе и советовал зайти через две недели. Тогда, возможно, деньги найдутся. На третьей двухнедельной отсрочке я согласился написать для него авантюрно-порнографический роман за четыре месяца. Деньги нашлись с поразительной быстротой, не только за подлости, но и аванс за роман.

Роман я писал вечерами, с успехом заменяя им занятия онанизмом. Строго следовал составленным для себя правилам чередования убийств и минетов и справился за обещанные четыре месяца, скомкав, правда, финал. Для того чтобы его завершить в духе предыдущих частей, требовалось еще как минимум страниц пятьдесят. Я же срочно перестрелял злодеев и заставил двух полузабытых прежних любовниц спасти героя на вертолете, выудив из самой гущи немыслимого побоища. Роман я сдал к седьмому июня и уже успел выждать первый двухнедельный срок. Проект продолжения уже лежал на моем столе, но я решил воспользоваться им лишь в самом крайнем случае, уж очень это пахло дурной порнобесконечностью.

Буров снял трубку после второго гудка.

– Это Дима, – сказал я. – У меня к вам... не совсем обычная просьба.

– Я слушаю, – настороженно ответил Буров.

– Видите ли, – продолжил я, – у меня проблемы. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но дело в том, что я сейчас на перекрестке Логойского тракта и Витебской, у телефона-автомата. И я не могу добраться домой. Я... понимаете, я не совсем здоров. Это случалось и раньше, но не так сильно, как сейчас. Я знаю, до моего дома всего два квартала, но я не могу до него дойти. Я прошу вас, если вам не очень трудно, не могли б вы подъехать ко мне и отвезти меня?.. Я понимаю, это звучит очень странно, но прошу вас поверить, это очень серьезно.

– Хорошо, – повеселел Буров, – я подъеду к вам. Только сейчас – вы, наверное, знаете – повсюду пробки. Я, может быть, немного задержусь.

Он подъехал минут через двадцать. Я всё это время стоял, вцепившись в телефон. Буров посигналил мне, но я не двинулся. Тогда он вышел из машины, подошел ко мне. Я попросил, чтобы он взял меня за руку. Он, почти не удивившись, протянул руку и довел до машины.

– Так что с вами стряслось?

– Со мной такое случалось и раньше, – сказал я, усаживаясь поудобнее. В машине было очень хорошо. Она никуда не исчезала, не плыла. Главное – не смотреть за окно. Там мельтешило, плавилось и рушилось. – Но так, как сегодня, еще не было. Это, должно быть, от нервов и переутомления. Да я еще и по голове вчера получил. Тяжелым предметом. Я не могу сориентироваться, не узнаю места, где я только что прошел.

– Да, – задумчиво произнес Буров, поворачивая ключ в замке. – Так куда вас, к общежитию? Быть может, вам вызвать врача? Или сразу в больницу?

– Нет, спасибо, ни в коем случае. С больницами сейчас, понимаете, хлопотно. Такое творится в Городе, война какая-то прямо, мало ли что.

– Да уж, – осторожно согласился Буров.

– Я думаю, отосплюсь, отлежусь, отдохну как следует – и полегчает. Такое уже бывало. Просто нужно отдохнуть.

– Вы собираетесь уезжать?

– Да, наверное, – сказал я. – Тут уже нечего делать. Почти.

– С Академией, говорят, проблемы? Вроде вас закрывают, и аресты?

– В нашем институте почти всех выгнали в отпуска и Интернет отключили. А чтоб арестовывали – не знаю. Вроде взялись за Институт истории.

– Не только истории. Уже приходили кое к кому из филологии. Да и кого-то из ваших, говорят, взяли.

– Из наших? Вы имеете в виду, из нашего института? Откуда вы знаете?

– Так, ходят слухи. Вы же знаете, не один вы у меня работали над компиляциями... Вы, кажется, собирались в горы? – спросил Буров, глянув на меня искоса.

– Да, собирался. Мы и поедом. Только съезжу сперва к своим, отъежусь. Этот Город меня доконал.

– Да, тяжело, – согласился он. – Я и сам собираюсь уезжать. Прикрою всё на лето, тем более что работать сейчас, как вы понимаете, трудно. Со всеми этими событиями вокруг.

– Вы скоро уезжаете? – спросил я.

– Через три дня... – ответил он и замолчал.

Следующий вопрос, так и вертевшийся на языке, мне очень не хотелось задавать. Мне показалось, Буров подталкивал меня к нему, чуть ли не тыкал носом. Я уже говорил ему раньше, что собираюсь в горы и мне нужны для этого деньги, еще пятьсот долларов, причитающихся за роман. Машина остановилась у общежитского подъезда, и я наконец отважился:

– Вы знаете, мне нужны деньги. Вы уезжаете, и мне тут уж просто некуда деваться.

– Конечно же, – сказал Буров весело, – деньги. Само собой. Приходите послезавтра... нет, даже завтра, скажем, в четыре часа, если сможете. А если будете болеть, позвоните, и я

подъеду. Вас устраивает?

– Устраивает, – кивнул я, – спасибо вам большое.

– Да не за что. До скорой встречи! – Он дружелюбно улыбнулся на прощание.

Получилось как-то неловко. Немного фальшиво и странно. Конечно, мои объяснения вряд ли его убедили. Скорее всего, он подумал: я спектакль разыгрываю, чтоб выцыганить деньги. Как-то он неожиданно легко согласился. Должно быть, собирается уехать раньше и оставить меня с носом. В принципе, черт с ним – не один он мне платит, у меня еще в заначке достаточно, чтобы хватило и на горы, и на три недели до первой зарплаты после них.

Буров же, дождавшись, пока за мной закроется дверь общежития, вынул из кобурки на поясе черный, похожий на дольку баклажана мобильник и позвонил. Его терпеливо, не перебивая, выслушали. Уточнили адрес, заверили, что всё будет в порядке. И поблагодарили за гражданское рвение, так необходимое стране в тяжелое время.

Я ходил в горы каждое лето. Впервые я пошел в горы после первого курса университета. Я уложил в сумку свитер, плавки, две тенниски и сел на девяносто четвертый скорый, легендарный поезд в лето. Сутки с половиной до Симферополя, до солнца, до торгующих семечками и креветками хохлушек на базаре, до старых гор, лысым теменем выглядывавших из леса, до троллейбуса к морю, до ленивых бахчисарайских улочек и терпкого местного портвейна, до гаваней и бастионов Севастополя. Тогда еще пускали в Севастополь по пропускам, и я добрался туда на ночном поезде, сунув проводнице трешку и спрятавшись в ее купе.

Проводница наговорила мне кучу ужасов про военные патрули. Время от времени она, сделав очень серьезное лицо, заглядывала в купе, и я, вцепившись в полку побелевшими пальцами, спрашивал, прошли ли патрули. Она неизменно отвечала, что могут быть, вот-вот пройдут. Потом за окном показались неоновые буквы «Севастополь». Тогда она приказала мне быстро-быстро убежать из вагона и прятаться в городе, потому что и там могут быть патрули. Я хотел от обиды и злости украсть у нее пару ложек или хотя бы сказать, какая она дура и сволочь, но уже занималась заря, ноздри щипал запах морской соли, неясный далекий ритмичный шорох звучал как гимн – и обида ушла сама собой. Я только подмигнул проводнице и чмокнул ее обветренными губами в щеку. Я весь день ходил по музеям, ел мороженое на пирсе, глядя на серый, ошетилившийся пушками крейсер, кормил голубей, лежал в тени ноздреватого херсонесского песчаника, плескался в море, отпихивая ногами медуз, смотрел «Человека с бульвара Капуцинов» в летнем кинотеатре на набережной. А ночью спал на восьмом бастионе рядом с пушкой на наломанных в соседних кустах ветках.

Ночью было жутко холодно, я проснулся около трех и спустился по длинной лестнице на вокзал, досидел до первой электрички. Она меня, крепко заснувшего, едва не увезла в Евпаторию. Потом я поехал на ялтинском троллейбусе к морю и, наплававшись вволю, съев три кило немытых персиков, забрался на Аю-Даг. Небо уходило под ноги и оказывалось морем, за спиной щербатой стеной громоздились горы, ветер сушил пропотевшую рубаху, трепал сухие стебли травы между сухих камней. Солнце ползло к горизонту, я сидел и ждал, когда оно окажется ниже меня, когда распластается над водой, растечется подо мной тускнеющим светом, как прохудившийся пузырь.

Вниз я спустился в сумраке, напролом, и провалился сквозь кусты на другую сторону Аю-Дага, в военный санаторий «Фрунзенский», где гремела музыка и на асфальтовой площадке, за оплетенной виноградом решеткой, кружились загорелые люди. Я шел по дорожкам санатория, как спустившийся с Эвереста альпинист, снисходительно улыбаясь, миновал вахту и пошел по ночной дороге к Алуште. Звезды зажигались над головой, как придорожные фонари.

С тех пор я ездил в горы каждый год, а иногда и дважды, и трижды. На майские в Крым, размяться, а в июле-августе – на Кавказ, на Алтай, Памир, Тянь-Шань. Сам сколачивал компанию, собирал людей и снаряжение, добывал карты и оформлял документы. И почти всегда компания окончательно собиралась и всё окончательно обустроивалось и

определялось в самый последний момент. Люди отказывались за месяц, за неделю, меняли билеты, переигрывали планы, уходили с другой компанией, женились, падали с мотоциклов, уезжали в Германию.

В тот год, когда я повстречал Ступнева, я хотел идти на Кавказ, побродить в Приэльбрусье. За десять дней до отъезда предпоследний оставшийся подошел ко мне и сказал, что сможет уехать дней на десять, а лучше бы ему и вовсе не ехать, поскольку дела и проблемы, и родителям нездоровится. После его ухода остались груды снаряжения в углу моей комнаты и шесть билетов на руках. Пять я сдал и решил до последнего дня отложить решение судьбы шестого. А в последний день в половине седьмого утра в мою комнату ввалились два расхристанных, пахнущих утренним пивом и вчерашней «Столичной» долговязых и небритых мужика. Я, чертыхнувшись сквозь зубы, потянулся за ботинком – я как раз вечером сунул под кровать походные «вибрамы» – и уже занес руку, как один из вошедших заорал: «Димон, ты на Фаны хочешь?!» Я узнал говорившего, за мучительные полминуты сообразил, что такое «Фаны», выронил ботинок и открыл от удивления рот.

Это был Женька Москвич, поэт, развоздья, проходимец и философ, превратившийся лет через семь после того в упитанного коммерческого директора. А вот вторым как раз и был теперешний капитан госбезопасности Ступнев, тогда только заканчивавший Политех, но уже выпивавший бутылку водки не хмелея и способный на четырехкилометровой высоте тащить вверх тридцатикилограммовый рюкзак и температуру тридцать девять с рвотой и лихорадкой, подхваченной накануне после скверного аульного айрана. Мы месяц шлялись вместе с ним по Средней Азии, ползли вверх по гребню пика Алаудин, ждали машины на пыльной улице Хузара, ночевали в бухарском медресе, превращенном в дешевую гостиницу.

Он подхватил меня за шиворот на снежном склоне под Чимтаргой, когда я, шагнув вперед до чересчур далеко вырубленной ступеньки, оскользнулся и полетел по плотному фирну вниз, к плоскому льду метрах в трехстах внизу. Он сам чуть не сорвался, но в его длинных руках была упругая, злая сила, он остановил меня и толкнул вверх. И я наконец воткнул ледоруб в фирн и встал на ноги. Отдышавшись, я пообещал ему магарыч, а он рассмеялся и хлопнул меня по спине. Этот магарыч мы потом выпили вдвоем в бухарской чайхане у Ляби-хауза из длинной тонкой бутылки с пластмассовой пробкой. А выпив, побрели к гостинице-медресе и, усевшись в пыль на средневековой глинобитной площади, смотрели на плывущий в ночном небе над нами минарет Калян.

Вечером я долго не мог заснуть. Метался, ворочался, вставал, менял холодные компрессы, стискивал ладонями виски и вспоминал, вспоминал: слова, лица, запахи. Мою больную память словно прорвало – кажется, я вспомнил каждый свой день и минуту, каждое произнесенное и написанное слово. Заснув наконец, я увидел горы и пыль на дороге между тонких холодных озер. На рассвете, как и много лет назад, грохнула дверь, и в комнату вошли двое. Я, оторвав голову от подушки, чертыхнулся сквозь зубы и зашарил под кроватью, нащупывая ботинок. Облегченно вздохнул, узнав Ступнева, и спросил:

- Так когда уезжаем?
- Дмитрий Столбовский? – спросил чужой деловитый голос.
- Да-а, – трезвея, ответил я.
- Пойдемте с нами. Прямо сейчас.
- ...Сумку оставь. Не нужно, – сказал Ступнев.

Меня отвели вниз, у подъезда посадили в черный джип с тонированными стеклами и повезли на площадь Рыцаря Революции. А в восемь тридцать я уже сидел на железном, привинченном к полу стулу в комнате с голыми крашеными стенами, и барменша, та самая, с кафе на площади Победы, показав для пущей убедительности пальцем на мой лоб, сказала: «Он это. Тот самый очкарик».

Яростное соперничество двух частей, формально принадлежащих одному и тому же ведомству, началось после развала империи. В имперские времена соперничали два гиганта, КГБ и ГРУ, государственная безопасность и армейская разведка. После развала империи в

только что получившей независимость стране царил полный хаос. Офицеров охраны тогда наперебой скупали воюющие друг с другом «новые», дикие добытчики в непуганой стране, сгребающие падающие отовсюду деньги и отстреливавшие конкурентов. Состояние рождалось за недели, и примерно тому же равнялась средняя продолжительность жизни их сколачивавших. Офицеры отстреливали сами и готовили отстреливавших.

В конце концов произошло неизбежное слияние власти и денег, и охранка начала возрождаться опять – но уже в виде множества соперничающих групп. Не все из них пережили конкуренцию. За семь лет президентского правления осталось их с десятков, и главенствовали в этом десятке поделившие наследство бывшего КГБ Управление КГБ по Городу и области и республиканское Управление. Объединяла их только магическая аббревиатура «КГБ» в названии. Начальники управлений подчинялись только Совету Безопасности, руководимому президентом. Статус их так окончательно и не определился, сферы компетенции тоже не были разграничены, скорее, существовал фронт, изгибавшийся в зависимости от успехов в борьбе с соперником. Прочие охраны консолидировались с тем либо другим управлением, за исключением «эскадрона», личного президентского кулака. Управлению по Городу и области досталась большая часть имущества, стукачей, сотрудников. Республиканскому достались спецы и зарубежная сеть. Именно ей оно и было обязано выживанием. И процветанием.

Сейчас обоими ведомствами овладел пещерный ужас. Никто ничего не понимал, и высокие начальники цепенели в кабинетах, глядя на судорожно трезвонящие телефоны. Как, что, почему, как такое возможно? Кто допустил? Как могло случиться в сонной этой стране, что на рассвете двадцать второго июня звено штурмовых вертолетов взлетело с пригородного аэродрома, прошло вдоль кольцевой, расстреливая фуры и бензоколонки, а потом спокойно приземлилось на том самом пригородном аэродроме?

До аэродрома этого от кольцевой можно дойти за двадцать минут – правда, если перелезть через проволочную ограду, проржавевшую, дырявую, а местами для удобства просто смятую. Спецназовцы Управления по Городу и области оказались на аэродроме через десять минут после того, как недоумевающий голос в трубке доложил шефу, что вертолеты никуда не делись, не ушли в сторону границы, а просто приземлились. Группы спецназа блокировали центр управления полетами, казармы, склады, арестовали всех, кого обнаружили – полтысячи человек и три сторожевые собаки, – и сидели вместе с арестованными, ожидая приказов начальства.

То, правда, быстро вышло из ступора. Шеф республиканского Управления, глотнув настойки пустырника, вдруг понял: что б там на самом деле ни было, вот же он, материал, его звездный шанс, его месть и правота – заговор в армии, дело крупнейшего размера! Армия – давно уже как кость в горле у всех, и у отца нации в том числе. Никому в стране эта армия, эта куча хлама, оставленная в наследство империей, не нужна, с ее сборищем диких недорослей, с древним железом, только и жрущим деньги и драгоценную нефть. А на это железо без труда найдутся покупатели в жарких частях этого мира. Спецназа и войск МВД, вместе взятых, вчетверо меньше, а они без труда разгонят пять таких армий и с успехом заменят. Но попробуй это докажи чинушам твердолобым. А сейчас, Господи благослови, и доказывать-то никому ничего уже не нужно. Так что – чистка, генеральная чистка! А кому ее доверят, угадайте?

Аналитики его штаба срочно запустили в действие недоработанные планы, и во все концы страны полетели сообщения. Шеф Управления, генерал-майор внутренних войск Шеин, был цепким и сильным человеком, пришедшим на свой пост по головам стоявших перед ним. Возможностей, тем более таких явных, он не упускал. Три начатых заново, несущихся во весь опор резервных варианта – «Армия», «Националистическое подполье» и «Лесной бункер» – соединились в один под рабочим названием «Гражданская».

Двадцать второе июня принесло еще один козырь в его масть. Вечером ему доложили, что большая часть людей с бобруйской базы «эскадрона» перебита в болоте под Оршей.

Шеин спросил:

– Кто?

Докладывавший ответил: точно неизвестно, но есть подозрение, что копатели. Генерал переспросил:

– Кто?

Докладывавший ответил: торговцы старым оружием, немецким, имперским, времен последней войны. Откапывают на болотах и продают за границу – за большие деньги. «Эскадрерос» за ними охотились, отбивали добычу. Наконец нашла коса на камень. Сейчас в «эскадроне» полная сумятица. Рвутся мстить всем подряд, главный не пускает – ему они сейчас под рукой нужны.

– А много ли оружия откапывают? – поинтересовался Шеин. – Можно им вооружить, например, роту?

И услышал, что можно вооружить полк, и не один.

– Так вооружайте, – приказал Шеин.

– Простите?

– Собирайте этих копателей, собирайте ваш опереточный «Белый легион», собирайте всё ваше засекреченное отребье. Вооружайте полк!

После того как траки «Пантеры» отчистили от грязи, выковырнули слежавшуюся между катками землю, она на удивление легко пошла следом за тягачом, печатая гусеницами иссушенную дорожную глину. Оказалось, что почти вся ее механика в целости. За рычаги усадили механика, и угловатая машина с крестом на башне пошла как смазанная, качаясь на не протекшей за полвека гидравлике. Торопились – убираться следовало подальше и поскорее. Прятаться не было времени, за тягачом с «Пантерой» пылили грузовики, «уазики», милицейские «Жигули» – мотоколонна, которую замыкала танкетка, увезшая Матвея Ивановича от «эскадрерос». Уходили на юго-запад. В полдень пересекли Могилевское шоссе – гаишник, притаившийся за деревьями с радаром, сперва замахал жезлом, увидев вывалившуюся с проселка тушу «Кировца», а потом выронил жезл и спрятался в кювете. Колонна остановилась только в сумерках в редком леске среди холмов. Выставили охрану, разожгли костры.

Дима, протрясшись весь день в коптящем, пропыленном «уазике», заснул сразу, как только ему позволили выйти наружу и присесть. Он прислонился спиной к корявой, одичавшей яблоне, уткнул подбородок в грудь и перестал видеть и слышать. Когда его растолкали и сунули под нос миску с дымящейся кашей, было уже совсем темно. На деревьях, на склонах и машинах дрожали тени от костров. Люди негромко разговаривали, усевшись вокруг огня.

Подле закопченного ведра с кашей – составленные в козлы карабины. У перемазанного мазутом паренька в майке – заброшенный за спину автомат. Солдаты, отдыхающие перед завтрашним боем. Кто-то возился у гусениц «Пантеры», подсвечивая фонариком, ковырял ломом. Дима подумал, что именно вот это, а не вчерашняя стрельба, и есть настоящая война. Стреляют и на улицах. Там это минуты адреналина и страха. То, после чего можно перевести дыхание и пойти за пивом. А война – это другой способ жить. И умирать.

Едва Дима успел доесть и приняться за чай, к нему подошел толстяк, по-прежнему с «Дегтяревым» через плечо.

– Пошли, – он кивнул головой, – разговор есть.

Дима пошел за ним к костру, разведенному в стороне от других.

– Присаживайся, студент, – пригласил старик. – Давай знакомиться: меня зовут Матвей Иванович.

– Меня – Дима.

– Расскажи мне, Дима, какими судьбами у тебя оказалось вот это. – Старик достал из кармана пистолет. – Подробно расскажи, не торопясь.

Дима, не торопясь, рассказал: про соседа, про спор о Городе и войне, про серый

лимузин и парня в кожаной куртке, про пистолет, пиво и спецназ на улицах, про электричку, деревню и лейтенанта. Старик слушал, не перебивая, и сидевшие вокруг костра тоже молчали, потягивая из жестяных армейских кружек чай. Выслушав, старик спросил:

– А сосед твой остался в Городе?

– Да, – сказал Дима. – Если с ним всё в порядке, он уже, наверное, меня ищет.

– Интересный у тебя сосед, – покачал головой старик, – и рассказ интересный. Художественный. Одна только загвоздка: даже если я и поверю в твоё нелепое нагромождение случайностей – а почему бы мне, в самом деле, не поверить тебе? – мне никак не понять, откуда ты знал про танк.

– Угадал, – развел руками Дима, – Ну, не просто так. Я ж вам рассказывал про соседа. Он по этому делу фанатик, хоть сам никогда лопаты в руках не держал. Он из тех, кто пишет и говорит, а сам не копает. Он мне много про это рассказывал... Говорил, на Западной Украине после войны так вот брошенные танки и прятали. А пугачи поменьше, так в стену мазанки замажут.

– Любопытно, любопытно. Оружие, значит, в стенах мазанок. Интересно, зачем? Закопать ведь проще. А сосед не говорил, где он про это узнал?

– Не знаю, – сказал Дима.

Ваня, сидевший, сложив по-турецки ноги, по левую руку от старика, сказал раздраженно:

– Чего мы с ним возимся? Дали б его мне на час, он бы у меня всё узнал и вспомнил.

– Молчать! – оборвал его старик. – Я всю жизнь занимаюсь этим, и тут появляется неизвестный сопляк и говорит про такое... Скажите на милость оружие в глинобитных стенах.

Дима подумал, что зря сочинил про мазанки.

– Танки в срубках и насыпях, – задумчиво продолжил старик. – Нелепо. Очень трудоемко. Однако, с другой стороны...

– Она ж как новенькая, – сказал толстяк, кивнув в сторону «Пантеры». – Как шпроты из банки, в масле вся. Кожа на сиденьях целая.

– Да, – задумался старик. – Такое впечатление, что ее действительно прятали. Кому нужен был мост через это болото, непонятно... Обрез под стрехой, пистолет в подполе, пусть даже зарытый на огороде МГ. Но спрятать танк... и как раз в то время, когда страна кишела энкавэдэшниками, когда вылавливали и аковцев, и партизан, не успевших вовремя покраснеть...

– Может, сами энкавэдэшники и спрятали, – предположил толстяк.

– Именно, именно. Самый простой и логичный вывод. А что из него следует? А, студент Дима?

Дима пожал плечами.

– М-да. Студент, оказывающийся в нужный момент в нужном месте, подбирающий пистолет, вместо того чтобы просто убежать со всех ног, как сделал бы любой здравомыслящий человек на его месте. А потом с этим же пистолетом оказывающийся поблизости от спрятанной когда-то энкавэдэшниками «Пантеры». Какая цепочка, а? И костоломы из «эскадрона» по звонку Шерлока Холмса явились поразительно быстро. Они же предпочитают по старинке, на рассвете.

– Повезло ж нарваться, – сказал толстяк.

– Да уж. – Старик усмехнулся. – Но это еще не всё. Это кусочки. Случайности. Капризы, так сказать, фортуны. Но есть еще одна вещь, о которой я узнал совсем недавно. И которая замечательно расставляет всё по местам. Мои старые знакомые, которым не терпится в связи с недавними событиями сорвать куш побольше и разом придавить всех конкурентов, пустили в разработку операцию под кодовым названием «Гражданская». Имитация крупномасштабного народного возмущения вкупе с заговорами в нашей славной, народной же армии. Бунт «лесных братьев» во всей красе. В эту операцию прекрасно укладываются и инсценировка покушения сами знаете на кого, и «Пантера», до поры до

времени припрятанная на болоте, и копаное оружие. И чересчур скорая реакция «эскадрерос»... Любопытно, что по этому поводу нам скажет уважаемый коллега?

– Не знаю, – кое-как выдавил из себя, ошарашенный Дима.

– Ни хера себе, – присвистнул Ваня. – Если б я знал, я б его, гада, в болото по самые сопли забил.

– Ну зачем же так, по соплям, – сказал старик, улыбаясь. – Если я не ошибаюсь, мы теперь – часть этого плана. Может, даже одна из важнейших частей, а? Ну так давайте действовать согласно ему. Я не против. Потому я предлагаю не забивать молодого коллегу по соплям в болото, а предложить ему сотрудничество. Нас интересуют наша безопасность в процессе всей этой катавасии и танки. А также самолеты, машины, рыцарские кресты, фауспатроны и тому подобное. А его, я так понимаю, тоже интересуют его безопасность и танки. Я не ошибаюсь, ведь вы заинтересованы в своей безопасности?

– Я? Да, конечно, – поспешно подтвердил Дима.

– Тогда давайте сотрудничать. Быть может, у вас есть встречное предложение?

– Да, – ответил Дима, – я, с вашего разрешения поспал бы.

Когда Диму увели, толстяк сказал:

– А я б его просто пришиб, и дело с концом. И этих костоломов из «эскадрона» – зачем мы их таскаем?

– Не спеши, – ответил ему Матвей Иванович. – Пришибить всегда успеем. А так – польза, да и заложники на случай чего. Студент, вот увидишь, нам точно еще пригодится. И мы ему. Если я насчет него прав, его скоро и держать не нужно будет.

– Что-то сомневаюсь я, что он и в самом деле особист. Он же сопляк, теленок. Пешка.

– Как раз простоту труднее всего сыграть. А что касается молодости... сейчас все охранки набирают молодых, и чем моложе, тем лучше. Они сейчас ранние. Насчет пешки... да, скорее всего, пешка. Но пешка такого калибра, который покрупнее иных старых ферзей. Молодежь в комитете рвется к власти. Я думаю, и покушение, и «Гражданская» – их дело. Кажется мне, имитация гражданской – это как раз для начальства. А раскрутить молодежь собирается самую настоящую гражданскую войну. У нас тут всё, как перезрелый чирей. Чуть надави, и...

– А потом? Когда всё это дело раскрутится? Я имею в виду, с этой «Гражданской»?

– Потом, – Матвей Иванович усмехнулся, – потом, скорее всего, мы будем жить совсем не в той стране, в какой живем сейчас.

«Пантера» завелась с третьего раза. Ее затащили на машинный двор, осмотрели тщательно, подчистили, подкрутили. Прозвонили проводку, залили масло и бензин, поставили тракторный аккумулятор – и, чихнув раз-другой, мерно зарокотал двенадцатицилиндровый «Майбах». Стоящая среди полуразобранных комбайнов и тракторов «Пантера» вздрогнула и, лязгнув гусеницами, тронулась с места. Из люка механика-водителя высунулась чумазая голова в шлеме: «Хлопцы! Кайф! Хоть сейчас на Москву!»

Дима, пивший чай под навесом по соседству, поставил кружку на табурет и захлопал в ладоши. Толстяк спросил его:

– Еще чаю?

– Ну давай, – ответил Дима. – У тебя еще сигаретка найдется?

– Само собой.

Толстяк протянул серебряный портсигар с тевтонским орлом на крышке. Каждая сигарета лежала там в отдельном гнезде, как патрон. Дима присмотрелся к выгравированным буквам: «Эрих фон Риффеншталь».

– Что, знакомое? – спросил толстяк благодушно.

– Угу, – ответил Дима. – Фамилия.

– А, фамилия. Я думал, может, ты про самого что слышал. Это портсигар с того «Шторха», из Палика. Чин там летел какой-то. Пенсне золотое, портфельчик. Сам сгнил весь,

даже кости от болотной воды стали как бумага. Дрянь там вода, в Палике. Тамошние егеря говорили, от нее за два-три года зубы напрочь.

– Кинорежиссер была с такой фамилией. Любимица Гитлера. Знаменитая. Документальные фильмы снимала. Она, кстати, совсем недавно умерла. Крутая старуха.

– Да, я знаю. Нам Матвей Иванович немецкую хронику крутил. Еще ту, трофейную. Шеренги до горизонта маршируют, факелы. Смотрится... Кстати, о егерях: крутые в заповеднике мужики. Я, когда не знал, что делать, к ним хотел податься. Я ж тоже, хоть и не в самом Афгане был, служил по контракту в двести первой на Пяндже. Почти свой. Они говорят – не, Федя, с твоим пузом ты всю дичь на километр в округе распугаешь. А я что? Я не толстый, просто большой такой. Я и сейчас стометровку не хуже тебя пробегу. Но не взяли. А потом я к Матвею Ивановичу прибил. Он большой человек. Очень. Да ты и сам уже, наверное, увидел.

– Что да, то да, – согласился Дима, прислонившись к дощатой стене, и глубоко затаился.

Ему было просто, безыскусно и сиюминутно, хорошо. Как солдату, ухитрившемуся улучшить часок, когда никто не тревожит, не гонит и не норовит пристрелить. А самое главное – он уже потерял способность удивляться. После вчерашнего разговора думал: всё. Крышка, кранты, хана, полный конец. Заведут и даже на патрон тратить не будут. Лопатой по темени и в какое-нибудь здешнее болото. Ночью полчаса елозил, всё наручники хотел отцепить. Так и заснул буквой «зю». А назавтра накормили, наручники сняли, дали сигарет – праздник. У толстяка обнаружилось имя – Федор Степаныч, можно просто Федя, и сигарет стрелнуть тоже можно. «Герцеговина Флор», недурные сигареты, редкие. Берет же где-то. Старик, Матвей Иванович, по плечу похлопал: гуляй, студент, думай. Тебе с нами будет лучше, сам увидишь. Только Ваня его волком смотрит. Толстяк говорил, у него черный пояс по джиу-джитсу. Правый ударный кулак шефа. Но вполне благовоспитанный и без хозяйского приказа пальцем не тронет.

Чумазому механику принесли бутылку пива, и он, высунувшись по грудь из башенного люка, принялся переливать содержимое себе в глотку. К «Пантере» тащили ведра с краской, распылитель. По броне уже прошли разок, теперь осталось только сделать летний камуфляж. Танкетку в углу двора раскрасили, как елочную игрушку, будто только с завода. Дима вдруг подумал: никуда он по своей воле отсюда не уйдет, даже если за ним не будут следить. Это было как тогда, на площади. Он ни секунды не колебался, когда увидел пистолет. И не боялся. Страх пришел потом...

Но ведь сейчас он, несмотря ни на что, здесь. Жив-здоров и даже, как ни странно, уверен в себе. Пусть его принимают за кого-то или зачем-то вешают лапшу на уши. Не важно. Главное – он им нужен. И сдавать его черно-пятнистым вроде никто не собирается. Если здесь действительно хотят начать гражданскую – почему бынет? Такое ощущение, будто вот только поднялся на вершину, посмотрел по сторонам и увидел мир во все стороны до горизонта. Всё под ногами, и можно пойти куда угодно – только иди. Почувствуй себя живым.

Кстати, да и черно-пятнистые – не звери. Люди как люди. То есть коньяком поят и не пристрелят без нужды. И обращались ведь вполне сносно, пока искал. Правда, что было бы, если б не нашел, дело другое. Но история, как любил повторять один очкастый разжиревший приятель, сослагательного наклонения не признает. Интересно, где он? Так и сидит, забившись в свою конуру, или уже куда-нибудь удрал на пару месяцев? Лучше, если б удрал. Если здесь вычислят – а ведь вычислят, – доберутся до него. А он точно всё сразу вывалит и непонятно чего еще натворит. Слизняк. Правда, тогда, после площади, так дал – чуть зубы не вышиб. Но это от страха. Он как-то со страху по ледяному склону стометровку бегал – почудилось ему, что обвал. Ребята потом за ним два часа со страховкой карабкались, чтоб снять.

Ладно, а что делать всё-таки будем? Может, на репутацию поработать, раз уж дали бесплатно? А через это и о личной шкуре позаботиться. Заботиться о ней, само собой, лучше

в коллективе. А кому еще здесь дыры в ней светят?.. Борзовато выходит, конечно. С другой стороны, зачем эти ребятки старику? Порешить показательно перед строем? Если и вправду посчитали особистом, почему бы не попробовать поговорить по душам? Обычно «эскадрерос» с гэбэшниками на ножах. Но это потому, что за кормушку грызутся. По большому счету, одна ведь кодла. А тут перед носом один общий злой дядя... ну, чем черт не шутит!

После обеда Дима попросил у Матвея Ивановича разрешения поговорить с пленными «эскадрерос». Если Матвей Иванович и удивился, то никак удивления не выдал. Махнул рукой: иди, мол. «Эскадрерос» держали в подсобке, примкнув наручниками к вделанной в стену трубе. Диму запустили к ним одного. Закрыли за спиной дверь – как он и просил.

– Привет, ребятки, – поздоровался Дима.

Ему не ответили. «Эскадрерос» после двух бессонных ночей и дневной тряски в кузове грузовика выглядели скверно. Заросшие щетиной, осунувшиеся. Один ранен, рука выше локтя обмотана грязным бинтом.

– Закурить? – предложил Дима. – Отличные сигаретки, «Герцеговина Флор».

– Не курим, – с ненавистью ответил раненый.

Но веснушчатый верзила сигарету взял. Дима щелкнул для него зажигалкой.

– Дима, – сказал Дима, присев на корточки.

– А я – Павел, – ответил веснушчатый, жадно затянувшись.

– А вас как? – Дима посмотрел на остальных.

– Оба – Сергей. Серые, – ответил за них Павел.

– Не курят, значит. Как рука? Нормально? – Дима подождал немного и, уверившись, что ответа не последует, продолжил: – Вы, наверное, сейчас думаете, какого х...я я к вам пристаю, и какое мне дело до того, нормально вам или нет. Знаю, х...ево вам. Так я вам скажу: ваше состояние заботит меня с чисто практической точки зрения. Вы мне нужны живыми и здоровыми. Боеспособными.

– А ты кто такой? – буркнул раненый Сергей.

– Хороший вопрос, – сказал Дима, улыбнувшись. Затянулся, выдохнул дым. Стряхнул с сигареты пепел. – Я тот, за кем вы летали на вертолете и ради кого штурмовали бункер. И тот, кто сейчас может вытащить ваши жопы из болота. Как «Пантеру»... Хотите узнать, почему вы еще живы?

– Ненавижу этот вопрос, – сплюнул Павел.

– Потому что нужны. Стоите слишком дорого, чтобы вас без надобности выбрасывать.

– Ты, козел, – процедил сквозь зубы раненый, – ты, дешевка сраная, тебя за яйца повесят...

Дима, не обращая внимания, продолжил:

– Вы ж видите, что вокруг творится. Знаете, что недавно в Городе было. Понимаете: пи...дец этому всему не за горами. Солидный такой, увесистый. Ну, не всем, само собой. Он разборчивый зверь, пи...дец. Сознательный... Как думаете, почему на вас наехали? Почему осмелились? Почему это вдруг наш хозяин Матвей Иванович, которого вы еще недавно грабили, как хотели, так сочно вам приложил? А ведь он пережил и Сталина, и Берию, и Хрущева, и империю пережил, и все послеимперские зачистки и расчеты. А сейчас хочет пережить вас... Думайте, ребятки, думайте.

Павел смотрел на него прищурившись. Второй Сергей, сидевший в самом углу, прохрипел:

– Комитетчик е...ный. Эти козлы всегда под нас копали.

– Докопались ведь, – усмехнулся Дима.

– Гонишь, козел. Наши за полчаса всё ваше е...ное начальство по стенке размажут!

– Серый, заткни хлебало, – сказал Павел угрюмо.

Дима мысленно поставил себе пять с плюсом.

– Подумайте, ребята, кому вы служите. Себе – или кому-нибудь другому. Подумайте,

куда всё катится и что будет с теми, кто станет стрелять не в ту сторону... Еще сигарету?

– Давайте... спасибо большое, сигареты замечательные, – сказал Павел.

Матвей Иванович щелкнул кнопкой магнитофона и подмигнул толстяку:

– Ну что? Теленок, сопляк и пешка?

– Ни хрена себе! – Толстяк покачал головой. – А я его колол, как щавлика. С ума сойти. Только уж больно он борзой. Так вот прямо с места в карьер.

– Молодежь. Они сейчас быстрые. Сейчас новые времена. Техника новая. К примеру, отдел по борьбе с компьютерной преступностью. Десять лет назад кто б подумал. А там восемнадцатилетние юнцы работают. Наш студент по их меркам – уже ветеран.

– Кстати, он говорил, что по профессии – программист.

– Вот-вот. Кстати, у комитета новая мода: раньше в высшую школу брали только после вуза. А сейчас придумали совмещать. Учится такой вот сопляк в каком-нибудь Политехе, зачеты сдает, за однокурсниками ухлестывает и в общежитии пол подметает. А попутно защищает отчизну. На самом важном из невидимых фронтов.

– Так что с ним будем делать? Пусть так себе и гуляет? Эскадронцев колет, свою, мать его, банду сколачивает?

– А почему нет? Посуди сам – ведь его коллеги наверняка знают, где он. Мы сделали, что сделали, – за нами кто-нибудь гонится? Стреляет, арестовывает, бежит с наручниками? Мы его не обижали, и ему нет резона нас обижать. И его начальству тоже. Мы ему и крыша, и отмазка. И враги у нас общие. А если его послали по плану «Гражданская», то лучше нас ему партнеров не найти.

– А пистолет? Если это тот самый пистолет, с площади, то почему его не выкинули?

– Потому что хороший пистолет. Зачем выкидывать? Если посылаешь человека поднимать бунт, безоружным его отправлять не резон... А заодно, если нам не повезет, и нас всех таки прищучат, каковую возможность план «Гражданская», несомненно, предусматривает, тут и пистолетик к месту окажется. Вот они, главные злодеи-террористы. Улики налицо. Студент наш подсветился на площади, его сплавили в провинцию – ко мне в гости. Вместе с игрушкой его. Я думаю, если б не дурак лейтенант, он бы со своим напарником вместе, потыкавшись день-другой, вошел бы в контакт с нами без всяких проблем. Не сами ж они «Пантеру» собирались откапывать и до ума доводить.

– Шерлок Холмс! – Федор сплюнул. – Это ж надо, какая курва. И я ж сам его, падлу, привел. Простить себе не могу... Но почему, если студент из комитета, ему не рассказали, как нас искать?

– Кое-что ему рассказали. Иначе он бы не оказался там, где оказался. А вот прямо мне рекомендовать – вряд ли. Старики не очень ладят с молодыми и ранними. Тем более с сегодняшними ранними. У тех, прежних, хоть какие-то принципы были. У этих – никаких совершенно. Голые амбиции до потери инстинкта самосохранения. Сейчас удержаться в комитетском кресле труднее, чем при Серове. Раньше в провинции из Города отправляли неудачников. Подставленных, не справившихся, проигравших. За пьянку, естественно, за аморалку. И молодых гнали, и пожилых. Всех, сошедших с дистанции. Сейчас гонят сплошь стариков.

– А что, молодые не сходят с дистанции?

– Сходят, конечно. Еще как. Но у них свои волчьи законы. Они прямиком отправляются туда, куда Макар телят не гонял. Шпаной сейчас тюрьмы переполнены. Мы в наше время всё-таки были помягче. Иногда даже давали второй шанс. Эти ломают сразу и навсегда.

– И всё-таки молодые лезут толпами?

– Еще как лезут. В комитетской школе конкурс больше, чем на факультет международных отношений.

– Ну и времечко нам выдалось! – Федя вздохнул. – Матвей Иванович, вот только я не понимаю из рассказов ваших: зачем весь сыр-бор? Зачем Понтаплева из пистолета этого

жуткого, кому тот Понтаплев нужен был? Колхозник без портфеля.

– Насколько я представляю, господин Понтаплев любил поездить в чужой машине, что его большой друг охотно позволял. А может, даже и поощрял. Как раз на такой случай.

– Так что тогда? Так, может, комитетчики ничего и не инсценировали, а на самом деле хотели Самого шлепнуть?

– О чем я тебе и говорю – уже второй, между прочим, день.

– Ну да, – сконфузился толстяк. – я как-то, вы знаете, не сразу... А всё-таки: что со студентом? Пасти его? Или отпустить на все четыре стороны? Может, еще и пистолетик вернуть?

– Отпустим его. Пускай бродит, где хочет. «Эскадрерос» приручает. Уж больно лихо он за них взялся. Интересно посмотреть, что получится. Если я прав – а я ведь прав, – никуда он от нас не денется. А что касается пистолетика: почему не вернуть? Обязательно вернем. Покопаемся немножко – уж больно любопытные патроны у этой машинки – и вернем. Мы не «эскадрон», нам чужого не нужно.

Пока механики доводили «Пантеру», Ваня возился с извлеченным из обоймы патроном. Аккуратно, стараясь не помять гильзу, надпилил шейку и вытащил пулю. Та оказалась необыкновенно длинной – почти во всю длину патрона и с дырочками на донце. Ваня постучал гильзой о верстак: ничего не высыпалось. В горлышке гильзы виднелась серо-голубая масса. Ваня ковырнул ее отверткой. По консистенции она напоминала парафин и кисло пахла. Тогда Ваня закрепил во фрезерном станке самый тонкий алмазный диск и распилил гильзу вдоль – начинка вывалилась, как шоколадный Дед Мороз из фольги. Пористый, легкий, пустотелый слиточек.

Ваня отделил кусочек, поднес спичку. В пламени спички кусочек расплавился, потек прозрачно, но так и не загорелся. Пулю Ваня также опилил вдоль, чтобы снять оболочку, как луковичную шелуху. Поначалу он хотел распилить ее пополам, но диск сломался, едва погрузившись под раскрашенную спиралью поверхность пули. Когда наконец Ваня справился с работой, в руках у него остались половинки оболочки, тонкой, заполненной той же серо-голубой массой, и внутри нее – тонкий черный конус, похожий на острие скорняцкого шила. Ваня попробовал царапнуть его напильником и диском. Потом, взяв молоток потяжелее и плоскую гирьку, приставил к гирьке конус и начал бить. К Матвею Ивановичу сердечник пули он так и принес торчащим до половины в гире. Матвей Иванович велел сердечник из гирьки выдернуть. Ваня, заскрежетава зубами от натуги, выдрал его щипцами. И, окунув в стакан с водой, уронил сердечник в подставленную ладонь старика. Тот посмотрел угольно-черный конус на свет: он был как только что изготовленный, без единой царапины.

– Неплохо, – хмыкнул Матвей Иванович. – Неплохо. А пулька-то – настоящая ракета.

ПАТРОНЫ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ: КАПИЩА И ИДОЛЫ

Они есть почти в каждом районе, городе, городском поселке. На площадях, вместо статуй отцов отечества, в военных частях, на перекрестках, у заводов, кладбищ и парков. Они в разной степени исправности и готовности. Некоторые изъедены ржавчиной, проступающей из-под толстой кожуры старой краски. Некоторые безнадежно испорчены: с забитыми в пушечные стволы трубами и бревнами, с развороченными двигателями, намертво заваренными люками и колесами. Но большинство – живо.

На постаменты ставили не хлам, не безнадежный мусор, ни к чему более не пригодный, – ставили то, чем когда-то гордились, что воевало и было готово воевать снова. Сталь, способная выдерживать противотанковые снаряды, выдержала и полсотни лет непогоды ничуть не хуже, чем огромные танковые парки, которые империя и в последние годы существования продолжала распродавать. Имперские танки великой войны,

легендарные «тридцатьчетверки», за последние полвека воевали почти во всех войнах планеты. Мяли буш в Намибии, проламывались сквозь конголезские джунгли, стреляли в Корею по американцам, на Синае – по евреям, в Никарагуа – по «контрас», а в Афганистане – по потомкам тех, кто сидел когда-то за их рычагами в Великую войну, их породившую. Грубое литье «тридцатьчетверок» выдерживало попадание из базуки, а управлять ими после получасового обучения мог и мальчишка.

Матвея Ивановича «тридцатьчетверки» не интересовали. Страна кишела ими, и за них по эту сторону границы никто из занимавшихся копательским промыслом не дал бы и доллара. За границей – да, «тридцатьчетверку» могли бы купить, но за цену, которая вряд ли бы возместила расходы на перевозку. Имперская армия усеяла своими танками-памятниками и Восточную Германию, и Польшу, и Венгрию. В Венгрии, правда, после ухода имперских войск их сдали в металлолом чуть ли не раньше, чем статуи отцов-основателей. Там кровавая память была слишком свежей. Зато «тридцатьчетверки» теперь интересовали Диму. Находка на болоте подействовала на него, как наркотик. Старые танки теперь грезились ему на каждом углу.

Явившись как-то к Матвею Ивановичу, он изложил ему свою программу снятия их с пьедесталов и возвращения в строй. Старик план одобрил и не стал говорить окрыленному успехом Диме, что завести собственный танковый полк можно куда проще. Причем из куда более современных и боеспособных машин. Во-первых, Матвею Ивановичу было интересно посмотреть, как Дима со своим планом справится. А во-вторых, старик дорожил уцелевшими осколками Великой войны. Для него оживить их, поставить в строй значило оживить самую сильную часть себя, свою юность. Та война очертила всю его жизнь – той же войной он хотел ее и окончить.

Дима сильно ошибся насчет Матвея Ивановича. Да и никто из атаковавших Протасовское болото не понял, почему он, всегда осторожный, всегда оставлявший за собой дюжину мостов и даже пару бункеров с подземным ходом за ближайшую границу, решился на такое. Конечно, «эскадрон» все ненавидели, но и боялись до судорог. «Эскадрерос» же не боялись ничего и никого. Если милиции случалось ненароком задержать кого-нибудь с вишневыми кожаными корочками, самое малое, чем могли отделаться не в меру ретивые сотрудники, – это лишение тринадцатой зарплаты и отпуск в феврале.

Городскую милицию в свое время взбудоражила история с патрулем, подобравшим пьяного «эскадреро» на лавке автобусной остановки в конце Великокняжеского проспекта. «Эскадреро» в задравшейся куртке, расстегнутой до пупа рубахе храпел, показывая ночным прохожим кобуру под мышкой. Патрульные быстро обезоружили спящее тело, обыскали и вытащили под свет фонаря удостоверение. Минут десять они придушенными голосами переругивались. Потом всё-таки решились: нельзя же оставлять пистолет просто так, ведь кто угодно заберет, да и удостоверение тоже – ценность. Сам пусть спит, а пистолет с удостоверением вернем потом.

Когда старший патруля доложил о произошедшем и положил изъятое на стол перед дежурным по отделению, тот схватился за голову. И тут же погнал патрульных назад, выматерив и пообещав надрать думалки так, что до отпуска сидеть не смогут. Но пьяный уже исчез. Патрульные обшарили весь квартал, но так никого и не нашли. Пистолет с удостоверением пришлось отправлять вверх вместе с рапортом о происшествии. Через два дня представители «эскадрона» заявили, что на их сотрудника напали, избили и отняли табельное оружие. При исполнении. Патруль пошел под суд. Старший получил семь лет, остальные – по три года, всё начальство отделения лишилось работы.

У истории было продолжение. Брат старшего служил в ОМОНе, и на дискотеке во Дворце спорта на Великокняжеском они вместе с черно-пятнистым патрулем отлупили подвыпившего «эскадреро» – того самого – дубинками. А он из того самого табельного пистолета сделал дыру в потолке и пять – в солдатах патруля. На дискотеке было много народу, «эскадреро» судили, дали много, но после суда он благополучно исчез в неизвестном для общественности направлении. Ходили слухи, что его видели в Чечне. «Эскадрон»

постоянно отправлял туда своих набраться опыта и пострелять по живым мишеням в боевой обстановке.

Атаковать «эскадрон» было самоубийством – если бы не покушение, не вертолеты и не вспыхнувшая снова война охранок. И если бы не уверенность Матвея Ивановича в том, что настоящей гражданской, к которой страна пошла семимильными шагами, «эскадрон» не переживет, равно как и его хозяин. Конечно, стопроцентной уверенности в том, что всё пойдет именно так, у Матвея Ивановича не было. Да он и не высидел бы столько лет в своем кресле, если бы не умел просчитывать все возможности.

Вполне вероятно, что отец нации затеял очередную крупномасштабную интригу, чтоб одним махом избавиться от целой кучи проблем. Ситуация требовала. Большой брат, столько лет по своим ценам кормивший страну нефтью и газом в обмен на разговоры о славянском братстве, показал зубы и кулаки, требуя или объединиться на деле, или платить по-настоящему. Большой брат мог не только закрыть вентиль. Только он, наверное, и знал, где кончается его охранка, и где начинается родной здешний КГБ. А еще армия, осколок имперского Западного военного округа, сохранивший изрядную долю прежнего начальства. И базы.

С другой стороны, Европа, кривящаяся от диктаторских замашек, и прежде всего Польша, с которой едва не дошло до разрыва отношений. Санкции и запреты. Бунт в армии плюс террористы в лесах и полях – прекрасная возможность обвинить в происках большого брата. И броситься в объятия Европы, до тех пор, пока большой брат не одумается и не пустит снова к кормушке. А может, еще что-нибудь провернуть поизощреннее и запутаннее. Отец нации – большой мастак ловить рыбку в мутной воде. Было же время, когда он всерьез угрожал престолу главного имперского обломка.

Так что еще пять лет назад Матвей Иванович сидел бы тихо и выжидал. А если бы и действовал, то тишком, без чрезмерной воинственности. Но теперь выжидать было уже некогда.

Несмотря на годы, Матвей Иванович еще мог десяток раз подтянуться. Даже, наверное, пробежать стометровку без одышки и колотья в боку. Хотя он уже очень давно не бегал без крайних на то причин. Но было и другое. Дрожь в руках. Ощущение мелкого, колкого песка в локтях и коленях. И тупое, саднящее нытье под ребрами. Матвей Иванович был очень стар. Но старость до сих пор ощущал скорее его разум, чем тело. Конечно, в пальцах нет прежней быстроты, и бессонная ночь дается куда тяжелее, чем лет двадцать назад. Всё чуть хуже, медленнее, больнее. Но – всего лишь чуть. Он и представлял себе старость именно так. Тело, послушный механизм, устает, срабатывается. Дергается, дрожит, скрипит шестернями. Каждое утро скрип чуть слышнее, сильнее вкус гнили во рту. Но механизм работает. А потом слетает шестерня – и всё. Стоп.

Почти всю свою жизнь Матвей Иванович был здоров. То есть не ощущал своего тела. Надеялся, что и отказа его не ощутит. Просто однажды качающий кровь насос станет или лопнет сосудик в мозгу, и мир остановится. Так пуля останавливает бегущего. Но в последние пару лет понял, что может быть и не так. Умирать можно медленно. Каждый час ощущать, как вытекает из тебя жизнь, и часов этих может быть много, невыносимо много. Всю свою жизнь Матвей Иванович был ее хозяином. И потому хотел стать хозяином своей смерти.

Он никогда не чувствовал себя солдатом. В войну был добытчиком колец и портсигаров. Выживателем. Потом тоже был искателем, добытчиком, охотником, стрелком. Специалистом по выживанию в кабинетной войне. Но не солдатом. Никогда не воевал за что-то. Только за кого-то, и этот «кто-то» всегда был он сам, и никто больше. В сорок четвертом, когда аковская лесная война полыхала вовсю, под Бобруйском он подстрелил двух поляков. Одетых в штатское, но с оружием. Шли зачем-то на восток по глухой лесной дороге. Говорили по-польски, потому он, уже третий день карауливший дорогу, не задумывался. Пропустил. Подождал, пока отойдут метров на пять. Первый поляк побежал уже с пулей между лопаток. Через три шага, споткнувшись, упал в лебеду на обочине.

Второй успел обернуться, перекинуть из-за спины автомат, но выстрелить не успел, опрокинулся навзничь.

Матвей затянул обоих за куст, выпотрошил карманы. У них оказались документы солдат армии Берлинга, собранной имперскими властями по лагерям и тюрьмам, армии поляков, которым обещали свободу за пролитую ради империи кровь. Больше у них не оказалось почти ничего, даже портсигаров и часов. У одного в тощем сидоре оказался пухлый исписанный блокнот. Вечером у костра Матвей полистал его от нечего делать. Стихи, выписки. Польский, немецкий, русский язык. Неразборчивый, неровный почерк. Высохший цветок между страниц. На самой первой странице было написано по-русски: «Мужчина может жить, как хочет, но умирать должен, как мужчина». Матвей в бумаге для самокруток не нуждался и потому выбросил блокнот в костер. Много позже он встретил эти слова опять. Заказал книгу – тонкий томик стихов, – посмотрел на имя и даты: родился, вырос, учился, служил. Пропал без вести. Автор в тридцать девятом воевал с имперскими войсками под Львовом, в сорок первом дрался с роммелевскими «лисами пустыни» под Тобруком, а в сорок четвертом оказался в лесу под Бобруйском.

Матвей Иванович не хотел умирать на больничной койке. И не видел смысла в том, чтобы без повода приставлять дуло к виску. Просто теперь он перестал рассчитывать на завтра и хотел сделать сегодня всё для того, чтобы это «сегодня» удалось. А завтра – завтра можно встретить с автоматом в руках. Если повезет, послезавтра не будет вообще. Судьба дала ему шанс умереть так, как он хотел.

Машинный двор, на котором ремонтировали «Пантеру», был километрах в пятнадцати от Сергей-Мироновска. У въезда в Сергей-Мироновск Дима и нашел свою первую «тридцатьчетверку». Толстяк подвез его, Ваню и Павла, веснушчатого верзилу-«эскадреро», на «Жигулях» и снабдил стремянкой. Стремянку приставили к пьедесталу, забрались на танк, постучали разводным ключом по люку, сбивая слои краски, – и обнаружили, что люк даже не заварен, а прихвачен расплюснутыми болтами. Срезать их было делом пяти минут. Когда готовили газосварочный аппарат к работе, явилась местная милиция. Павел слез с пьедестала, показал им удостоверение, и местная милиция исчезла. «Тридцатьчетверка» оказалась вполне исправной, ее поставили на пьедестал, даже не слив масла из системы охлаждения. Танк стянули трактором, и к вечеру над ним уже корпели механики.

Машинный двор теперь стал полностью похож на парк танкового полка. Откуда-то наехало «уазиков» и темно-табачной раскраски «КамАЗов», вокруг засуетились новые люди, большинство с разномастным оружием, не только с «калашниковыми» и охотничьими ружьями, но и с немецкими «шмайсерами» и винтовками, с аковскими «стэнами» британской военной выделки. Вечером Диму вызвал к себе Матвей Иванович и, показав на двор за окном, заполненный танками, машинами и людьми, спросил:

– Нравится?

– Ничего, – ответил Дима. – Как в кино.

– Я думаю, кино про это еще будет, – заметил Матвей Иванович. – А пока нету – держи.

– Спасибо, – сказал Дима нерешительно, глядя на пистолет в своей руке.

– Пожалуйста. Если нужна кобура – у Вани есть лишняя. У него же, кажется мне, есть и десяток-другой патронов к парабеллуму. Должны подходить и к этому. Хорошие патроны нужно беречь, правда?

Пистолет пригодился Диме очень скоро. Гораздо скорее, чем предполагал Матвей Иванович.

Новость о том, что комитетчики арестовали целый вертолетный полк с каптерками, сторожевыми собаками и бухгалтерией, распространилась быстро. Благо распространяться было в особенности некуда – армия была в полтора раза меньше спецназа с милицией и пограничниками. Офицерам платили меньше, чем водителям троллейбусов, и из семи

составлявших наземную армию дивизий боеспособна была только одна, составленная из наиболее прилично выглядевших частей и гордо названная «дивизией быстрого реагирования». Названная справедливо – только она могла по тревоге развернуться по старому имперскому нормативу – за двенадцать часов. Остальным требовалась неделя.

Офицеры там были скорее кладовщиками, присматривали за старым имперским оружием, еще не распроданным на Ближний Восток, в Африку и Южную Америку. Армия сидела без топлива и запчастей, всех наличных запасов мазута хватило бы на пять километров каждому танку и бронетранспортеру. На учения, еще регулярно проводившиеся, ради экономии топлива водители бронетехники шли пешком с картонными ящиками на головах. В ящиках прорезали узкие дыры – «для имитации обзора из танка». Если что-нибудь ломалось, разбирали соседнюю машину, делали из пяти танков три, потом один, а этот один, подкрасив, продавали в Марокко.

Впрочем, танковых запасов, оставленных империей, при нынешнем темпе продаж по самым скромным подсчетам должно было хватить еще лет на десять. Республика была первым имперским бастионом по пути на Запад. Постоянно воевавшая империя любила свою армию. По крайней мере ее офицерство. Офицеры, особенно служившие на пустынных окраинах, имели шанс заработать выслугу в тридцать лет и получать после этого пенсию больше средней имперской зарплаты. И к тому же квартиру – в любой части империи, кроме двух ее столиц. Отец же нации сделал их просто чиновниками, со скудной зарплатой, с пенсионным возрастом, а не с выслугой, безо всяких квартирных и прочих привилегий. Кладовщиков у него хватало и без людей в погонах. Холили и пестовали одну только дивизию быстрого реагирования. Там офицеров даже снабдили «лэптопами». Армия не любила отца нации. А он ее боялся.

Слух про аресты и выбивавших прикладами зубы комитетских спецназовцев разбежался, как рябь по болотной воде. На следующий день после ареста Министерство обороны объявило, что всё командование части разжаловано и пойдет под трибунал. Территорию полка превратили в концлагерь, вертолеты перегнали. Допрашивали там же. Когда начались аресты в соседних частях, арестованных отправляли туда. Арестовывали много – комитетчики без труда и даже без дополнительных указаний сверху обнаруживали всё новые нити заговора, пронизавшего армию. Новости об этом тоже разошлись, дойдя даже до спившихся лейтенантов на лесных радиолокационных станциях. И армия зашевелилась – как очень старый, со стершимися, гнилыми зубами, облезлый, больной, но всё еще живой и потому опасный медведь.

Самое интересное, что комитетчики так и не смогли найти тех, кто поднял вертолеты. Вертолеты были заправлены и снаряжены перед вылетом на учения, снаряжены полным боезапасом, как это и предусматривалось инструкцией. Но пилоты их мирно ночевали в казармах – все их сослуживцы в один голос это подтверждали. Техники тоже мирно спали, никто не давал разрешения на взлет, никто, кажется, и не следил. На пункте контроля за полетами дежурный клялся и божился, что никто ничего у него не запрашивал. Дежурному полсуток промывали мозги, даже накачали «сывороткой правды», но ничего связного или полезного не добились.

Генерал Шеин, почитав рапорты, подумал, не в самом ли деле в армии созрел заговор, и приказал проверить, не собирался ли ранним утром по кольцевой проехать кто-нибудь важный. Важный. Замы понимающе кивнули и вскоре выяснили. Да, собирался. Да, в Сыром Бору, где олимпийский спорткомплекс, уже подготовились к встрече. Сауна, персонал, проверенные люди из личной охраны вдоль трассы.

Отец нации любил спорт и сам назначил себя главой Олимпийского комитета. Сам бегал марафоны, играл в сборной страны по хоккею – правда, только в товарищеских матчах – и бежал дистанцию на роликовых лыжах по главному проспекту Города. А вертолеты проутожили кольцевую тщательно. Сожгли всё, что двигалось и стояло на обочинах. Если до этого план «Гражданская» и выглядел воздушно, то теперь стал реальным, как крышка канализационного люка. Генерал поверил в свою интуицию и разослал по стране очередную

порцию директив по плану «Гражданская». А когда генералу доложили, что у Могилевского шоссе заметили танковую колонну, возглавляемую немецкой «Пантерой», и что, судя по всему, именно эта колонна расстреляла «эскадрерос» на Протасовском болоте, генерал окончательно поверил в свою гениальную прозорливость. И приказал принять меры.

В желтом доме на площади Рыцаря Революции куда отвез меня Ступнев, меня допрашивали, должно быть, сутки подряд, не прерываясь ни на минуту. Повторяли одни и те же вопросы сотни раз. Мою нехитрую биографию они знали лучше меня и без конца экзаменовали меня по ней, прерывая допрос криками и угрозами, требованиями немедленно выдать какие-то склады оружия и явки. Бред, бред! Какие склады, какие явки, я сотрудник Академии, я...

Мы хорошо знаем, какой вы сотрудник и чей, говорили мне. И зачем мечетесь по странам и континентам. Туризм, конечно, туризм. Ну-ну. Так расскажите про туризм. И принимались расспрашивать про походы, особенно про кавказские и среднеазиатские, вспомнили даже про тот случай, когда мы, сбившись с перевальной тропы под Куликалоном, вышли на маковую плантацию, и сторож – тощий, заросший, с пьяными глазами таджик – всё порывался напоить наших девушек чаем, разогретым на костре из ячьего навоза. Вспомнили, как на Даларе нас поймали сваны, и мы сидели под дулами автоматов, пока потрошили наши рюкзаки.

Я тогда подумал, что у Ступнева на диво хорошая память. У меня за столько лет осталось что-то невнятное, обрывистое, лоскутный коврик на бухарском базаре. Его же память была как фотоаппарат – захватывала яркие куски и не давала им измениться ни на йоту. Да он и увлекался фотографией, мог на дневке часами ходить вокруг старой сохлой арчи, выискивая ракурс. А теперь следовательно перечислял мне всех, кто ходил со мной, перечислял их прошлые и нынешние работы, браки и кулинарные предпочтения. И места жительства. Те, кто ходил со мной, писали мне время от времени: из Энн-Арбора, из Регенсбурга, из Сан-Паулу. ИзХайфы.

Вопрос громоздился на вопрос. Вопрос о том, как сдал экзамены, и сразу – зачем я хотел отравить водопровод в девяносто шестом году, и где еще один сообщник. Боже мой, какой водопровод, да что вы такое несете? Я не стрелял, я не травил, я научный сотрудник, я... господа, да что это такое, что за нелепица! Но следователи, хмурясь, спрашивали и приказывали, кричали на меня и обвиняли в десятках абсурдных преступлений. Скоро я перестал понимать, что говорят мне, и что говорю я. Рассказывал что-то, с трудом шевеля опухшими губами. Просил пить. Мне давали мертвой воды из графина. Следователи, сменяясь, укладывали вопросы как черепицу. Я десятки, сотни раз пересказывал одно и то же. Да, сидели, пили пиво. Потом ушли. Испугались. Пистолет? Не знаю. Да, моего друга зовут Дима. Да, уехал, не знаю куда. Больше ничего не знаю. Не знаю. Не знаю. Устал. Я болен, я очень болен. Отпустите меня. Пожалуйста. В Америке? Кто в Америке? Да, переписываюсь. Да, и в России. Да, приезжали. Не поручали, нет. Не занимались. Не знаю. Не знаю. Не знаю!

Когда язык перестал мне повиноваться и я только шептал хрипло и невнятно, мотая головой, будто чужие слова были роем назойливых мух, меня привязали ремнями к стулу. Человек в сером костюме вынул из чемоданчика тонкий пластиковый шприц, проткнул иглой резиновую крышечку капсулы, потянул поршень – медленно, у меня перед глазами, – выбрызнул вверх крохотную струйку. Я почувствовал иглу в своей шее, будто жало механической оси, почувствовал, как бежит по мышцам лихорадочный огонь, и словно провалился в бред.

Я сидел на стуле, прихваченный ремнями к спинке, пьяно мотал головой, из уголка рта полз жгутик слюны. Стол передо мной менялся, менялась лампа на нем, пиджак следователя превращался во френч цвета хаки, в черную униформу с орлами. Мне казалось, ко мне обращались по-польски и по-немецки. Меня били – плетью, резиновой дубинкой, потрескавшейся бамбуковой тростью. Светили лампой в глаза. Один ужас сменился сотней,

тысячью, наложенными друг на друга, и везде я был прикован к стулу, вокруг были крашеные мертвые стены, везде кричали, били, требовали. Я бормотал, брызжа слюной, плакал, потом исступленно, истерично завывал.

Ступневу выпало доучиваться в скверное время. Время, когда в империи вдруг стало на двести миллионов граждан больше, чем она могла прокормить. Империя перестала платить и разведчикам, и полицейским, и сантехникам. Впрочем, последние, как и зубные врачи, пережили скверные времена легче – чтобы исправить зубы и унитазы, люди выкладывали последнее. Андрей учился в Политехническом, готовился стать инженером по эксплуатации начиненных электроникой систем с труднопроизносимыми названиями. Инженером он быть не хотел и особых склонностей к инженерии не имел, а имел двух дядь и двоюродного брата, служивших в охранке и сосредоточенно боровшихся за жизнь в последние имперские годы.

Ступнев окончил Политехнический, зарабатывая на жизнь в фотоателье, сперва щелкунчиком, снимавшим за смену сотню фотографий на паспорта и удостоверения, а к пятому курсу – уже хроникером свадеб, пирушек и торжественных открытий. Он имел феноменальное чувство цвета и пространства и не менее феноменальную память, четкую, как отпечаток ступни в бетоне. После окончания его определили на умирающий завод за проспектом Лесных Братьев, в конструкторское бюро, отапливаемое три дня в неделю, освещаемое – три с половиной. Завод был нерентабелен, директора сменяли друг друга, как великие визири в Блистательной Порте, – всякий знал, чем закончится его власть, но хватал так, будто собирался жить вечно.

На очередного директора, опустошившего фонд зарплаты на полгода вперед, Андрей донес сам. Дядья, благополучно выбравшиеся из послеимперской передрыги, благодушно над ним подшучивали. Спрашивали, сколько комнатных тапочек можно купить на одну его зарплату. И сколько на двенадцать. И какие из них окажутся белыми. В конце концов Ступнев пришел к дяде Ивану, вальяжному, с добродушным морщинистым лицом, пузатенькому лысеющему папику лет пятидесяти с хвостиком, и попросил о помощи. Дядя оглядел племянника, словно увидел в первый раз, и хохотнул. Пообещал помочь. Конечно же, как не помочь в таком деле. Справедливость. Кто мы, как не слуги этой самой справедливости. Дядины глазки походили на отточенные до синевы рыболовные крючья. Обязательно поможем. Потерпи недельку.

Уйдя от дяди, Ступнев напился в стельку на последние деньги и подрался с кем-то в баре. Даже, кажется, с тремя. Хотел, чтобы его размочалили в грязь, превратили в кровавую ветошь, растоптали, растерли, проломили бутылкой череп. Но никто ему ничего не проломил, он стоял у двери, сжимая и разжимая ссаженные кулаки, вокруг никого не было, вышибала делал вид, что шепчется с барменом у стойки, а бармен, пугливо кося глазами, нажимал под стойкой кнопки на мобильнике. Андрей, услышал электронное треньканье и, подталкиваемый едва живым инстинктом самосохранения, вывалился за двери, под апрельский дождь. Дождь смыл кровь с хмелем, и домой он добрался до тошноты трезвым.

Неделю ждать не пришлось. Директора сняли на третий день, в конце второго дня в его кабинет зашли трое в серых костюмах. Директор вышел вместе с ними, дергая сцепленными за спиной руками, сел в черную «Волгу», и больше его на заводе не видели. Приказ о его увольнении вывесили на доске объявлений только на следующий день. А через месяц Ступнев подал заявление в школу КГБ. Экзамены он сдал блестяще, поступил, окончил куда успешнее, чем Политехнический, и через день после окончания завербовал своего первого осведомителя – на том самом заводе.

Новые коллеги к Ступневу приглядывались недолго. Скоро он оказался в отделе «Б-2» и узнал, кого на служебном жаргоне именуют «операстами». В нелегкой жизни сотрудников тайной охраны отечества имелись особенно нелегкие страницы, связанные с многочасовым стоянием под дождем и монотонным бормотанием в микрофон или прочитыванием сотен написанных от руки доносов с невообразимой грамматикой и стадами козлящих друг дружку ошибок. Неудачников в охранке не было, по крайней мере в охранке Города, а особенно в

республиканском комитете, куда дядя направили Андрея. Неудачники заканчивали карьеру в давидгородках и дрогичинах или отправлялись прямой дорожкой на нары.

Шансов выжить на нарах для бывшего тайного солдата родины не было никаких. Коллеги из тюремного начальства, комитетчиков ненавидевшие, охотно позволяли информации утечь, со всеми вытекающими последствиями со стороны бритоголовой братвы. А особой зоны, где проштрафившиеся охранники закона могли бы спрятаться от своих жертв, в стране не было. В империи имелаась парочка таких заведений, поскольку она могла предоставить своим опричникам второй шанс, – но для обломков империи это было не по карману.

Да и не было в этом необходимости, по числу нештатных и штатных сотрудников охраны на душу населения страна лидировала на всём постимперском пространстве. Каждое ведомство вербовало безудержно, вербовало чуть ли не с пеленок, страну перекрывало множество агентурных сетей, переплетавшихся и плавно переходивших одна в другую. Обходились они дешево. Четыре пятых населения жили так далеко за чертой бедности, что даже и не представляли, где они находятся. Среди молодежи карьера тайного защитника отечества, сулящая гарантированную зарплату, жилье и сладкое чувство причастности к святой святым, пользовалась бешеной популярностью. Место неудачников тут же занимали амбициозные новички.

«Операстией» пробавлялись не неудачники, а отстающие. Удерживающиеся на плаву, но не способные из-за нехватки энергии и способностей протиснуться наверх. Либо совсем молодые, не успевшие ещё разогнаться. Ступнев же ни дня не провел в «операстах». Отчасти благодаря протекции, а большей частью – себе самому, он сразу продвинулся в штатные оперативники и стал выполнять работу, обычно доверяемую опытным и испытанным.

Залогом успешной карьеры в комитете были интеллект, воля, уравновешенность и полное отсутствие прочих человеческих качеств – за исключением разве что смертности. Подавляющее большинство шло путем постепенного расчеловечивания. Отказаться от человеческого довольно трудно, сочувствие, сопереживание и прочие вещи на «со-» мешают превращению человека в оперативного работника. Но у комитетчиков была своя метода, отработанная десятилетиями. Механизм постепенного поворота рудиментов человеческого в нужную сторону. Молодой человек, решивший тайно защищать Родину, конечно, был уже готов к тому, чтобы интересы своего нового тайного социума, своих товарищей по локтю и сиденью в джипе ставить гораздо выше интересов всего остального человечества.

Новичков гнули потихоньку, направляли амбиции в нужное русло, шажок за шажком тыкали носом в слабость всех, к тайному обществу не причастных, в их убогость, неосведомленность, незащитность. Учили видеть пропасть, отделяющую его от простых и довольно-таки жалких смертных. Финалом превращения было осознание того, что кругом враги, только враги и никого, кроме врагов. Враги делились на три категории: враги ничтожные, бессильные и потому не замечаемые; враги сильные, но не опасные в данный момент и потому всего лишь осторожно наблюдаемые; и предметы оперативной разработки.

Рядовые граждане отечества в большинстве попадали в категорию номер один. Коллеги – в номер два. Все прочие распределялись между тремя категориями в зависимости от обстоятельств. В финале послушничества новичок понимал, что выражение «от нас не уходят» означает вовсе не всеисилие комитета и способность где угодно достать изменившего ему. Выражение это значило всего лишь то, что после завершения превращения в оперативного работника ему некуда было податься. Ни в каком человеческом коллективе он попросту не смог бы ужиться, как не мог бы ужиться скунс в многоквартирном доме. Конечно, превращение не всегда совершалось успешно, но конвейер выброса бракованного материала работал безукоризненно, и наверх проходили только самые из самых, достигшие полного единства со своей профессией и призванием.

Но была и горстка других, подобных Ступневу. Их не нужно было вести за руку из людей в «операсты», потому что они и так очень хорошо представляли, чем «операсты» отличаются от людей. И чего стоит шагнуть от одних к другим. Они искренне презирали

друг друга и самих себя и давили коллег безо всякой жалости. А у Ступнева вдобавок ко всему прочему обнаружилась феноменальная рассудочная реакция: в самом отчаянном цейтноте он мог действовать с точностью будильника.

Капитана он получил на третьем году карьеры, когда дядя Иван сделал его своим ведомым. И сказал ему дома, за рюмкой малороссийской перцовки, что если он, Андрей, захочет ковырнуть под дядино мягкое место – милости просим. Но тогда ни родная кровь, ни мамины слезы не помогут, и счет будет, как у равного с равным. Кто кого. Впрочем, дядя успел испугаться уже не один раз и приблизил Андрея в полном соответствии с восточной мудростью: «Держи друзей близко, а врагов – еще ближе».

Дядя как-то поручил племяннику работу по непосредственному своему шефу, полковнику Чикину, образцовому, усердному и осторожному, как хоре, сотруднику. Андрею отводилась роль колесика, маленького корректировочного толчка в сложнейшем механизме интриги, планируемой дядей уже второй год. Интрига включала вербовку на заводах и в Союзе молодежи, три генеральские дачи и с полдюжины отмывающих черный нал фирм, затрагивала парламент и должна была закончиться крупным ведомственным скандалом вокруг полковника. Тот недоплачивал вышестоящим, и целью интриги было как раз убедить вышестоящих в том, что недоплачивает полковник гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Дядя поручил Андрею вести переговоры с фирмой, продававшей за границу военную технику, откопанную в болотах и музеях. Фирма платила полковнику за крышу и начисляла комиссионные. Ступневу следовало убедить фирму какое-то время платить полковнику вдвое больше, туманно намекая на необходимость некой услуги в будущем. А Андрей, переговорив, посмотрев на обшарпанный офис с компьютером и прокуренной секретаршей за ним и на то, чем эта секретарша занимается, на завтра явился снова. Охранник, квадратный громила с вросшим в спину затылком, открыл ему дверь и застыл, как мышь перед удавом, увидев круглую, порыжелую от частого использования дыру пистолетного дула.

Ступнев аккуратно прикрыл дверь и велел охраннику поднять руки. Повыше, над головой. Тот послушно поднял. Тогда Андрей ткнул ему носком ботинка в живот. Зашел в кабинет, за шиворот вытащил из кресла поперхнувшегося от ужаса главу фирмы и предложил секретарше быстренько оформить перевод всех активов фирмы на счет полковника во Внешэкономбанк. Секретарша, трясаясь, оформила. Через секунду после того, как она последний раз нажала на «Ввод», Ступнев ткнул главу носом в урну и второй раз ударил ногой в живот охранника, не ко времени вставшего с пола.

Дядя Иван после заплатил охраннику по две тысячи долларов за каждый удар и еще две – за то, что на опознании тот не узнал Андрея в длинном ряду представленных ему долговязых молодых людей. Не узнали Ступнева ни секретарша, ни глава. Им дядя в красках изобразил, что бывает с чересчур памятьливыми. А полковник после не продержался и недели. Конечно, он назвал перевод «грубой провокацией». Но заинтересовавшиеся вышестоящие быстро выяснили, что фирма, обвиненная полковником в провокации, буквально на днях продала за океан крупную партию военного антиквариата. Среди прочего – настоящий немецкий штабной «Шторх», выуженный из Березинских болот. И что сумма «провокации» исчисляется четырьмястами тысячами долларов, которые, придя на полковничий счет, в тот же час растеклись как песок, оставив лишь запись в секретном реестре. Если бы дядины люди не следили за процедурой, «провокация» быстро и безопасно сделала бы полковника на четыреста тысяч долларов богаче. Она, собственно, и сделала – но только очень ненадолго.

На площади Победы, куда Андрей, прихватив двоих из дядиного отдела, помчался по тревоге, забившаяся в истерике барменша выбила ему зуб и едва не сломала ребро, но Андрей всё-таки дотащил ее до машины. С дядиной подачи оперативную работу по делам Академии поручили именно ему, и он, морщась от боли в наспех залеченной челюсти, заталкивал в служебную машину перепуганных научных сотрудников и аспирантов. За мной

ему не обязательно было ехать самому – подчиненных хватало. Но Ступнев захотел поехать сам.

Я не помню, как очутился в камере. Очнулся я на узком, голом, пахнущем резиной топчане в крошечной темноте. Мне было очень больно и скверно. Едва пытался приподняться, начинало мутить. От всякого движения темнота наполнялась движением, неразличимым, черное на черном, но я отчетливо различал его – роение тысяч темнот, кружившихся вокруг тошнотворной каруселью. Меня забыли здесь, заперли в обитом резиной гробу. Я закричал, но с моих губ сорвался лишь хриплый шепот. Потом темнота взорвалась.

Заслонив рукой ослепшие глаза, я услышал знакомый голос.

– Доброе утро, – хрипло произнес Ступнев и кашлянул. – Не вставай. Выпей сперва. Вот, я тебе под спину подложу, так вот. Я тебе принес подкрепиться... Держи осторожнее... Оно не горячее, пей смело.

– Спасибо, – сказал я, осушив чашку.

Питье было солоноватое, теплое и густое – как кровь. Тошнота улеглась, очертания комнаты стали тверже, и тени перестали дрожать. Я различил лицо Ступнева – опухшее, асимметричное, в трехдневной щетине.

– Выпей еще, не торопись. Я поесть тебе принес, на подносе – всё для тебя. Только кофе мой. Я уже которые сутки только на кофе и держусь.

– Спасибо, – повторил я.

– Я хорошо представляю, что ты сейчас чувствуешь. Обычно мы к таким, как ты, подсадного сажаем. Дедка. Седенького, скрюченного, мягкого. Он покормит с ложечки, убаюкает, пот со лба вытрет, расскажет о тюремных горестях. И ему тоже рассказывают. Многие. И много. Я посоветовал к тебе не подсаживать. Сказал, бесполезно. Я ж тебя знаю.

– И я думал, что знаю тебя, – сказал я, нерешительно снимая крышку с кастрюльки. Оттуда с паром выкатился мясной, сытный запах. Я сглотнул слюну.

– Зелень тут еще. Бери, – предложил Ступнев. – Петрушка, лучок свежий. Я огурцов хотел раздобыть, но сейчас с ними трудно. В Город никого не пускают. Базаров нет, в магазинах – всё в полиэтилене, начиненное химией. Хлеб хороший, «Траецкий». Ты какой предпочитаешь, с изюмом или обычный?

– Обычный, – ответил я, прожевав. Сосиски были необыкновенно вкусные.

– Ешь-ешь, – сказал Андрей. – Майонез бери. «Памэкс-пикантный», неплохой. И хрен есть. С лимоном... Это хорошо, раз аппетит хороший. Значит, оклемался. Многих после «захода» начинают с капельницы кормить. А тебя я привез уже не в кондиции, как тут говорят... Тьфу ты, ты ведь не знаешь про «заход». Это стандартное начало разработки. Выясняют, на что клиент годится и как его доделывать. Так что поздравляю, ты легко отделался.

Ступнев усмехнулся.

– Да, наверное, – осторожно согласился я. – Я как-то уже не чувствую себя при смерти. Это, наверное, замечательно. А вот что потом?

– Потом докалывают, если на «заходе» сразу не раскололи, дорабатывают и формуют.

– Формуют??

– Готовят. Ты, наверное, догадываешься – судьбу большинства попавших сюда решает не суд. Особенно сейчас, в стране-то особое положение... Я был против того, чтобы тебя пускали на «заход». Но это неписанный закон. Исключений очень мало. Это – как учебка в армии. Иначе солдат – не солдат. Я с самого начала просил, чтобы с тобой поступили... индивидуально. Доверили мне. К сожалению, ко мне прислушались только после «захода»... Попробуй – тут еще бутерброды с сыром и ветчинкой. Неплохие, сам делал.

– Как всегда, нарезал хлеб ломтями в палец толщиной, – заметил я, проглотив очередной кусок, – А зачем я вообще вам сдался? Зачем и к чему меня готовить? Я же ничего не знаю. Я ни при чем.

– Ни при чем? – Андрей вздохнул. – К сожалению, при чем. И очень при чем. Тебя опознала барменша. Ты с приятелем сидел по соседству с тем типом, который стрелял в президентскую машину... Это не допрос, ешь спокойно, я тебя пока ни о чем не спрашиваю. Пистолет, из которого он стрелял, так и не нашли. Но когда машина ударила стрелявшего, пистолет должен был отлететь. Барменша вспомнила: твой приятель поднимал что-то из-под стола и запихивал в сумку. Это, конечно, само по себе ничего не значит. И то, что ты сидел и пил пиво по соседству с террористом, ничего не значит – мало ли там было людей. Пистолет исчез – мало ли кто мог его унести.

Но вот кое-что еще... совсем недавно на одном, скажем так, болоте произошла перестрелка. Кого и с кем – неважно. Были жертвы. Среди прочего, там нашли одну очень приметную гильзу от патронов, которые были в том самом пистолете. А чуть поискавши – пульку к ней. Представь, она засела в моторе бульдозера, пройдя перед тем сквозь одного тамошнего лейтенанта милиции. – Ступнев усмехнулся невесело. – Ну так вот, мы немного пошерстили твоих знакомых. И наших тоже. Выяснили, с кем ты пил пиво на площади. И вот этого самого твоего тезку, оказывается, видели и опознали. Он был на том болоте. И исчез после. Вместе с пистолетом... И еще.

Андрей вытащил из кармана клочок бумаги, запакованный в полиэтилен:

– Узнаешь?

– Да, – ответил я, глядя на нацарапанные угольком цифры. – Эту бумажку мне дала... знакомая девушка. Рыся.

– Знакомая девушка Рыся тебе дала телефон штаб-квартиры «Белого легиона». Военизированной, имеющей оружие и весьма активной молодежной организации. Сейчас «легионеров» отлавливают по всей стране. Подозреваемые номер один – именно они.

– Это же просто нелепое совпадение! – крикнул я.

– Да, совпадение. Вся наша жизнь – череда совпадений. Ты, конечно, не террорист. И даже не борец за свободу. Я тебя хорошо знаю. Дело в другом. Ты – идеальная кандидатура. И резервная, и основная. Ты ведь понимаешь, что в преступлении такого масштаба должны быть виновные? Должен быть заговор, террористы, пособники, связи с зарубежными разведками. Кстати, ведь Слепчин должен скоро прилететь из Нью-Йорка?

– Через две недели, – ответил я, облизнув пересохшие губы.

– Вот видишь. Еще кто-то – я его не знаю – к тебе из Гамбурга собирается. По-моему, родной брат твоего тезки. И походы: в последнее время ты зачастил на Кавказ. Понимаю – туда дешевле. Но – ведь Кавказ. Ваххабиты, автоматы, джамааты... Совпадения, совпадения.

– Что же мне делать, господи ты боже мой? Ты ведь меня пугаешь, скажи честно, пугаешь? Что делать-то?

– Участковые на это обычно отвечают, что чистосердечное раскаяние смягчает вину, – ответил Ступнев серьезно. – Но в наших условиях это, мягко говоря, цинизм. Я знаю, ты не террорист. Но всем, кроме меня, это не интересно. Ты – подходишь. И потому ты им станешь, хочешь ты того или нет. Так вот, я здесь, чтобы ты захотел.

– Я? Захотел? Я... я не понимаю.

Андрей поморщился:

– Тебя всё-таки здорово отделали. Я думал, ты успокоишься быстрее. И начнешь думать спокойно. Нам тебя нужно предъявить всем интересующимся – начальству, шишкам сверху, газетам, наконец, – как террориста. Мало того – чтобы и в нашу разработку – а в ней еще многие, помимо тебя, – ты входил плавно и легко. Ты – один из ее краеугольных камней. Потому тебя обязательно будут формировать. Воспитывать. Что бы ты ни говорил, ни делал – не важно. Воспитывать будут всё равно. Есть программы, проверенные способы. Террористом ты станешь. И вести себя будешь, как пойманный террорист, и говорить. Вопрос в том, как и каким ты к этому придешь.

– Я не террорист, – вспыхнул я. – И никогда им не стану.

– Я знаю, ты попытаешься сопротивляться. Из всех сил. Потому и пришел к тебе. Мне не совсем безразлично, каким ты придешь к финалу. Ты можешь вполне благополучно

пережить формирование и остаться здоровым физически и душевно. Пожертвовать несколькими месяцами жизни – и продолжать ее. Пусть не так, как раньше. Но всё же полноценно.

– С клеймом уголовника и бандита на всю оставшуюся жизнь?

– С репутацией пламенного борца за свободу, если хочешь. На всю оставшуюся жизнь. Но можешь пережить формирование и неблагополучно. И тогда... мне не очень хочется рассказывать про то, что тогда... Тыфу ты, кофе мой совсем остыл.

– А почему я должен тебе верить? – спросил я. – Тому, прежнему, Андрею я когда-то верил. Может, поверил бы и сейчас. А нынешнему... ты ж меня колешь. Как тот скрюченный дедок.

– Колю, – согласился он, отхлебывая кофе. – А как иначе? Но ради чего и как – подумай. Конечно, нам будет легче, если ты добровольно и в здравом разумении пойдешь под формовку. Но взамен ты получишь намного больше, чем дашь нам. Взамен ты получишь себя. Ты никогда не думал о том, что умение сложить два и два – это замечательное, великое умственное достижение человека? И что умение запомнить три слова подряд, удержать в памяти увиденное пять минут назад лицо – это удивительные, прямо-таки волшебные свойства нашего мозга?

...Знаешь, я и не надеялся, что тебе будет достаточно моих слов. Поэтому я попросил разрешения показать тебе кое-что. Показать, чем ты можешь стать и чего лишиться. А лишиться ты можешь очень многого и очень легко. Поверь мне. Я видел тебя на «заходе». Как ты качался на стуле и мычал. По тебе текли слюни. Досюда, – Ступнев показал пальцем на живот, – много слюней.

Я вздрогнул.

– С тобой «заход» не доработали – следовательно испугался. Если б он тебя испортил, ему б влетело по первое число... Ты сейчас отдыхай. Доешь спокойно и ложись. Я приду через пару часов.

Когда Ступнев закрыл за собой дверь, в комнате остался свет. Неяркий, желтоватый. Он шел из-под пластинки матового стекла, вделанной в стену над дверью. Вся моя комната была черной, залитой пыльной, серо-черной резиной. Узкий ящик кровати. Круглая короткая резиновая труба параша в углу и выпуклость перед ней – рычаг слива. Всё. Еще столик на колесиках и поднос на нем. На подносе лежала и свежая газета – как ни странно, оппозиционная, одна из немногих незакрытых до этого времени. Но читать я не смог – буквы скакали перед глазами.

Над тем, что сказал Ступнев, я не задумался. Я ему поверил. Уж чем, не знаю: разумом ли, нутром ли. Честно говоря, мне показалось, будто кроме нутра у меня ничего в особенности и нет. А при нем – тупая боль, ломоть в затылке и висках, теплая, тяжелая сытость в животе. И зыбкий, подрагивающий перед глазами мир... Ну и черт с ним, с миром этим! Я поел, отдохнул, а главное, успокоился, как это ни странно было в обшитой резиной тюремной камере. Жив курилка! Мне даже захотелось выкинуть какое-нибудь коленце, колесом пройтись, что ли, или на голову стать, просто от удовольствия, что живой.

Но вдруг подумалось: несмотря на то, что стены и потолок вроде гладкие, сплошные, в них должны быть и замаскированные камеры, и микрофоны. Меня ведь должны и прослушивать, и просматривать. Наблюдать за мной. Держать объект разработки в поле внимания. Мне представились взгляды, ощупывающие меня, хватающие, тянущие, жадные, липкие. Изучающие, как я ворочаюсь, как, уркнув желудком, выпускаю газы, как ковыряюсь в носу, почесываюсь. Скребусь в потном паху. Онанирую. Они всё это изучают, записывают. Стараются. Я захохотал, трясясь животом, выхаркивая капельки слюны и застрявшие между зубов клочки сосисок.

Я хохотал до бессилия, содрагаясь, колотя пятками о резину, складываясь пополам, пока не свалился в изнеможении и не заснул. Разбудил меня Ступнев. С ним в дверь зашел еще кто-то незнакомый, забравший поднос, а Андрей присел на краешек кушетки и легонько

постукал меня по колену газетой.

– Поднимайся, – сказал он. – Пойдем.

Я встал, и мы вышли в коридор – узкий, окаймленный связками труб и кабелей, с забранными решеткой люминесцентными лампами на потолке. Длинный, холодный, уводящий вниз тоннель.

ПАТРОНЫ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ: ВОЙНА

Лето пришло злое. Иссущающая, безжалостная жара, сворачивавшая молодые листья и ломавшая траву, сменялась короткими яростными ливнями, после которых всё начинало неистово рваться из земли. Как в пустыне, где умирают от жажды, где от соленого едкого ветра мертвеет и лопается кожа, а на следующий день после внезапного дождя можно утонуть в несущихся по ложбинам потоках грязи. Кюветы и обочины зарастали жесткой, рвущей ботинки травой, корни пучили асфальт автострад. Лето было чужим.

По автострадам ночами шли колонны машин, ревели, чихали копотью дизеля. Ночные электрички загоняли на запасные пути, а по освободившимся путям шли эшелоны, платформа за платформой с серо-зелеными стальными тушами. Страну лихорадило. Куда, зачем – никто не знал наверняка, один слух сменялся другим, еще более тревожным. Люди покидали большие города, а жители деревень закапывали ценное в подполах и сараях. Военные городки замерли в ожидании тревоги, вдруг снимались, повинувшись внезапному ночному приказу, в суматохе, оставляя ломаные машины, ехали, волокли за собой пушки, а спустя несколько часов останавливались, ожидая приказа, которого так и не поступало.

Откуда пополз *этот* слух, точно неизвестно – из города ли, когда-то первым увидевшего в утреннем тумане мышастую полевую форму вермахта, или с северо-запада, из озерного края, где война застряла, тлела дольше всего. Достоверно одно: кто-то из тех, видевших своими глазами, ощутивших своей кожей, вспомнил. И назвал. И все вдруг поняли, что это и есть она, жившая столько времени на закрайках памяти, воскресавшая в детских играх и пришедшая вместе с летом первой своей ярости.

Моторов сперва не было слышно. Из-за холма поднялись столбы пыли, плотные, клубоватые. Рев ударил по перепонкам, когда машины вышли на вершину холма. Покрытые пылью, приземистые. Ветер стих, исчезли вообще все звуки, исчахла струйка песка, сбегавшая с края окопа, замерли даже судорожные толчки крови в висках. Рев заполнил всё вокруг. Они были непомерно большие, многогранные, приплюснутые, вспахивающие поле чудовища. В окопе у края леса кто-то не выдержал. Выскочил, побежал, сгибаясь, к спасительной гряде деревьев. Сквозь рев прорезался обрывистый, сухой пулеметный лай. У окопа, впереди, позади, взметнулась пыль, побежала, догнала, сшибла с ног, закувыркала. Но почти тут же из леса ударили гранатометы, и, развалив скрывавшую его заросль, зашевелил длинным хоботом танк. Второй слева бронетранспортер взорвался перегретой консервной банкой. Два центральных встали, будто уткнувшись в невидимую стену, из верхних, из задних люков посыпались одетые в черно-пятнистое солдаты. Разноголосе застучали автоматы, прижимая их к земле.

Последней подбили БМП, жавшуюся к лесополосе. БМП делают для разведки и маневра, ей не нужно разворачиваться, можно просто дать задний ход, но ее командир решил выстрелить в ответ, машина приостановилась, крутанув башней, и получила под нее трехдюймовую бронебойную болванку. Оставшиеся уже не останавливались, нырнули в клубы поднятой ими же пыли, скрылись за холмом. С того момента, когда они слитной ревущей шеренгой вышли на вершину холма, не прошло и пяти минут.

Дима прожил эти пять минут, вдавившись спиной в сухую землю на окраине леса, сидя на корточках в наспех отрытом окопе. Когда бронетранспортеры выскочили на холм, он как раз доставал очередную сигарету.

Когда-то вместе со старшим братом Дима попал на байдарке в плотинный слив, в узкую трубу, выплескивающуюся двухметровым водопадом. Байдарка прошла, не перевернувшись, проскочила через грохочущее мгновение, а уже у берега Дима попытался встать – и не смог. Закричал от боли в стиснутых дюралем ребрах. Он продавил спиной фанеру сиденья, вымял, выломал шпангоут и застрял между его раскоряченными обломками. А сейчас почувствовал камешки, острый, упершийся между лопаток корень, только когда утих, исчез за холмом рев дизелей и веснушчатый Павел, простодушно улыбаясь, оторвал от плеча приклад.

– Круто шли, – сказал он, потянувшись. – Как в сорок первом.

Вверх по склону холма убегало несколько черно-пятнистых. По ним уже не стреляли.

– Огоньку? – спросил Павел.

Дима вдруг понял, что держит во рту сигарету, которую так и не успел зажечь.

– Угу, – промычал он.

Павел извлек из кармана зажигалку, щелкнул.

– Дубы. Без охранения, без разведки. На ура хотели взять.

– За чем шли, того и навалило, – отозвался Сергей. – Начальник, сигареткой не угостишь?

– Курить вредно. А вашему брату особенно, – заметил Дима, ухмыльнувшись, но сигарету протянул.

– А мы разок только. После дела можно, – сказал Сергей, жадно затянулся раз, другой.

– Что да, то да, нервы накручивает. Не хуже кислоты. Правда, руки от нее не трясутся.

– Это у кого трясутся? У меня, что ли?

– Э, Серый. Не заводись. Тебя сейчас еще трясет. Вот вытяни руку, вытяни.

– Да не трясется нисколько, – сказал Сергей неуверенно, вытянув руку.

Действительно, рука почти не тряслась.

– А вот у меня трясется, – признался Павел. – Мать ее. Черт побери, первый раз в жизни танковую атаку отбивать пришлось. Представляю, что черножопые в Чечне чувствуют, когда на них прет танковый полк!

– Ладно, хлопцы. Пора смотреть, что там шевелится, – сказал Дима хрипло, стряхнув пепел. Выпрыгнул из окопчика, поморщившись от боли в затекших ногах, и пошел к лениво чадающим бэтэрам. С другой стороны, от кустов, где стояла закрытая ветками «Пантера», к подбитым тоже шли – настороженно, с оружием на изготовку. Дима разглядел среди идущих толстого Федора Степаныча с неизменным «дегтярем» наперевес.

– А начальник-то – монстр, – заметил Сергей, наблюдавший, как Дима подошел к крайнему бронетранспортеру и потыкал носком лежащего подле солдата. – Сидел, башку высунувши, сигаретку жевал. Как всю жизнь под танками.

– Может, так, – пожал плечами Павел. – А может, и не совсем так. Монстр-то он монстр, да только часто бывает, что трясоти начинается после. И как трясоти. Страх самый – он часто только потом и догоняет... Что-то быстро он из окопчика выскочил монстр твой. Видать, приспичило.

– Приспичило, наверное. И от большого страха пошел жмуриков пинать... Ты сам в следующий раз попробуй, когда ручки затрясутся. Говорю тебе, монстр. И не х...й валить на него, если сам соплю распустил.

– Монстр так монстр, – согласился Павел. – Мне-то что. Не кипятись.

Павел был прав: Дима выскочил из окопа именно потому, что почувствовал накатывающий страх. В пяти минутах танкового рева для него попросту не было места – а сейчас он догнал. И глядя, как Сергей смотрел на свою подрагивающую руку, Дима понял, что его сейчас начнет колотить до зубного стука. Потому и выскочил и пошел, нашаривая торчащую из кобуры рукоять. Не хотел, чтобы видели. Особенно Павел. Скользкий он, этот Павел. Что именно на уме, непонятно. Но делает, что скажут, без лишних вопросов. Конечно, покамест альтернатив немного – или возможность еще погулять под солнышком, или мешок под слоем бетона в фундаменте чьей-нибудь дачи. А к своим не сбежишь так вот

запросто. Нет у них теперь своих. Если вернуться в «эскадрон», без расспросов не обойдется. С пристрастием расспросов. Их хозяин неудач не прощает. Но слишком уж быстро Павел согласился. Вот Серый вначале материл и плевался, а теперь смотрит, как пес на хозяина. Неловко даже... Пистолет наконец вышел из кобуры. Можно было и не вытаскивать – если кто-нибудь хотел выстрелить, уже выстрелил бы.

...Дима первый раз видел, как броню раздувает от взрыва. Нелепое зрелище. Металлолом. Вдвойне нелепое оттого, что минуты назад чуть не наложил в штаны от ужаса. В армии видел, как на окопы накатывает танковый ромб. Но там, хоть и страшно, знал – не настоящее, не верил. Кино с запахом и миллиграмм адреналина. А тут...

Солдат лежал метрах в трех. Ничком, накрыв собою автомат. Наверное, выпрыгнул из верхнего люка – и под очередь. Бронежилет не помог. Дима трясущейся рукой вынул сигарету из рта, тряхнул, сломал в пальцах, чертыхнулся – окурок обжег ладонь. Интересно, куда его? Ногой подцепил плечо, перевернул – и замер, стараясь унять подкатившую тошноту. Лица не было. Пуля вошла под каску, оставив незаметную, крохотную дырочку, а на выходе вырвала челюсти, нос, глаза, вывалила мозг черно-багровой студенистой грудой, а вместо лица – красная яма с белесыми обломками кости по краям.

– Что, знакомого увидал? – спросил подошедший Федор.

Дима повернулся к нему.

– Ты че? – спросил Федя, – Первый раз, что ли, видишь? Это он от станкача поймал так, что башка лопнула. Обычное дело... Э, ты полегче дулом тряси!

Дима заставил себя отвернуться, вложил пистолет в кобуру.

– Что, проняло? Это по первому разу всегда так. Пройдет. Тяпнешь вечером, и всё... Пошли, хули тут тыкать. Сплошь жмурики, – сказал Федор, нагибаясь и вынимая из рук мертвого автомат. – Пошли. Матвей Иваныч приказал всё собирать и срочно сматываться.

То, что подошло время проверки на прочность, стало ясно еще за день до стычки на поле, когда двоих оршанских, из старой команды Матвея Ивановича, на базаре вдруг ни с того ни с сего взяла милиция. Не местная – областная, сноровистая, подскопившая с двух сторон, расшвыривая лотки с тряпьем, сразу уложившая наземь, сцепившая руки наручниками.

Их машина, новенькая «Газель», стояла за оградой, скрытая киосками и от базарных ворот совсем незаметная. Дима и Павел как раз зашли тогда на базар за сигаретами. Приезжие работали быстро, и, если бы не развернули прилавок у голосистой торговли, похожей на запихнутый в китайскую кофту штрудель, Дима так ничего бы и не заметил и не услышал.

Базар – ряд за рядом галдящих, торгующихся. Со стоек навеса свисают картонки с бижутерией и поддельными противосолнечными очками, кроссовки воняют пластмассой, все лузгают семечки, под солнцем калятся бутылки с колой, глянцевиные вискозные лифчики, носки, кошельки и презервативы. Недорого, подойди, хлопче, за три с половиной дам, дешевле не найдешь. Сигаретами торговали обтрепанные, тихонькие бабульки с торбочками, из которых торчали старые газеты. Подходи, спрашивай. Только нужно знать, что сигариллы называются «американскими цигарками». А «LM» разве не американские? Что ты, хлопчик, с луны свалился, да за американские ты б зарплату отдал. Те, что подороже, поляки делают, мы ими не торгуем. А эти «LM» наши, дешевле. «Наши – это чьи?» – осведомлялся заинтригованный Дима. «Наши, наши, хорошие, – успокаивала бабка, шаря узловатой рукой в торбочке, – может, сынку, блок возьмешь, всё старой легче будет».

Дима взял в одну руку блок, второй протянул деньги – и в этот момент раздался крик. Пронзительный, набирающий высоту и силу, как вой сирены. «Наши», – сказал Павел и побежал. Дима увидел сквозь ряды пятнистые комбинезоны, выронил блок, бросился следом. А когда прибежал, пропихнулся сквозь толпу, увидел и лежащих лицом вниз арестованных, и окаменевших милиционеров в пятнистых комбинезонах, и Павла, огромного, широко расставившего ноги, с раскрытой книжечкой-удостоверением в одной вытянутой руке и

пистолетом в другой.

Дима выхватил пистолет, стал рядом. У троих были автоматы – через плечо, стволами вниз. Один был с двумя пистолетными кобурами. Павел, встряхнув книжечкой, повторил:

– Охрана президента! Ваши документы!

А Дима, опустив пистолет, шагнул к окобуренному и чугунным голосом потребовал:

– Ваше имя и звание?

Увидев замешательство на лице, приказал Павлу:

– Отставить.

Павел послушно опустил пистолет. Окобуренный, скосив в сторону Павла глаза, поспешно ответил:

– Капитан Зинченко, могилевский особый отряд ОМОН.

– По чьему приказу вы задерживаете сотрудников охраны президента?! – выкрикнул Дима. – Ваши документы!

Капитан заколебался, скользнул взглядом по пистолету, черным очкам, зацепленным дужкой за карман рубашки. Уже потом, много позже, возвращаясь в тряском «уазике», Дима подумал, что капитану в этот момент достаточно было просто махнуть рукой, и тогда они остались бы в живых, только если бы Павел оказался быстрее. Но он оказался бы быстрее. Точно.

Павел равнодушно смотрел перед собой, сощутив глаза. Спокойно, расслабленно. И пятнистые смотрели на него, окаменев, как мыши на удава, потев от страха. Потому капитан не махнул рукой, он сунул ее в нагрудный карман и вытянул удостоверение. Удостоверение Дима, не глядя, сунул в свой карман, приказал поднять и освободить лежащих. А потом явиться в райотдел милиции за дальнейшими распоряжениями.

Матвей Иванович выбрал Сергей-Мироновск, потому что здесь у него были старые связи и верные люди. И в райотделе милиции, и в местном КГБ. Те, кто в свое время не выдержал гонки и остался на вечных вторых ролях. Матвей Иванович не забыл их и, в отличие от почти всех прочих коллег, регулярно навещал, привозил новости, подкидывал работу. Связи подобного рода были у Матвея Ивановича повсюду, но в Сергей-Мироновске он привык чувствовать себя особенно уютно. Тут доживала свой век пара старых друзей, тех, с кем он когда-то начинал, с кем партизанил под Оршей и Бобруйском. Вся городская верхушка была их родственниками и свояками, явление для страны не такое уж и необычное, несмотря на имперское обыкновение стирать всё старое и перекидывать людей с места на место.

В провинциальную глушь никто в особенности не стремился, и в крошечных местечках, основанных еще при Гедиминовичах, власть часто переходила из поколения в поколение тех семейств, которые и получили ее пару-тройку столетий назад. В свое время Матвей Иванович немало удивился, обнаружив, что в Орше из одной и той же семьи выходили городские головы, хорунжие, главы магистратов, бургомистры а потом и председатели советов и горисполкомов. Иногда на самом верху бывали и чужие, но власть оставалась у кланов – они держались чуть ниже верхушки, помы и замы, вторые и третьи, остававшиеся на своих местах при всяких громах и молниях сверху, приходившихся на главное руководящее лицо.

Сергей-Мироновск Матвей Иванович считал безоговорочно своим. Потому, когда «уазик» с Павлом, Димой и двумя измазанными подсыхающей грязью оршанцами прибыл на машинный двор, он встревожился не на шутку. Принялся наводить справки и принимать меры. Часов около трех на кашляющей «Волге» припылил глава районного отделения КГБ, а потом на десятилетнем «форде» – президентский «вертикальщик»: главная теперешняя власть в городе, вместе с замом начальника милиции. Сам начальник долго извинялся по телефону, что приехать не может – ему нужно разбираться с гостями из области, хозяйничающими в отделении, как у себя дома.

Разговор был долгим, осторожным, неприятным. «Вертикальщик» бледнел и краснел,

вертя в руках мобильный телефон. Глава КГБ угрюмо смотрел в стол, позабыв дотлевающую перед ним в пепельнице сигарету. Они не хотели соглашаться, они ничего не хотели – только чтобы Матвей Иванович со своими танками и до зубов вооруженным мужичьем убрался подальше, чтобы не было его вовсе, и все разом забыли, и всё бы стало, как раньше. Но они не понимали, что происходит в стране и у них в городе. Они смертельно боялись Матвея Ивановича, боялись тех, кого воображали стоящими за ним.

Главе пришел секретный приказ из центра – какого именно, он перестал понимать еще с поздних имперских времен, да и не пытался, здоровья ради, – не препятствовать Матвею Ивановичу и войти с ним в контакт, «сохраняя дистанцию и предотвращая нарушение законности». Каким образом можно предотвратить нарушение законности партизанским батальоном с танками и артиллерией, глава не представлял. Про приказ он Матвею Ивановичу не говорил – но тот сказал ему сам. Даже сказал, когда этот приказ пришел. И рассказал, частью какого плана он является. Полковник слушал, мертвея от ужаса.

А зам, запинаясь, рассказал, какой приказ пришел им вместе с гостями из ОМОНа. А их полный автобус да еще «Газель». Всего десятка четыре. А если не удастся обезоружить наличными силами, подойдут войска. Матвей Иванович осведомился, какие же войска могут подойти. И знает ли зам, что войска идут сейчас большей частью в концлагеря вокруг Города или бессмысленно мотаются по стране, растрачивая горючее и остатки боеспособности. Что вся армейская верхушка, командиры дивизий и авиаполков арестованы, в Генштабе дежурит президентская охранка. Да-да, тот самый «эскадрон», с представителями которого ваши гости повстречались сегодня на базаре.

Хотите посмотреть? Посмотрите еще. Ребята что надо. Откуда? Оттуда же, откуда приказ на столе у товарища подполковника. Конечно, и у МВД войска есть. И у охренок свои силы. Только поймите одно – отсидеться не удастся. Всё, время юлить и сидеть между стульев кончилось. Эта страна покатила под откос. Теперь ты или «за», или «против». Как в войну? Да, как в войну. Не пристрелят красные, пристрелят черные или зеленые. Как и тогда, выжил тот, кто сам начал стрелять. Мы – начали стрелять. И мы выживем. Во всяком случае, многих переживем. Глава и «вертикальщик» испуганно переглянулись. Так вы с нами или против? Вам помочь избавиться от гостей?

– Историчность момента требует, – заметил Матвей Иванович, подождав, пока гости нерешительно закивают, – сказать, что Родина вас не забудет. За всю Родину я вам не скажу. Но уж наверняка не забуду вас я. И те, кто со мной.

Назад гости ехали с эскортом из грузовика, двух «УАЗов» и «Пантеры». Встречные машины сворачивали на обочину и глушили мотор. «Пантера» шла первой. Под ее гусеницами крошился асфальт.

В одном из «УАЗов» тряслись Дима с Павлом и Сергей. Его Дима решил взять в самый последний момент, почти не раздумывая, глядя на разномастную орду в тельняшках, майках и «афганках», загружавшуюся в грузовик. Сказал Павлу: «Подожди», пошел в оружейню, потом к закутку, где держали обоих Сергеев, здорового и раненого, открыл дверь и велел: «Пойдем». Уже в «уазике» Павел ткнул в руки не успевшему опомниться Сергею бронежилет и «винторез». Обронил, передвинув сигарету в уголок рта: «Некогда. На ходу наденешь».

Как неслось это время! Яростное, веселое, пьяное. Прошлая жизнь, еще цеплявшаяся за пуповину, ушла без остатка, потерялась, зарылась в пыль за поворотом, развеялась ветром. Мы проживем сегодня, а завтра будет завтра, потому что мы молоды, сильны и бессмертны, а смерти мы не заметим, потому что нет ее, смерти, смерть – это с другими. И брызжет из-под колес песок, и звенят по асфальту гильзы, и под ногой вдребезги разлетается хлипкое дерево дверей.

Кроша бетон, страшно поводя длинным хоботом, на площадь вломила «Пантера», и из низкого, крытого ржавым железом здания высыпали перепуганные человечки с задранными руками. Их скопом будто овец, загоняли в подвалы, запирали. Понеслись по

улицам, удирая, машины и тыкались с визгом в бордюр, вихляя на прожженных очередью колесах, и осыпалось битое стекло.

Дима тогда догнал свое бессмертие до последней, предельной точки, но страха не было, страх отстал, не успел за воющим от натуги мотором. Прижавшись к бетону стены, Дима подумал: сантиметром правее или долей, десятой долей секунды раньше, и очередь прибила бы его к земле, как бабочку, – россыпь кровавых брызг. Они гнались за удиравшим омовским начальством, на самой окраине догнали, разодрали очередями шины, погнали их, выскочивших из покалеченной машины. Загнали на заброшенную стройку, за толстый бетон, и сами чуть не попали под автоматы, выскочив с разбега на заваленный битым кирпичом пустырь. Бежать дальше было некуда, дальше было поле, пустое, выжженное солнцем. Но, выскочив, закатившись за груды мусора и кирпичных обломков, охотники сами стали дичью. При всякой попытке высунуть нос в ответ грохотало и летели кирпичные брызги. Тогда Дима, пьяный адреналином и веселой злостью, крикнул в ватную послеавтоматную тишину:

– Капитан, эй, как тебя, Зинченко, что ли? Хочешь назад свои корочки?

Ответ простукало очередью – короткой, экономной.

– Не дури, капитан! – крикнул Дима. – Или тебе захотелось геройски кончиться? Через пару минут сюда подоспеют наши с гранатометом, и тебя запекут в твоей бетонной конуре, как зайца в соусе. Кидай железо и выходи – обещаю и корочки, и бесплатное пиво.

Капитан выкрикнул ругательство.

– Хамло ты, товарищ капитан! – отозвался Дима. – И дурак к тому же! За что собираешься подыхать? За двести долларов зарплаты в месяц? А мы тебя не тронем – зачем нам? К твоим тебя отвезем, пивом угостим. Бросай дурить, выходи! Если сам решил накрыться, зачем ребят гробить? Хоть тех, кто с тобой, отпусти!

Тут раздался другой голос, вылаявший матерщину, и, едва услышав, что голос – не капитанский, Дима метнулся, прыгнул, как лягушка, к близкой двери, вскочил на ноги, вжался, инстинктивно зажмурившись, – пуля шваркнула по бетону над самым ухом.

Отдышался, прошел вдоль стены – всё, глухая стена и сбоку, и сзади. И голое поле. Мышеловка. Славная бетонная мышеловка со стенами в полметра толщиной. И? Что теперь? И тут Дима вынул из пистолета новый магазин с обычным тридцать восьмым калибром и сменил на тот, прежний, с разрисованными пулями. Набрал в легкие побольше воздуха и заорал:

– Э-эй!! Слышите меня? Бросайте оружие и выходите по одному!

Из-за бетона донеслась приглушенная матерщина.

– Вы, дятлы болотные, считаю до трех! Раз, два, три!!

Он отступил на два шага от стены, поднял пистолет и выстрелил. Пару секунд было тихо, потом – Дима инстинктивно бросился наземь – с той стороны в стену врубилась очередь. Длинная.

– Что, отстрелялись? – крикнул он, поднявшись. – Или опять будете из ваших дохлых пугачей полметра бетона дырывать? Ну??

За стеной молчали. Тогда он выстрелил снова. И еще раз. Из-за стены закричали: «Не стреляйте!!! Мы сдаемся, не стреляйте!!!»

Дима отошел назад, к проему, откуда виднелся засыпанный битым кирпичом дворик.

– Выходите по одному! Без оружия! Медленно идти вперед! По моей команде ложиться лицом вниз!

Как только первый лег лицом вниз и показался второй, Павел с Сергеем, будто чертики из коробочки, прыгнули в разные стороны. Сергей – к Диме, а Павел – назад. Вторым по Диминой команде лег лицом вниз, за ним и третий. Четвертый, сам капитан, появился, схватившись рукой за простреленный локоть. Его укладывать наземь не стали. Его отвели в машину, отвезли в город, перебинтовав локоть, вместе с прочими заперли в милицейском подвале. Дима, исполняя обещанное, принес ему корочки и бутылку хорошего хохляцкого пива.

На площади разожгли костры – чадные бочки с керосином, старыми шинами и ветошью. По стенам, по лицам людей плясали блики. Люди передавали кружки и бутылки, смеялись, хлопали друг друга по спинам. С темной громады танка, стоящего посреди площади, в небо бил прожектор. Вертикально вверх, столб, огромная колонна посреди укрытого темнотой города. На площади собралось много людей. Днем стрельба и гусеничный лязг напугали их, но с темнотой, скрытной, надежной, они стали собираться на площадь отовсюду. Их никто не останавливал, не спрашивал, кто они. Пришедшим, не глядя, протягивали кружки. Мятые жестянки с вином, разбавленным спиртом, блуждали от руки к руке, ото рта ко рту. Откуда в них бралось жгучее пойло – в темноте было не разобрать. Может, пьяное, горячее дыхание снова превращалось в спирт.

Столб света притягивал взгляды, как магнит, бережил, гипнотизировал. По площади волнами прокатывался гул, затихал, отражался от краев, бежал обратно. Когда, что? Скоро, да, скоро. Что скоро? Смотри, смотри – вон? Что? Нет, вот!

Когда в столб света шагнул человек, по площади прокатился вдох – синхронный вдох сотен глоток, оборвавший все разговоры, накрывший площадь тишиной.

– Братья, – начал человек негромко, – братья, мы долго терпели. Нас грабили и унижали, нам не давали работать и жить. Хватит. Вы знаете, что было сегодня здесь. Знайте – это происходит сейчас по всей стране. С нами солдаты. С нами милиция. С нами люди – все, кто хочет. Всякий мужчина, пришедший завтра утром на эту площадь, получит оружие – и сможет защитить себя, своих близких и свою страну.

Человек замолчал, вслушиваясь в начавшую оживать темноту перед собой. Встревоженный шепоток, кашель. Распёртое изнутри молчание, напряжение, подогретое водкой и ночью, растущее, опасное. Когда оно доросло уже почти до точки взрыва, до момента, когда площадь превратится в разноголосый хаос, человек взорвал его сам. Он изо всех сил крикнул в темноту:

– Братья! За Родину!!

И с площади выметнуло криком. Люди кричали, трясли кулаками. От танка ударили в воздух из автоматов, пустили сквозь столб разноцветные дорожки трассеров. Площадь ревели.

Никто уже не заметил, как исчез стоявший в столбе света человек. Матвеем Ивановичем помогли слезть с башни «Пантеры» и, поддерживая, довести до машины. Он очень устал за этот день. Ночевать он остался в городе, в ратуше, бывшей когда-то и бургкомиссариатом, и райкомом партии, на старом кожаном диване. Засыпая, он слышал крики, хохот и стрельбу на площади.

Матвей Иванович не ждал, что назавтра явится много пригодных к делу добровольцев. Он слишком хорошо знал свою страну и ее людей. Если бы произошло чудо и явились бы все мужчины Города, их попросту некуда было бы деть и нечем вооружить. Но чуда не произошло. Пришло человек сорок – среди них с дюжину надеявшихся похмелиться с утра на дармовщинку, почти все остальные – юнцы от тринадцати до восемнадцати. Единственным ценным пополнением оказались трое безработных офицеров-отставников. Их отвезли на базу. Мучимым похмельем дали пива и велели подождать пару часов, пока разъяснится. Что именно, не уточнили. Как и ожидалось, минут через двадцать похмельные начали потихоньку разбредаться.

Юнцов Матвей Иванович не без ехидства препоручил Диме. Но тот разобрался с ними быстро. Их запускали по одному в комнату, где сидели Сергей с Павлом с «винторезами» наперевес и в бронежилетах, и Дима в черных очках, куривший толстую, сомнительную сигару, купленную с утра пораньше на рынке. На рынке царили страшная суматоха, столпотворение и ажиотаж. Всё съедобное, пригодное для питья и курения отрывали с руками, закупали всё подряд, будто на полярную зиму. Диме едва удалось найти бабку, у которой на дне обычно бездонной сумки хоть что-то оставалось. И заплатил он ей за две

отсыревшие старые сигары, как за блок «Мальборо».

Но зато сейчас он наслаждался жизнью и покоем, хотя и чувствовал себя так, словно его долго и сильно били мягкими увесистыми мешками. Мускулы болели. Болел бок там, где приложился об угол, на ребрах красовался крапчатый синяк, опухли костяшки пальцев – и где только угораздило? И голова болела. От головы отчасти помогла бутылка «Балтики». А сейчас помогала сигара. Димы пускал дымные кольца и, задумчиво глядя в потолок, велел очередному юнцу разобрать и собрать «Калашникова» – на время. Минута – время пошло! Не справился – вон! Сумели справиться с автоматом только двое. Что делать с ними, Дима никак не мог решить, но тут в комнату сломя голову влетел посыльный и прокричал тревогу.

В Городе оставили с полдюжины человек, присмотреть за делами и за запертыми омовцами – и помчались на машинах по пыльным проселкам на свою базу. Подхватили на ходу увешанных оружием людей, понеслись дальше. Копать окопы, забрасывать ветками громаду «Пантеры», прятать гранатометчиков. И ждать.

А потом, после минут грохота, рева и стрельбы, – стаскивать тела и собирать оружие. То, что осталось от омовцев, покатило назад – на северо-восток.

Генерала Шеина известие о стычке обрадовало. Теперь его план, его недавняя фантазия приобрела плоть и кровь, незыблемо и плотно угнездилась в реальности. Теперь у него появился настоящий, сильный, опасный враг, которого можно было показать всем, с которым можно было воевать, которого было бы почетно победить. Генерал Шеин как раз вернулся с совещания в верхах, где наконец-то смог утереть нос конкурентам и удостоиться похвалы от президента. Того появление открытых врагов очевидно обрадовало. Чтобы поправить дела, во все времена не было ничего полезнее маленькой победоносной войны – а тут за ней не пришлось никуда ходить. Скромная, приятная война – никакой партизанщины, диверсантов в лесах и землянках, настоящий мятеж, локализованный, уместяющийся в карандашное колечко на карте. Теперь, выждав немного, раздавить – и ликовать! После победы над врагами страна заживет лучше! Затянем пояс ради победы, вместе, в ногу, вперед! Врагу не сломить нас!

Сперва на совещании выступал коллега, глава республиканского Управления. Он долго и нудно распространялся о том, что природу, устройство и происхождение загадочной пули уже почти выяснили. Эксперты-следователи работают, зарубежные каналы проверяются, резидентура ворошит военные источники (Шеин с удовольствием отметил, что отец нации при этом поморщился – зарубежной части своих охранок он не доверял более всего, он вообще подозрительно относился ко всем, знающим больше двух языков). Произведены аресты, прослежены нити и связи, выяснена подоплека, и установлен состав террор-группы, небольшой, но очень хорошо подготовленной, непосредственно задействованной в покушении. Главные подозреваемые задержаны.

След ведет в Академию наук, оружие и деньги, по всей видимости, получены по каналам так называемых научных связей. Эта часть доклада Шеина слегка разозлила – обвинение Академии перед лицом отца нации было беспроектным ходом. Но что значил этот ход перед лежащим в его, Шеина, папке? Перед тем, о чем генерал сейчас собирался рассказать? Поэтому генерал даже позволил себе немного поиграть с соперником. Изображал на лице живейший интерес и озабоченность. Задал пару пустяковых вопросов.

А после встал сам и сказал: в стране началась война. С удовольствием глядя на изумленные лица, рассказал про заговор в армии, про происки генералитета, про тайные базы и склады оружия, про недовольство офицеров, про то, как армия воспользовалась неразберихой, возникшей с присягой, про разбазаривание запасов, про старые связи с ближайшим соседом, снова набравшимся имперских амбиций. Наконец, про штурмовые вертолеты, красочно описав все детали налета (приукрасив слегка для художественности). Объяснил, что они уничтожили всё, подчеркиваю, всё движущееся на кольцевой и вблизи, не упустили ничего, ни единой легковушки. Расстреляли из пулеметов, сожгли, взорвали ракетами. Отец нации вздрогнул. Но заговор обезглавлен. Да, обезглавлен. Напуганные

арестами и контрмерами, заговорщики предприняли отчаянную попытку бунта. Раскрыли себя раньше времени. Конечно, несмотря на преждевременность, они всё же опасны. Даже очень. Бунтовщиков следует уничтожить – в самом скором времени. И с этой целью он, генерал Шеин, просит подчинить ему часть войск Министерства внутренних дел и все спецвойска КГБ.

Доклад был триумфом. Коллега из республиканского сидел, сцепив руки под столом, и багровел. Разрешение отец нации дал – вместе с чрезвычайными полномочиями. Потому в свой кабинет в желтом доме на проспекте генерал вернулся в приподнятом настроении. Даже предложил заму, принесшему известие о стычке, рюмочку тридцатилетнего херсонского коньяку «Империял», конфискованного вместе с прочими жидкими редкостями на границе. И поморщился, когда зам, вместо того чтобы прочувствовать букет, окунуть нос в рюмку и изобразить блаженство, залпом выпил и угрюмо попросил разрешения идти. Настроение Шеина было настолько безоблачным, что он лишь махнул рукой. Иди, зануда.

Радоваться было отчего – теперь не казались эфемерными фантазиями даже те мечты, которым генерал предавался только наедине с собою, поздним вечером за рюмкой коньяку, наедине с зеркалом, за которым, он был уверен, торчал «жучок» прослушки. А мечтал генерал о том, чтобы ликвидировать армию страны как таковую, а боеспособные части передать силовым ведомствам. Управлению по Городу и области, например. Вертолетная эскадрилья второго оперативного отдела. Танковый ударный полк секции разработок. Или даже дивизия – а почему бы и нет? Конечно, войсками придется делиться, но всё-таки. Свои танки. Самолеты. Свое... Свой кулак. Крепкий, ошетилившийся стволами, укрытый броней.

В самом деле, зачем этой стране армия? Наследство имперских времен, обломок, почти ни к чему не пригодный. Воинская повинность – нелепость, толпы рахитичных недокормленных тупых недорослей – дорогостоящий, никчемный балласт. Чему их учить? Тем, кого всё-таки можно научить, нужно платить за это деньги. Деньги Управления, например. И учить тому, что нужно для поддержания порядка, – как этот порядок видит, например, Управление. И тогда у Управления будет сила, которую, лязгая гусеницами, можно будет в нужный момент вывести на улицы Города. Всё продумано, разложено по полочкам, осталась самая малость. И тогда... Тут генерал укротил расшалившуюся фантазию еще одной рюмочкой коньяку.

Ближе к вечеру генерал собрал у себя совещание – выслушать отчеты по плану «Гражданская». Замы и начальники отделов уселись за стол, положили перед собой папки и бумаги. Шеин обвел их ликующим взглядом – что-то маловато на ваших лицах, ребятки, радости. Улыбались только два молодых референта, сделавшие стремительную карьеру из президентского Союза молодежи. Хорошо, сейчас мы вас всех развеселим.

Генерал сдержанно, немногословно, но иронично, чуть-чуть приукрасив пару-тройку подходящих моментов, рассказал про совещание в верхах, про свой триумф, про то, что «Гражданская» практически удалась – осталось только немного подождать. Выпестовать зародившийся бунт, дать бунтовщикам возможность собрать сторонников – желательно с разных концов страны. Пусть одержат победу-другую, пусть напугают верхи. Мы же будем держать руку на их глотке и в нужный момент... Шеин медленно, со вкусом стиснул волосатый кулак. Торжествуя поспешил посмотреть на подчиненных – но ни радости, ни энтузиазма на их лицах не увидел. Только референты сияли, как два розовощеких подсолнуха.

– В чем дело? – удивился генерал.

Замы переглянулись. Один прокашлялся. Вынул из папки лист бумаги, зачем-то глянул на него, сунул обратно.

– Дело, э-э, в том, что мы... что мы не очень-то уверенно держим нашу, если можно так выразиться, руку на горле, – сказал он нерешительно. – А можно сказать, совсем не держим.

– Разве там заправляет не наш пенсионер? – спросил Шеин. – Кажется мне, не так давно я сам с ним говорил. На удивление здравомыслящий старик. Разве ваши люди не вошли с ним в контакт?

– Вошли, но...

– Какие еще могут быть «но»? – Шеин начал хмуриться. – Если вам кажется, что вас не поняли и не слушают, – так сделайте, черт побери, чтобы вас выслушали и поняли. Да эти горе-бунтовщики, копатели старых жестянок – разве вы не знаете, кто они и что они? Черт побери, да чем вы занимались все это время?!

Генеральские щеки начали багроветь.

– Конечно, конечно, – торопливо закивал зам. – Всё известно, да.

– Тогда вопрос закрыт. Я хочу, чтобы данные обо всех этих идиотах были у вас – в картотеке, в компьютере, чтобы вы вели учет каждого их новобранца, следили за каждым их движением. Это вас затрудняет? Затрудняет?

– Нет, – ответил зам.

– Чудесно. – Генерал хлопнул ладонью по столу. – Что у нас по армии?

– Ничего по армии, – ответил второй зам. – До сих пор – никакой зацепки.

– А допросы?

– Пустили по экстренной. И ничего. Совсем. На резервные материала набрали выше крыши. Но в реале – пусто.

– И по Генштабу, и по командирам дивизий?

– Ничего.

Зам замолчал.

– У вас всё? – спросил генерал холодно.

– Нет, – вдруг осмелел зам. – Вы не боитесь, товарищ генерал, что вам нечем будет подавлять ваш комнатный бунт?

– Как изволите вас понимать?

– Шесть из семи армейских дивизий мы обезглавили. Самые боеспособные их части сейчас раскиданы по стране – техника на севере, солдаты на юге. И наоборот. Железные дороги запружены составами. Так и предусматривалось нашими планами. Но в результате мы теряем контроль над частями. Мы теперь даже не знаем, где кто. Связь с большей частью агентуры потеряна. А оставшиеся доносят: войска крайне недовольны. Слухи про лагерь под Городом ползут. Обрастают по пути подробностями. Массовое дезертирство, а офицеры смотрят сквозь пальцы. Дисциплина падает. Это уже не войска – неуправляемые банды. Самая боеспособная часть седьмой дивизии, контрактники – почти все в лагере. Чем вы собираетесь подавлять бунт?

– Чем? – Шеин усмехнулся. – Вы, кажется, забыли, сколько у нас солдат – и сколько полицейских. Армия должна быть недовольной – и не стесняться проявлять свое недовольство. Иначе к чему весь наш сыр-бор? Нам дали три сводных полка войск МВД – великолепно вымуштрованных, со своей техникой, укомплектованные профессионалами. Нам хватит.

– Этих профессионалов сегодня отчехвостили.

– Кого? Провинциальный ОМОН? – Генерал презрительно усмехнулся. – И слава богу. Иначе пришлось бы играть в поддавки, чтобы обеспечить наших бунтовщиков хоть какими успехами.

– Товарищ генерал, – сказал второй зам, – ведь заговор действительно существует. Никто из нас уже в этом не сомневается. Как и в том, что заговор этот – не в армии.

– И где же он, по-вашему?

– А если он как раз там, где нам не позволено копать? Как раз в том, чем вы собираетесь подавлять бунт?

– Знаете, что делает паранойю болезнью? – спросил генерал. – Вера в нее.

Имперское шоссе за Городом блокировали. Посты стояли и у кольцевой, и с другой стороны, через километр от Города и через три. Подъезды перекрыли, пропуская лишь своих и, по ночам, фуры с арестованными. Ограду отремонтировали, днем и ночью обходили с собаками. Но слухи всё равно просачивались – и наружу, и внутрь. Каждое утро у первого поста за воротами лагеря собирались женщины. Они приходили из Города пешком, пожилые

и молодые, иногда с маленькими детьми, тащили сумки – с нехитрой снедью, сигаретами, газетами, носками и свитерами, аспирином и шоколадом, чаем, дешевым кофе.

Они спрашивали у часовых, у всех людей в форме, появившихся у ворот. Те отвечали хмуро: не знаем, и разговаривать не положено. Женщины просили передать, совали свертки через решетку ворот. Солдаты начинали кричать. Появлялся наряд, и женщин прогоняли. Они плакали, не хотели уходить, цеплялись за решетку. Наряду приходилось отдирать их, оттаскивать. Одна из женщин, звавшая сквозь решетку сыновей, забилась в истерику и расцарапала начальнику патруля лицо. Ее ударили прикладом автомата и сломали ключицу. После этого разгонять женщин приводили солдат с собаками – большими, остроухими, похожими на рыжих волков зверями, рычащими и роняющими клочья пены из пасти. Разогнав, солдаты подбирали валяющиеся на земле свертки и сумки. Ели сами и кормили собак. Сигареты забирал начальник патруля – курить на посту не полагалось.

Допросы в лагере шли круглые сутки. Камеры для допросов устроили в штабе, в диспетчерской, даже в пищеблоке. Допрос шел по конвейеру, по стандартному вопроснику из двадцати трех пунктов. Из каждой партии арестованных выбирали наугад человек двадцать и пускали на первый цикл. Из этих двадцати для доработки оставляли двух-трех наиболее перспективных, остальных отправляли в «банк» – в казармы или под навесы, растянутые на вбитых в землю кольях у окраины поля. Потом места стало не хватать, и арестованных просто выкидывали за проволоку, чтобы сами устраивались, где смогут, – под навесами, в переполненных казармах или просто на асфальте летного поля.

На поверку собирали дважды в день, выстраивали на поле, делали переключку и выдавали паек – полбуханки хлеба и миску супа. Привезенных не успевали регистрировать, поэтому хлеба хватало не всем. Арестованных не били – за исключением немногих, признанных перспективными для глубокой разработки. Но привозили нередко уже избитыми, иногда покалеченными – арестовывавшие особо не церемонились, им нужно было успеть за планом. Врывались по ночам в квартиры, в казармы, выволакивали, запикивали в машины, гнали через ночь. Ломали прикладами руки и челюсти. В лагере были врачи, но мало, потому что чужих, не из Управления, не допускали, и главной их заботой было следить за состоянием важных арестованных. Солнце палило нещадно, и над аэродромом висела вонь разлагающихся экскрементов и крови.

На третий день арестованные офицеры и контрактники взбунтовались. Часовые с северной стороны не сразу начали стрелять, и потому часть успела перелезть через изгородь и разбежаться. Но поймали почти всех – между ними и Городом стоял на позициях батальон спецназа. Трупы и тяжелораненых увезли, остальных захваченных за оградой загнали в отгороженный угол, на асфальт, без навесов. Кормить их стали раз в день.

Услышав об этом, Шеин приказал усилить «мобильную дезактивацию» – рассовывание войск по углам и полустанкам страны. Полки без машин и оружия высаживали на конечных станциях и отправляли дальше пешим ходом. Мотоколонны гнали до полной выработки. По норме мирного времени постоянно урезаемой из-за хронической нехватки в стране бензина и мазута, дивизия имела двенадцатичасовой ресурс. В реальности наличного запаса едва хватило бы на пять часов. Теперь его сжигали на бессмысленных марш-бросках по проселкам.

В Лепеле, на глухой конечной ветке, куда по недосмотру загнали сразу два полка, солдаты захватили вокзал и привокзальные склады, отогнали пытавшуюся спасти государственную собственность милицию и за ночь выпили вагон водки. Застрявшая в Мяделе танковая колонна захватила город – просто потому, что дальше двигаться не могла и никто не хотел кормить танкистов. В Хойниках, Ветке и Наровле загнанные в зону радиоактивного заражения войска развернулись и самовольно пошли назад. Их встретил спецназ, начавший стрелять без предупреждения.

Оставшиеся на местах дислокации части таяли на глазах. Арестовывали офицеров и прапорщиков, арестовывали штабников, оставшиеся без контроля срочники бежали, куда и когда хотели. Офицерам бежать было некуда – у большинства в военных городках были

квартиры и семьи. Им оставалось только терпеть – или браться за оружие. Шеин рассчитал точно – волнения в армии вспыхнули по всей стране практически одновременно, с интервалом в один-два дня, вспыхнули спонтанно, неосмысленно, неорганизованно.

Зато стало спокойнее в Городе – бронетранспортеры исчезли с площадей, и поубавилось автоматчиков на улицах. Войска выводили из Города на самые окраины, за кольцевую. Управление по Городу и области играло свою большую игру, а в ней Город оставался незыблемым, неприкосновенным очагом спокойствия и порядка в объятый хаосом стране. На вокзалах по-прежнему проверяли и обыскивали, но теперь уже приезжих. Выехать любой желающий мог беспрепятственно. Но не въехать – на впускных КПП стояли длинные очереди ожидающих досмотра машин. В Городе практически перестали арестовывать. По крайней мере на улицах. Хотя Шеин одним ударом положил соперника на лопатки, республиканское Управление потихоньку делало свою работу, не торопясь, выжидая. Там были уверены, что Шеин не справится с поднятой им самим волной хаоса, а обрушившись, эта волна похоронит и генерала, и всё его ведомство.

ПАТРОНЫ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ: КРУГИ И ПРОЗРЕНИЯ

Подвешенные на железных крючьях, вдоль стен тянулись связки кабелей. По некрашеному серому бетону сочилась влага, сбегалась в тоненькие лужицы на полу. С потолка светили одетые решетками, укрытые мутным стеклом лампы. Через каждые двенадцать шагов – по лампе. Регулярно. Как дорожные указатели.

Коридор был длинным. Мы долго шли по нему. Поворачивали, миновали несколько развилок. Спускались. Только мы двое – я и Ступнев. Он шел впереди, я – за ним. Без наручников. Скованный лишь коридором и огромной массой земли над ним.

Мы шли невыносимо долго.

Несколько лет тому назад я увидел своими глазами и почувствовал ноющими от усталости мышцами, насколько велика изнанка Города, та его часть, которой не касается солнечный свет. Любой большой город подобен вершине муравейника: всё жизненно важное, позволяющее не захлебнуться в нечистотах, видеть, слышать, получать и проводить, спрятано под землю. Под землю же гнездятся желающие уйти от шума и тряски уличной сутолоки и те, кто планирует государственное будущее. Планирующие первым делом заботятся о том, как пережить неудачи своих планов, – и потому закапываются на десятки метров вглубь, заливают перекрытия бетоном и закладывают сталью, герметизируют, устраивают и прокапывают тоннели до мест, откуда можно безопасно убежать.

В имперское время Город считали форпостом на пути агрессии с Запада. Потому он рос не только вширь и ввысь. Когда прокладывали метро, тоннели были лишь малой частью огромного, разветвленного лабиринта, выгрызенного в мягком грунте. У подземного Города были улицы и закоулки, проезды, станции и площади. Строившие добрались до артезианских пластов, чьи запасы заботливо берегли на случай крайней надобности, но в раннее постимперское время, когда тонущие ведомства отчаянно распродавали всё возможное, городские рынки затоварились наичистейшей минеральной водой из скважин трехсотметровой глубины, пробуренных, если верить надписям, прямо в асфальте Великокняжеского проспекта.

Тогда, в конце теплого мая, я едва мог дождаться, когда закончатся июнь и сессия, когда проводница надорвет билеты, и я, кряхтя от натуги, засуну бряцающий и лязгающий рюкзак на третью полку, а сам лягу на вторую – глядеть в окно и ждать, когда солнце станет злым, а горизонт – бугристым, подернутым искристой дымкой. Вечерами я бродил по Городу, лазил по стройкам и деревьям, дерзко шел по самой середине проспекта, по белой линии, снисходительно поглядывая на шелестящие мимо авто, удирал от свиристящих щекастых гаишников.

На «Кастрычніцкой», в подземном переходе, поздно вечером строители оставили открытой дверь – панель гофрированной жести, прикрывавшую дыру в тоннель, в просторный подземный зал. Я возвращался домой, в студенческий муравейник за стадионом, к троим соседям по комнате площадью в семнадцать квадратных метров. Торопиться не хотелось, и я, попивая на ходу теплую пепси-колу, проскользнул туда, в темень. Сперва мелькнуло: скорее назад. Но прошло. Страх подогрел любопытство и потянул вперед. Я, осторожно ступая, нащупывая руками стены, прошел подземный зал. Вышел к тоннелю, увидел вдали тусклый свет и побрел к нему.

Из пола торчали железные скобы – под рельсы, но рельсы еще не уложили, я брел, поминутно спотыкаясь, добрался до лампы, пыльного светлого пятна в потолке, увидел вдалеке еще одно пятно, пошел к нему. Ступал в мазут, шел по колено в ледяной воде, стуча зубами. Иногда стена слева или справа исчезала, проваливалась в темноту, и там чувствовалась пустота другого тоннеля. Однажды из-за стены послышались голоса людей – совсем близко. Я замер, прислушиваясь: мужчина что-то объяснял, женщина засмеялась. Цок-цок – зазвучали по граниту каблучки. Издали накатила рев, тоннель задрожал. Я распластался по дальней стене, на одно мгновение ужаса позабыв, что под моими ногами нет рельсов.

Грохот замер, потом возобновился, разгоняясь и удаляясь. Я побежал по тоннелю. Упал в воду, пахнущую мазутом. Встал и снова пошел от фонаря к фонарю. Где-то через час справа открылся огромный зал, тускло освещенный шахматной россыпью желтых ламп. Потолок подпирали ряды неровных бетонных столбов. Я выкарабкался из тоннеля, ступил на застилающие пол гранитные плиты. Волосы шевельнул холодный ветер. В углу зала громоздился колоссальный жестяной короб, недавно выкрашенный, но уже начавший ржаветь – краска осыпалась под пальцами. Сквозняк медленно вращал лопасти огромного вентилятора. Из двери в углу вырывался яркий свет. Я открыл ее, прищурившись. Узкий коридор уходил вдаль, и через каждый метр, как гвардейцы на параде, сверкали стальные унитазы – великолепные, новенькие, разбрызгивающие люминесцентный свет. Я прошел немного вдоль ряда, замороженный стальной шеренгой, и помочился в один из них, не ближний даже – пятнадцатый или семнадцатый. А когда нажал рычаг смыва, вода с ниагарским ревом хлынула во всю сотню сразу. Эхо волной заплескалось между стен.

Из зала не нашлось выхода – разве через громадный вентилятор. Или сквозь зарешеченные колодцы для стока в полу. Вокруг – гладкие глухие стены. Бетон. Блуждая по огромному, гулкому залу, я забыл, в какую сторону шел. Пришлось подбросить монетку. Выпала «решка» – направо.

Я шел очень долго. Наконец увидел дергающийся, неровный свет, а затем услышал и шаги. Навстречу шел круглый, пухлый человек в ватнике и каске с фонарем. Человек посмотрел на меня без интереса, и в ответ на мое «доброе утро» буркнул:

– Седьмая вышла?

– Седьмая? – переспросил я.

– А-а, – сказал человек и пошел дальше, шаркая ногами в резиновых сапогах.

Минут через пять я оказался на дне котлована. Едва начинало светать, и на сереющем небе гасли звезды. Выбравшись наверх, я обнаружил себя посреди проспекта Лесных Братьев, близ Тракторного. И потом, шатаясь от усталости – денег на такси не было, – шел домой сквозь просыпающийся Город.

Мы шли и шли. Я попросил Ступнева остановиться, подождать. Но он по-прежнему молча топал вперед, от фонаря к фонарю. На очередной развилке свернул. Коридор сделался шире, в стенах появились стальные, с зарешеченными окошками двери а под ногами – плитка. Андрей открыл вторую дверь слева, кивнул мне – заходи. Я зашел. За дверью оказалась просторная комната, разгороженная решеткой на две части. В той, куда мы вошли, стоял медицинский шкаф с застекленными дверцами и множеством колбочек и пузырьков за ними и стол на колесиках с разложенными на нем блестящими инструментами. За решеткой

– залитый черно-серой резиной пол, две кровати-тумбы у стен. Одна была пуста. На второй сидел одетый в заляпанные кровью майку и трико человек. Он мерно кивал головой и водил ладонью по кровати, словно стряхивал невидимые крошки. С его подбородка капала слюна. Капли цеплялись за щетину, собирались, ползли вниз, летели на пол, на кровать, ноги, живот. Опухшее, обрюзгшее лицо. Налипшие на лоб волосы, кровоподтек на скуле. Застывшие комьями белесого жира глаза. Я сначала не узнал его. А узнав, бросился к решетке и закричал: «Марат! Марат!»

– Бесплезно, – остановил меня Ступнев. – Шести часов еще с «захода» не прошло. Он сейчас и не слышит ничего, и не видит. Но ты не бойся за него – он оклемается. Сильный парень. Его пустили по усиленной – у него нервы, как у буддистского монаха. Пришлось передозировать немного и дожать сильнее. Не нервничай. Я же говорю – он ничего не услышит... Зачем его? О, он по порядку величины – если не второй, то третий по перспективности после тебя. Его клеят к «Белому легиону». Твой Марат каждое лето собирал молодежный лагерь и потом со всеми своими бывшими лагерниками связи поддерживал. И бог знает с кем еще. С рыцарями, например. У тебя ведь тоже с ними знакомства, правда?

– Да, – сказал я. – Они меня били тупым мечом по голове. Зачем вам эти клоуны?

Ступнев хохотнул.

– Клоуны? Ну, это «Белый легион» – клоуны. А играющие в рыцарей... Знаешь, кто самые главные столичные рыцарские клубы содержит и прикрывает? Знаешь, чьи сынки? Знаешь, что там по роте тренированных, крепких ребят? К тому же идиотов там не держат, и дисциплина у них что надо. О, им только автоматы, и по слову магистра-командора-вождя-хана – в бой за правое дело. Готовая боевая группа, и какого качества!

Знаешь, что сейчас самое трудное? Найти готовых квалифицированно умирать за идею. Техподготовка, тренировки, оружие – все можно по высшему классу. А вот желания умирать у неглупого, образованного и напичканного по уши романтическими идеалами – вот этого сейчас днем с огнем не сыщешь. Потому мы эти клубы с самого начала пасли. Твой Марат с такими связями – настоящий подарок. К тому же с ним хотя и хлопотно, но обычно. Пойдет как по маслу. Суток через двое он придет в себя – до нужной степени – и тогда пойдет прямоком на доработку... Не цепляйся за решетку, пошли. У нас еще длинная программа.

Марат всё так же мерно, как китайский болванчик, кивал головой.

Следующая дверь сотней метров дальше. Из-за нее в уши ударил хриплый рык. Рычал голый, потный, измазанный калом мужчина, макакой вцепившийся в прутья решетки, трясущийся, выставивший торчащий осклизлый член. Перед решеткой, развалившись, сидели двое – парень и девушка в форменных рубашках и брюках. Они курили и лениво переговаривались. Увидев Ступнева, вскочили, но тот махнул рукой – сидите, мол. Мужчина замолк. Прижался к решетке, тяжело дыша.

– Как он? – спросил Ступнев.

– Обычно, – ответила девушка, пожав плечами. – Дрожит третьи сутки.

– Еще жрет?

– Как не в себя.

– Плохо. А кидаться не начинал?

– Пробовал уже... А, смотрите, начал!

Мужчина отпрыгнул, присел на корточки и, уставив на нас налитые кровью глаза, принялся онанировать. Быстро-быстро, лихорадочно, раздирая ногтями кожу. Вдруг завизжал, обхватив ладонью головку, повалился набок, засучил ногами, затряс. Извернулся – и бросил. Я отшатнулся и, только увидев стекающую вниз, разбрызганную слизь, понял, что между мной и решеткой – стекло. Девушка, подняв со стола микрофон, крикнула: «Слабак!» Мужчина зарычал снова, бросился на решетку. Но его хватило ненадолго, он обмяк, сполз, скорчился на полу. У него все руки были во вьвшемся, забившемся под ногти кале, волосы

на голове, на животе, ногах – слипшиеся комочки кала. Я прижал ладонь ко рту – изнутри в глотку толкалась жгуче-кислая блевотина.

– Ладно, хватит, – сказал Ступнев. – Пошли.

За дверь, уже отойдя на несколько шагов, я, стараясь не пускать вверх жгущую глотку слизь, спросил:

– Что это?

– Один из способов доработки, – ответил Ступнев, вытаскивая из кармана сигареты. – Метода из сильных. Для полной промывки – чтоб развинтить. На профессиональном жаргоне называется «удодник». Исключительно мощная штука, но требует большой аккуратности и действует не на всех. Основные компоненты тут – стыд и агрессия. За материалом постоянно наблюдают, осмеивают. Он срет – ты, кстати, заметил, там дыра ровно посередине комнаты, – над ним хихикают. Мочится, чешется – над ним хохочут. Пытается заговорить – над ним ржут. Женщины вслух обсуждают, какие у «удода» мужские достоинства малые и вялые, у годовалого младенца – и то больше. Конечно, в еду добавляют кое-что, но главное – именно стыд. Он плющит рассудок со страшной силой. После первой недели, а то и раньше стыд рождает неконтролируемую, истерическую агрессию. «Удоды» начинают выкрикивать непристойности, швыряться калом, напоказ онанировать. Валяются в собственном говне. Мочатся в тарелки с едой.

– И долго их так... дорабатывают?

– Пока порог неконтролируемой агрессии не доведут до нуля. «Удод» готов, когда его можно в любое время сорвать в истерический припадок. Тогда ему в мозги можно засунуть что угодно – внушаемость стопроцентная. Правда, нужно очень тщательно следить, чтобы не передержать в «удоднике» – два-три лишних дня, и агрессия перегорает.

– И что тогда? – спросил я.

– Увидишь еще, – пообещал Андрей, закуривая. – Кстати, самые лучшие боевики получают как раз из «удодов». Ты не поверишь, но «удодник» ломает на удивление мало и как раз в нужном месте. Его не так давно придумали, а когда увидели, как он работает, всех поголовно стали в него пихать. Само собой, быстро выяснили, что не для всех он. Не для таких, как ты, например. И не для таких, как Марат. А спецназовцев и иже с ними всех валят в «удодник». И девять из десяти на нем делают... Я тебе говорил уже: самая главная наша проблема – дефицит героев. Желающих скончаться за идею и доброе слово вождя. С церковью нам, конечно, не тягаться. Но зато мы за месяц можем сделать то, на что им десяток лет нужен. И собачью преданность можем, и пламенную страсть. И холодную голову с чистыми руками... Пойдем, у нас еще большая программа.

...– Смотри, – сказал Андрей, – это – самая старая часть нашего арсенала. «Кухня». Здесь всё знакомо, здесь спецы, передающие опыт по наследству. Пойдем, не торопясь, от двери к двери. Смотри внимательно – про эти вещи ты читал. Ты мне об этом когда-то рассказывал: помнишь, как-то сидели у меня на Танковой, а потом пошли на площадь догоняться? Всё оказалось правильно. Только сильнее – вряд ли писавшие видели это с другой стороны решетки. Так что запоминай.

Мы видели, как человек, к которому в камеру ворвались охранники в черных масках и комбинезонах, извивался на полу и плакал. Его вытащили наружу, в коридор, били ногами. Ничего не объясняя, не спрашивая, со страшной яростью, рычанием, криком. И бросили назад – ждать, когда снова к нему ворвутся, чтобы избивать, калечить, убить. Мы видели, как привязанному ремнями к стулу человеку запрокидывали голову назад и втыкали в горло заполненный темной жидкостью шприц. Как привязанный начинал хрипеть, выгибался дугой, закатив белые глаза. Как в смрадной, пропахшей гниющим мясом конуре били резиновыми шлангами подвешенного за руки, брызгая кровью на стены. Как в полуметре от прикованных за руки к стенам, сжавшихся в ужасе людей выли от ярости, роняли слюну из ощеренной пасти псы.

Мы видели, как сидящего посреди комнаты мужчину в костюме и черных

лакированных туфлях били по щекам, щипали, не давая уснуть, светили лампой в глаза. Видели, как всхлипывающего, измазанного кровью юнца насиловали в камере на залитом мочой полу.

– Смотри, – говорил Ступнев. – Это то, чем пугают в кино и дешевых романах. На самом деле это далеко не самое страшное – но пугает новичков сильнее всего. Здесь работают на страхе и боли. Знают, чем отличается боль от удара бамбуковой палкой и от удара сосновой. Как пахнет смертельный страх, и сколько может выдержать кожа на спине, перед тем как сползет чулком. Здесь загоняют под ногти шипы, добираясь до суставов, и цепляют провода от полевого телефона к кошонке. Но здесь всё известно до мелочей: что действует, как и в каких количествах. Здесь очень редко калечат. Но, к сожалению, именно здесь у дорабатываемых больше всего возможности схитрить и геройствовать. Работа на страхе и боли нуждается в слабости. Сила может совладать со страхом и притерпеться к боли – а сознательно тут не калечат. Искалечить – значит испортить. Проиграть. «Кухня» еще работает во весь опор, особенно сейчас, когда избыток материала. Но она уже безнадежно устарела. Она не ломает – всего лишь гнет. А нужно сломать и вылепить заново.

Я устал. Стало холодно. Длинные, стальные тоннели. Мне казалось, что мы не идем, а стоим на одном месте. Что в один и тот же кусочек времени начинает укладываться всё больше мгновений, расpirать его, растягивать. Делить между ними тепло. Мир снова поплыл, углы и трубы задрожали, наслаиваясь друг на друга, уходя из фокуса. Держалась в нем прочно только спина Ступнева впереди, и я протискивался за ней сквозь загустевший воздух. В трубах журчала вода, подошвы шаркали по бетону, вдали лязгнула дверь – звуки висели в воздухе и тоже расслаивались, не уходили, превращались в тысячи шепотков. Прислушавшись, я различил в них слова – мутные, слепые, полные жалобы, ненависти и боли. Они затягивали, помогались слуха, отталкивая друг друга, лезли в мозг, а проникнув, цеплялись, гнили и раздирали и становились громче.

Ступнев тронул меня за плечо – пришли. За дверью – низкой, обшитой кожей – было темно.

– Я сейчас свет включу, – сказал Андрей. – Старайся не прислушиваться. Будет очень хотеться, но ты не прислушивайся.

Лампа залила комнатку синим светом. За прозрачной стеной сидел на кровати изможденный, со всклокоченными волосами старик. Он плакал и бормотал, грозил кому-то невидимому кулаком. Шепот заполнял комнату, как вода, как облако гнуса, забивающееся в ноздри, в уши, глаза, мешающее дышать. Свинцом оседающее в мозгу. Ступнев сказал что-то. Я не расслышал. Голоса глумились, причитали, умоляли – усталые, наполненные невыносимой мукой.

– Пойдем! – крикнул Ступнев. – Чего ты стал, пошли! А, черт!

Он схватил меня за плечи и вытолкнул из комнаты, потащил вверх. Отпустил наконец, пихнул – иди. Я сделал два шага и сел на пол, в натекающую с труб лужицу.

– Черт поberi! – ругнулся он. – Не думал, что тебе так пойдет. Ладно. Торопиться, в принципе, некуда. Я еще одну выкурю. Отдыхай... Сам я тоже сюда заглядывать не ахти. Дрянь это. Голова потом трещит полдня. Придумал же кто-то. Кстати, для таких, как ты. Те, кто в радиусе подолгу работает, спецшлемы носят. В камерах изоляция, но всё равно ползет наружу. Наперед трудно сказать, как подействует. Сильно действует на немногих, но лучше не рисковать. Ребята говорили, были случаи и в отделе разработки, и среди обслуги: всеми правдами и неправдами сюда норовили пролезть, часами стояли, вслушивались, рот раскрыв, – почти как ты. Большинство, правда, отделалось неделей в реабилитации. Но некоторые в психушке до сих пор. Говорят, один из разработчиков этой штуки сам под нее попал и угодил в психушку в рекордно короткий срок.

– Тошнит, – пожаловался я.

– Дыши глубоко. Медленно. Задержи вдох... Легче? Интересно, что на клиентов «удодника» действует куда слабее. Их неделями нужно катать, прежде чем хоть что-то

получится. Но их обычно под мозгодрание и не суют.

– Под что?

– Под мозгодрание. – Ступнев закашлялся. – Что такое? Слова. Слова, и только. Видишь ли, то, чем мы соображаем, составлено из слов. Словами наши мозги можно и развинтить. Те, кто это придумали, поняли, как эти слова искать. Мозгодрание – самое сильное из всего, что у нас есть. И самое страшное. В девяноста случаях из ста оно убивает. В девяносто девяти – калечит навсегда. В чистом виде его почти не используют для разработок. Только чтобы убивать. Чаше рассудок, иногда и тело. Люди стараются разорвать себе барабанные перепонки, бьются головой о стены – чтобы не слышать. Но слышат всё равно. Боятся слушать – и боятся, что голоса вдруг замолкнут. Самое главное, когда выпускают – человек продолжает цепляться за эти голоса. Он ненавидит их, старается убежать. Но когда голоса замолкают, мир пустеет. Ощущение пустоты невыносимо а убежать можно только одним способом.

Когда придумали, казалось, человека можно таким способом запрограммировать. Если повторить на ухо миллион раз, то пойдет и сделает. Привыкнет, посчитает нормальным, подчинится. Что-то вроде дистанционного управления. Даже слово придумали – «зомбирование». Лет десять назад оно не сходило с газетных страниц. Бред. Если повторять одно и то же, просто перестают слушать. Привыкают, как к шуму за окном, и перестают замечать. Чтобы слушали, нужно, чтобы было интересно и больно. Мозгодрание и возникло, когда поняли, что интересно человеку. Когда научились узнавать, вытягивать из его нутра всё то, чем он жил и дышал, что ненавидел, чего стыдился, оплевывать и загонять назад.

Представь, как тебя мучила совесть – за ложь, за мелкую, сделанную по глупости подлость. Умножь на сто и представь, что это длится сутками, неделями. Мозгодрание придумал гений. Сунуть под нос человеку всё его ничтожество, гнусность, подлость, слабость, все грешки и злобу. Пусть он гложет сам себя, пусть раздерет в клочки, убедится, что не стоит ничего, ни копейки, что он полный нуль, которому и жить незачем. А потом подсунуть возможность почувствовать себя нужным. Выполнять приказы, ощущать ответственность. Удостоиться похвалы начальника. Счастья полизать его сапоги. О, если бы это срабатывало не так редко! Каких дел можно было наворотить. А оказалось – совесть убивает быстрее голода.

– Замечательное открытие, – буркнул я Ступневу. – Но тебе смерть от мук совести уж точно не грозит. Яведь понял, зачем ты волочешь меня по этим коридорам. Это ведь тоже мозгодрание, да? Способ доработки?

Он рассмеялся:

– Конечно. Как у инквизиции – у них второй стадией допроса была демонстрация пыточного инструмента. Не понимаю, чего тебе не нравится? Тебя ведь не бьют.

– Наверное, потому, что бить меня признано нецелесообразным.

– Тоже правильно. Ты через день превратился бы в хнычущего от побоев слизняка. Полоумного, дерганого труса. Хочешь посмотреть, что с тобой стало бы? Скоро увидишь. Ты уже видел большую часть нашего арсенала. И, надеюсь, понял: наша цель – не искалечить, а переделать. Не ломать, а лепить. Размягчив перед лепкой материал. Но бывает и брак. Его обычно утилизируют – к чему содержать обломки? В стране каждый год пропадают сотни людей, и о большинстве из них никто, кроме горстки родственников и сослуживцев, и не вспоминает. Но особо интересные и показательные случаи мы храним. Вставай – еще насидишься!

Передохнуть удалось, когда, спустившись по нескольким ярусам лестниц, мы попали в помещение, чем-то похожее на больницу. Трубы и капающая влага исчезли, бетон скрыли краска и кафель, стало чище и ощутимо суше. Эти тоннели вентилировались и согревались – я кожей ощутил касание теплого ветра. За очередным поворотом мы увидели застекленную будку с читающим роман охранником. Охранник, заметив нас, оторвался от книжки и посмотрел на Андрея раздраженно. Тот похлопал меня по плечу, вынул из кармана карточку

и сунул под стекло. Охранник засопел, звякнул, щелкнул переключателем и выпихнул карточку обратно, а перед нами, рокоча, отъехала вбок дверь. Шагов через десять мы оказались посреди комнаты со столами, стульями, выстроившимися вдоль стен исполинскими, до потолка, холодильниками и сверкающей никелем машинерией. Пахло свежим горячим кофе, пахло сервелатом и майонезом, из-под двери духового шкафа тянуло мясным, поджаристым, с хрустящей корочкой.

– Теперь мы в святая святых, – сказал Андрей весело. – В музее. Процесс ты уже видел – теперь стоит посмотреть на его конечный продукт. Образцово-показательные экземпляры. Каждый из них – хорошая диссертация. Во всяком случае, кандидатская. А некоторые уникамы стоят целых исследовательских институтов. Но перед финальным туром стоит как следует подкрепиться.

Подкрепились мы от души. Тошнота и головокружение прошли после третьего бутерброда. Когда мы пили по второй кружке кофе, в комнату зашел парень лет двадцати пяти, почтительно поздоровавшийся со Ступневым и заодно со мной. Парень посмотрел на меня с интересом, видимо, прикидывая, кто я, и в конце концов протянул руку.

– Семен, – сказал он хрипловатым баском.

– Дима. – Я пожал его ладонь, твердую и шероховатую.

– Как там внизу? – спросил Андрей, отхлебывая кофе.

– Большей частью как обычно, Андрей Петрович, – натужно улыбнулся Семен и спросил: – А вы вдвоем вниз собираетесь?

– Да. Покажу Диме наши реликвии. – Ступнев усмехнулся.

– По полной программе?

– Само собой.

– А-а, – протянул Семен, бросив на меня презрительный взгляд, – а я думал... но неважно. Вы осторожнее, на двенадцатом опять.

– Хорошо, – ответил Ступнев холодно.

– Я пойду, пора мне, – зачем-то объяснил Семен и, подхватив тарелку с бутербродами и стакан, заспешил по коридору.

– Он здесь работает. На поддержке, – объяснил Андрей. – Они тут странноватые. Раньше их старались регулярно менять. Потом решили – пусть остаются здесь. Лучше иметь дело с десятком чудаковатых, чем с сотней, правильно? Кстати, вон та дверь – туалет.

В туалете и стены, и пол, и раковина с унитазом оказались покрытыми слоем мягкой, упругой резины. Кроме того, на стенах не было ни единого выступа, а на двери – ни замка, ни защелки, только скользкий мягкий конус. За него можно уцепиться, сплющить пальцами и потянуть на себя, прикрыть дверь. Бутерброды скверно пошли мне, и желудок начал болезненно дергаться, бурчать. Мне вдруг стало горячо – из живота волнами побежал лихорадочный, колющий жар. Закружилась голова. Шум спущенной воды молотком ударил по барабанным перепонкам.

Я вышел из туалета, пошатываясь, и увидел, как Ступнев заботливо моет пластиковую тарелку из-под бутербродов – перед тем, как выбросить ее в урну.

– Как ты, в порядке? – спросил он деловито. – Чудесно. Пойдем, экскурсия начинается.

– Итак, начало, экспонат номер один, – объявил Ступнев. – На мой вкус, шедевр коллекции. Любуйся.

За толстым стеклом в комнате, лишенной мебели с голым наклонным полом, сидело на корточках существо, заросшее белесой, жесткой, как проволока, свинячьей щетиной. Существо отдаленно напоминало человека – различались руки и ноги, почти одинаковой, правда, толщины, одинаково поросшие шерстью, заросшая до глаз морда, огромный желвак лба над глазами, мощные желтые когти. Существо осмотрело нас и сказала басом: «Хр-н-н-рр», постукав мозолистыми, твердыми костяшками пальцев о пол.

– Эй, Собецкий! – крикнул Ступнев. – Жрать хочешь?

Существо оскалилось, открыв ряд крепких желтых зубов, шевельнулось – и вдруг

оказалось у самой стеклянной перегородки. Подняло косматую руку и медленно сложило фигу. И забулькало, засмеялось: «Хррррр-хрн-хрн-хрн».

– Представляешь, у этого монстра имеется институтский диплом и семь лет стажа, – сказал Ступнев. – И звание капитана милиции. Его взяли еще при том, первом покушении на отца нации. Вначале серьезно подозревали, что он замешан, потому и колоть принялись всерьез. Оказалось, нет. Но материал был превосходный, реакция, моторика – чудовищные. И его после двух «моек» с дозой мозгодранья – додумались же! – пустили под «удодник», а потом на «кухню». И, странное дело, поначалу показалось, что всё идет хорошо.

Он хлюпал, корчился от страха, колотился в истерике. Его принялись бить каждый день, регулярно, в семь утра и после обеда. Он трясся, как студень, а после очередной порции палок, синий, хнычущий, набрасывался на еду, сжирал всё моментально, канючил у дверей: дайте хоть что-нибудь, хоть корку черствую. Хочешь – пожалуйста, материал перспективный, чего голодом морить. Его три месяца непрерывно били. Он за это время набрал почти три пуда, и эти пуды частью пошли в жир, а частью – сам видишь. Его сейчас ломом бить можно – у него под шкурой в палец бекона. Как у хорошего секача. Волосьями оброс – но, говорят, это не от битья, а от химии. Перекололи малость.

– А сейчас его бьют? – спросил я. Существо смотрело на меня крошечными, налитыми кровью глазками и улыбалось.

– Еще как! Надо же форму поддерживать. Иногда его выпускают в пустые коридоры – попрыгать. А иногда запускают туда и наших доблестных спецназовцев – поохотиться на живую дичь. Без оружия, естественно. Чтобы на равных. Раньше по одному, теперь только по трое. И с резиновыми дубинками – чтобы действительно на равных. Кулаками его бить – всё равно что боксерскую грушу. А сила у него... я сам видел, как он арматуру узлом вязал. Кстати, на его опыте разработали новую методику тренировки для наших мордобитчиков, на зависть имперской охране. Гормоны, плюс электростимуляция, плюс главный компонент – ежедневное битье эластичными тонкими палками. Очень болезненно, но за считанные месяцы шкура отрастает не хуже, чем у этого, – кивнул Ступнев.

– Он понимает, о чем мы говорим?

– Не уверен. Знаешь, – сказал Андрей, – однажды его вывезли в лес. За Город, далеко. Выпустили – хотели потренировать спецназовцев на нем в лесу. Он-то этого не знал, должен был думать, что отпускают. Но он отошел за деревья, испражнился, забросал кал хвоей, побродил вокруг машины с четверть часа – и вернулся. Потом его укололи и попытались под уколom говорить с ним – услышали то же самое, что мы сейчас слышим. Он не способен ни читать, ни членораздельно говорить. Но драться с ним – я б ни за какие коврижки. Даже с дубинкой в руках.

Свиночеловек постучал когтем в стекло. Поманил пальцем. Я, наклонившись, прижался лбом к стеклу и заглянул в его глаза – испещренные сеткой кровавых прожилок так густо, что весь белок казался багрово-красным. Свиночеловек лукаво подмигнул мне и сказал заговоришки: «Хрн».

– Эй, ты осторожней! – крикнул Ступнев. – Отойди!

Свиночеловек вдруг исчез, а потом я перестал видеть и слышать, весь мир заполнил низкий, басовитый гул, будто с размаху впечатали молот в огромный, толстый гонг.

Очнулся я оттого, что Ступнев положил холодную мокрую тряпку мне на лоб. С тряпки стекала вода – на уши, за шиворот и в рот тоже, – отдающая ржавчиной и хлоркой.

– Эй, хватит. Хватит, – прошептал я. – Хватит.

– Угу, – отозвался Ступнев и снял тряпку. С нее хлынуло потоком.

Я дернулся и ткнулся затылком в стену.

– Ч-черт!

– Не зови, – серьезно сказал Ступнев. – В самом деле придет.

– Что такое? Зачем гонг? Что ты со мной сделал.

– Какой гонг? – удивился Ступнев – Ты о чем? Я ничего с тобой не делал. Хотя и зря,

предупредить надо было. Но я и сам не представлял. Понимаешь, стекло хоть и толстое, но с пластиком, упругое. И в резине закреплено. Эта падла свиньястая отскочила, а потом как прыгнет на стекло! Вот тебя по лбу и приложило. Ты как вообще, здоровый?

– Я? Здоровый? Это шутка такая, надо понимать. После того, как меня с моей лихорадкой вытащили из постели. После вашей, как вы ее зовете, «мойки». После того, чем ты меня накормил, милый друг Андрей. А вообще, ты знаешь, шел бы ты подальше. Как-то я больше не хочу этой... экскурсии.

– Надо же, – съехидничал Ступнев. – Ну, допустим, пойду я подальше. А ты куда денешься? Сам же говорил – доработка. А доработку нужно дорабатывать, пардон за каламбур. Не я, так кто-то другой возьмется. Работников у нас хватает, и таких – просто дух захватывает, когда раззнакомишься.

– Меня мутит, – сказал я. – Мозгодратель ты хренов. Дерьмо.

– Дурак, – сказал Андрей. – Я тебя спасаю. Ты же видел и слышал. Или у тебя, как у той барменши с площади, памяти на три слова хватает?

– Зачем ты волочешь меня к этим монстрам? Что-то не получается, да? Потому ты меня и обкормил отравой?

– Прекрати истерику, ты, сопля! – цыкнул он и, вытащив из кармана измятый платок, брезгливо вытер ладонь. – Ты не съел ничего, что не пробовал раньше. И ничего, жив, и всё такой же дурак. Я поручился за тебя. Настоял, чтобы тебя доверили мне, чтобы твоя дурацкая, напичканная нелепостями голова осталась в том же виде, в каком была до знакомства с нами. Чего ты еще хочешь? Ты думаешь, ты в детском саду на утреннике? Вставай. Сам пойдешь, или тебя придется волоочь за шиворот, как паршивого кутенка?

– Не надо... не надо как кутенка. Я встану. Ради бога. К каким еще чудовищам ты меня потащишь?

– Не к чудовищам. К людям. Пусть бывшим, но всего лишь людям.

– Бывшие люди здесь – это ты и такие, как ты.

– Брось, – сказал Андрей устало. – Это пустое словоблудие. Процедура назначена, и ее придется пройти, хочешь ты или не хочешь.

Я приподнялся. Опираясь о стену, встал.

Мы миновали несколько дверей, спустились по лестнице. Андрей хмурился. Он приоткрыл одну из дверей, заглянул внутрь, заслонив собой проем. Захлопнул, произнес: «Не сейчас», и мы пошли дальше. По следующей лестнице я отказался спускаться.

– Нет, – говорил я, пятась, – нет, хватит с меня, мне дурно, оставь меня немедленно. Я сейчас сяду и никуда не пойду, волокни меня, если хочешь.

Ступнев, вздохнув, взял меня за руку и потащил. По лестнице, за какую-то дверь и снова по лестнице. Потом он говорил с кем-то по телефону, и кивал, соглашаясь, и снова волок меня по коридору. Навстречу попадались фигуры, в белых халатах и без них, толкавшие тележки, слонявшиеся, сунув руки в карманы, кутившие. За двойной железной дверью мы смотрели на танцора, худого, нагого юношу, подпрыгивавшего, кружившегося, кланявшегося под неслышимую музыку, под двигавший его повелительный ритм.

И я почувствовал, как этот ритм проникает в меня, всасывается под кожу, заливается в уши, ноздри, рот. Я притопывал и подпевал, хлопал в ладоши, мне стало весело и горячо, я даже забыл про Ступнева, сидевшего за моей спиной на складном стуле и кутившего. Докутив, он взял меня за шиворот, приподнял и вынес из комнаты. Я подергивал руками и ногами и подпевал. Взяв Андрея за руку, шел рядом вприпрыжку, рассказывал ему, как здорово было, когда мы ходили вместе, как я завидовал ему, его силе, выносливости и тому, с каким восхищением смотрела на него та блондиночка, помнишь? Настоящая, зеленоглазая, ты еще одалживал ей свою куртку? Ну не беги так, зачем торопиться, там было так хорошо...

По перепонкам ударил визг – пронзительный, переливчатый, стремительно набиравший силу и высоту. Я присел на корточки, закрыв ладонями уши; мимо бежали люди и в белых халатах, и в униформах, волокни брезентовый рукав брандспойта, перекрывали проход дюралевыми полицейскими щитами. Ступнев тянул меня за руку – пошли, бежим

скорее, сматываемся, скорее, вниз, да, по этой лестнице, да беги же сам, мать твою!

– Не тяни меня больше, – попросил я, когда мы кубарем скатились через два пролета. – Не тяни. Я устал очень. Зачем ты меня мучаешь? Что это было? Пожар?

– Вот дерьмо, – сплюнул Ступнев. – Да никто тебя уже никуда не тянет, не хнычь. Степан говорил – проблемы на двенадцатом. Халтурщики. Пьют и дробят сутками, ни черта больше не делают, сволочи, вот откуда все проблемы. Довели же! Теперь закрывай не закрывай – скорее всего, стрелять придется. Дерьмо!

– В кого стрелять? – осторожно спросил я.

Ступнев неожиданно расхохотался.

– В кого? Скажи спасибо, что ты этого не узнаешь.

Сверху донесся грохот. Потом крики и автоматная очередь.

– Холостыми бьют. Пока. Они дождутся, рано или поздно придется настоящими. Вот же разгвоздяи... А пошло оно всё, – махнул рукой Андрей и уселся на ступеньку. – И ты садись, передохни. Пост внизу всё равно сейчас перекрыт. Когда в паноптикуме шебуршун, всю нижнюю зону перекрывают. Особенно когда шебуршун на двенадцатом. Там три поста – на всех остальных по одному, кроме разве низа. Но низ – особое дело. Сам увидишь. Передохнем с четверть часа – и прямо туда. Надоело. Пора Одиссеею домой.

– И что потом? – спросил я.

Он долго молчал. Наконец пожал плечами:

– Скорее всего, сбуду с рук. Меня достало с тобой возиться.

– А на что ты надеялся? Что, по-твоему, со мной должно было стать? Я в свинью должен был превратиться, как тот Собецкий? Или начать танцевать?

– Сигареты поломал, – сообщил Ступнев, рассматривая помятую пачку. – Нет, целая еще есть. Дождусь, пока прикажут отучиваться. Не поверишь, две пачки в день высмаливаю... Ни на что я не надеялся. Дурак был. И сейчас не поумнел. Из-за глупой головы и ногам покоя нет. Правда?

Он подмигнул мне.

– Ты думаешь, я боюсь? Меня мутит, – сказал я. – А ты – сволочь. Спокойная, деловитая сволочь. Небось еще считаешь, что благодетельствовал меня.

– Слушай, если ты искренне считаешь меня сволочью, на кой ляд ты вообще со мной разговариваешь, а?

Я не ответил. Мы молча просидели на ступеньках с полчаса. Может, и больше – я прикорнул, привалившись к перилам, и видел очень плохой сон. Затем Андрей молча тряхнул меня за плечо и вздернул на ноги. Мы пошли вниз.

Внизу был еще один пост, с двумя охранниками в бронежилетах и глухих непрозрачных шлемах. Обоих нас бесцеремонно прижали к стене, заставив заложить руки за голову, и обыскали. А обыскав, потеряли всякий интерес.

За стальной дверью, тяжелой, как шлюзовые ворота, открылся не очередной коридор, а просторный зал. Сумрачный, голый, сырой, пахнувший плесенью и гнилью. Устремляясь вниз по тоннелю, где-то рядом плескала и kloкотала вода. Мы пересекли зал вдоль ряда колонн и подошли к двери. Андрей приложил ладонь к вделанному в стену прямоугольнику черного стекла и подождал. Тихонько пискнуло, и дверь откатилась в сторону.

– И это ваш самый главный секрет? – спросил я.

– Потом зубоскалить будешь, – буркнул Андрей. – Садись вон.

Мы зашли в вагончик, словно позаимствованный с детской железной дороги – крохотный, низкий, коротенький, с деревянными скамейками из лакированных желтых реечек, с древним, потрескавшимся линолеумом на полу, с пластиковыми стенками и даже окошками, только с пластиком вместо стекла.

– Вот оно, настоящее метро. Небось с Московским метрополитеном имени В.И.Ленина общается.

– Не совсем, – ответил Ступнев угрюмо. – Но почти. Ты даже представить не можешь,

до какой степени доходит это «почти».

– Что, до Смоленска только докопали? Наверное, патриотизм проснулся, и за древние границы решили не выбираться?

– Патриотизм, – повторил Ступнев стеклянным голосом и вдруг прошипел тихо и зло: – Да что ты-то знаешь про патриотизм, писака застольный? Тебе, наверное, очень весело? Что, веселье так и брызжет?

– Да, хочется танцевать и ликовать. Явообще метро люблю. Антикварное в особенности. А патриотизм так просто обожаю. Оргазм у меня от патриотизма. И некоторых патриотов. Долой дух тяжести! Никогда не поверю ни в какого патриота, которому не может танцевать. Эй, Ступнев, давай станцуем? Самый патриотический народный танец «Пасею гурочки»? Это ты всё виноват, ты меня обкормил дурью, а теперь развлекать не хочешь.

Меня и в самом деле обуяло бессмысленное психоделическое веселье – от тусклых двадцативаттных лампочек под потолком, от речек, жалобно скрипящих под моим сидением, от заросшего щетиной Ступнева, от зовущего свербенья в тайных срамных волосах. Я бы подпрыгнул и пошел вприсядку, честное слово, если бы не знал, что свалюсь после первого же резкого движения.

– Это у меня приход такой, а, Ступнев? Приход ведь, да?

– Да, да! Ты не мог бы заткнуться хоть на минуту?

Он открыл в стене рядом с красным рычагом, похожим на «стоп-кран», жестяную дверцу. За ней оказался ряд кнопок с цифирками. Ступнев задумался, кривясь и кусая губы, набрал код. Потянулся к рычагу, но остановился и повернулся ко мне:

– Слушай: там, куда мы едем, тебя не будут допрашивать. С тобой будут говорить. Я тебя прошу: подумай, прежде чем отказываться. Или соглашаться. Хорошо?

– Чудесненько. А меня там поцелуют?

Ступнев, поморщившись, надавил на рычаг. Меня вжало в сиденье. Вагончик мелко затрясся, зашипел, засвистал, потом завыл тоненько, и от воя этого заложило в ушах. Ступнев стоял, как истукан на перекрестке, впечатав ботинки в пол, будто в пьедестал, облапив поручень.

Вагончик зашипел и затрясся сильнее. И внезапно встал, будто в стену резиновую ткнулся. Но я уже был готов и держался за спинку, поэтому только занозил пальцы о рейку сиденья, растрескавшуюся и растерявшую лак от старости.

– Сверхзвуковое метро. Мечта пятилетки, – сказал я, охнув.

– Боже ж ты мой! Да заткнись ты, заткнись! Если ты не заткнешься, если не пообещаешь заткнуться, я сейчас нажму вот этот рычаг, и мы вернемся туда, где тебя колбасили, я уже вижу, что поделом. Мать же твою, да что с тобой такое! Не кормил я тебя ничем, не кормил! Тебе на «мойке» вкололи! Очнись – или нас тут обоих угробят!

– Ладно, – согласился я, несколько обидевшись. – А у тебя меня будто не гробили? Какой-то ты ущемленный, право слово. Ну, буду молчать, хорошо, следуй своим таинственным великим планам. Хотя честно скажу, я тебе ничем обязанным себя не чувствую.

– А стране этой ты хоть чем-то обязанным себя чувствуешь? – спросил Ступнев, бледнея. – Или тебе наплевать, как всей этой сволочи?

– Однако, – пробормотал я, – вот бы никогда не подумал...

И осекся, глядя в перекосившееся от ярости и отчаяния лицо Андрея.

– Ладно, ладно, я это так. Пойдем, куда собрались, конечно, пойдем и скажем чего надо, – закивал я.

И мы пошли. В невысокий сырой зальчик с округлым сводом, а за ним – к зарешеченной двери. За дверью стоял охранник. В черной униформе, с короткоствольным спецназовским «крабом» на ремне и с длинным тесаком в ножнах на поясе. Увидев нас, охранник почему-то потянулся не к автомату, а именно к тесаку.

– Нам к хозяйке. У нас договорено, – сказал Ступнев поспешно.

Охранник снял со стены трубку. Нажал пару кнопок. Сказал равнодушно: «Проходите» – и устался в стену, будто для него мы вдруг перестали существовать.

Мы долго шли по коридору, затем поднялись по лестнице. В коридоре на полу лежал ковер, ворсистый и упругий, а стены были отделаны дубовыми панелями, багрово-бурыми, цвета давней запекшейся крови. Ступнев остановился перед тяжелой деревянной дверью. Нерешительно постучал. Дверь распахнулась.

– А, долгожданные гости, – произнес смутно знакомый голос. – Милости просим!

Мы шагнули внутрь. Я ожидал чего угодно: хирургических шкафов, столов с компьютерами, пультов или решеток с коллекцией монстров за ними. А увидел отделанную грубым серым камнем комнату, с каменным же полом, сводчатым потолком, терявшимся в тенях. Освещалась комната только камином, огромным, ярко пылавшим. Подле камина лежала пара мраморных догов, внимательно нас рассматривавших, и стояло старомодное кресло с высокой спинкой.

– Подходите, подходите, – пригласил знакомый голос из-за кресла. – Тут холодно, под землей, поэтому мы камин и поставили. Не изумляйтесь – он электрический. Жаль, конечно, я люблю живое тепло, от дерева.

Мы замешкались, глядя на собак.

– Не бойтесь моих Пятнашек, они мирные. Впрочем, Паша, уведи-ка их!

Из теней к камину шагнул парень – длинноволосый, тонкий. В кольчужной рубашке почти до колен. Но Ступнев на парня внимания не обратил, а, повернувшись к креслу, сказал хрипло:

– Вот, я привел. Как договорились.

– Подойди, – приказал голос.

Я подошел.

И замолчал, онемев от изумления. Я едва узнал ее: в багровом мерцании фальшивого пламени она выглядела старше, самое малое, лет на десять. Тени под глазами, усталое, помятое лицо. Серый мешковатый костюм. Она сидела, бессильно откинувшись в кресле, словно больной, ожидающий, пока сиделка перекатит его в другую палату.

– Здравствуй, рыцарь, – сказала Рыся без тени насмешки. – Наконец-то ты вернулся к своей даме.

– Рыцарь? – переспросил Ступнев.

– Представь себе. Совсем недавно он дрался за меня. Как мужчина, мечом.

– А еще что он делал? – спросил Ступнев, кривясь.

– Здравствуй... то есть здравствуйте, – сказал я.

– Очень приятно, – улыбнулась Рыся. – У нас без формальностей. Можно и на «ты». Тем более тебе.

– Ты ему позволила? – спросил Ступнев резко.

– Я пока еще хозяйка сама себе. И не только себе. И была бы очень благодарна, если бы ты не заставлял меня это доказывать.

– И как же?..

– Милый Андрей, да ты никак ревнуешь? – Рыся засмеялась, низко и хрипло. У меня мурашки побежали по спине, мелкая, сладкая дрожь просыпающейся похоти.

– Зачем я спрашивается, его вез сюда. Ты знаешь, что мне грозит за это. И тратишь время на... тьфу ты! – Андрей сплюнул.

– Слушай, если ты решил устроить сцену, подумай хорошенько сперва. Мне стоит шевельнуть пальцем, и ты окажешься снова в своей подземной дыре. А он, – она показала пальцем на меня, – останется здесь. Потому что он – мой. И ты прекрасно это знаешь. Это – мое дело. И я его доделаю.

– Пусть твои клоуны попробуют! Пусть только хоть пальцем тронут. Это твое дело делают не они – мы делаем. Я и те, кто со мной. И не ради вашего дурацкого словоблудия!

– Ну, не кипятись, милый, – сказала Рыся благодушно. – Я знаю, я без вас, как без рук. Но мои мальчики многое умеют, вот увидишь. Они мне тоже нужны.

– А я вам зачем нужен? – спросил я.

И Рыся, и Ступнев посмотрели на меня удивленно, словно на внезапно заговоривший манекен.

– Извини нас, – попросила Рыся. – Извини. Садись.

Я уселся на низкий, широкий табурет у камина.

– Дело в том, что сейчас, – сказала Рыся, – очень многое меняется. Вернее, мы хотим, чтобы многое изменилось. Ты ведь представляешь, в какой дыре наша страна сейчас. Мы насмерть рассорились с Европой, рассорились с большим соседом. И мы агонизируем, нищем. Нам некуда деться... А тот, кто ведет эту страну, по-прежнему старается усидеть между двух стульев, лжет, убивает, обкрадывает одних, чтобы прибавить ничего не значащие копейки другим. Да ты это всё знаешь не хуже меня. Страна в тупике, она гниет заживо, и всё потому, что здесь всё завязано на одного человека, всё начинается им, и всё кончается им. На всё нужно его соизволение. Он всесилен и неподконтролен никому. Ты его знаешь. Ты его ненавидишь.

Я кивнул.

– Так вот, мы наконец решили избавиться страну от этого человека. Медлить нельзя – сегодня-завтра он утопит страну в крови, уверяя всех, что спасает ее. Кроме нас, этой стране не поможет никто.

– Кто эти «мы»?

– Те, кто потрудился подумать, что нас ожидает завтра. Молодежь. Нас немного, – ответила Рыся. – Но мы многое можем. У нас есть руки в самых верхах. Под самым тронем. Но сейчас наше дело висит на волоске. И спасти его можешь ты.

– В самом деле?

– Знаешь, я уже привыкла к цинизму и недоверию. Да у меня самой они – вторая натура. Если не первая. Знаешь, как с Андреем пришлось говорить?

Ступнев хмыкнул и почему-то покраснел.

– Вот же прожженный циник был. Жизнь под откос, душа пропащая, топчу всех направо и налево, потому что все такие. Сейчас краснеешь, правда?

– Давай не будем обо мне!

– Хорошо, хорошо. Вправду, мы теряем время. Так вот, если ты согласен помочь нам, согласен помочь этой стране – сыграй свою роль. Они хотят, чтобы ты предстал главным террористом, так предстань им! Андрей объяснит тебе, что нужно говорить и делать.

– Всего-то? – спросил я.

– Ты не представляешь, насколько это много! Я понимаю: всё это для тебя, может, и выглядит не стоящим никакого доверия. Но прошу тебя – поверь. Я не могу объяснить тебе всего, но это важно, очень важно. Ты поможешь всем нам, очень! Пообещай, что поможешь, пожалуйста!

Я помедлил. Языки фальшивого пламени – подкрашенные бумажки – беззвучно трепетали в струях горячего воздуха. Где-то за спиной тихо заскулили. Наверное, собакам надоело сидеть в темноте.

– Конечно, – кивнул я, – конечно. Само собой, помочь стране. Кто же против этого. Я... – я поперхнулся, – я согласен, конечно.

– Обещаешь? Даешь мне слово? Ты ведь дрался за меня, ты ведь не обманешь, правда?

– Да. – Я поежился. Как-то всё это было нелепо и смешно и совсем, совсем мне не нравилось.

Но я всё-таки заставил себя посмотреть Рысе в глаза и сказал:

– Обещаю!

Голос мой, неожиданно громкий, эхом раскатился по комнате. Рыся вскочила, обняла меня – и поцеловала в губы.

Уже по пути обратно, в вагончике, перед тем как Ступнев нажал на красный рычаг, я сказал ему:

– Наверное, всё-таки это и был твой сценарий мозгодранья от начала до конца. Припугнуть, приласкать да и сделать из меня главного террориста при всемерном моем согласии. А ты не боишься, что вот сейчас привезешь меня в мою милую камеру, я там поваляюсь малость, посмотрю на милый пейзаж и расхочу становиться главным террористом?

– Да ради бога, – пожал плечами Ступнев.

ПАТРОН ВОСЬМОЙ: ВАРЕВО

Людей приходило много. Новости о стычке с черно-пятнистыми разбежались, как блохи из горсти, обросли фантастическими подробностями, распухли, расплодились. Пошли слухи про американцев, высадивших в пуще десант, про непрерывные, уже неделю длящиеся бои в Городе, про переворот, про литовскую танковую бригаду в нарочанских лесах и «диких братьев». Говорили, армия восстала, президента свергает. А президентские воюют с милицией. Нет, наоборот, силовики с черно-пятнистыми восстали на президента, его нужно спасать, и всем дадут пенсии как партизанам войны.

На следующий после стычки день явилась половина мужчин города. Юнцов, норовивших протолкнуться вперед, брали за шиворот и велели идти играть в солдатики, пока молоко на губах не обсохнет. Приезжали из окрестных деревень на тракторах и грузовиках. Приезжали из соседних городов. База не вместила бы и десятой доли прибывших, да и Матвей Иванович, боясь, что его силы рассеются и разложатся в наплывшей массе, всех отправлял в Сергей-Мироновск.

Местную милицию и особистов поголовно заняли снабжением, размещением и проверкой прибывших. Принимали всех, но выдавали оружие и допускали на базу очень немногих, прежде всего – отставников, егерей и дезертиров. Особенно радовались роте контрактников седьмой дивизии. Рота дезертировала в полном составе, с оружием и бронетранспортерами. Контрактники сбежали, испугавшись арестов и слухов, и рассказали про концлагерь под Городом.

Заполонившая Сергей-Мироновск братия бурно негодовала, требовала немедленно выступать и опустошила все четыре универсальных магазина. На газонах стояли палатки, новоприбывших поселяли в сараи и гаражи, по приказу Матвея Ивановича город усеяли дощатыми сортирами, реквизировали всё продовольствие со складов и зерно с элеватора. Директор местного хлебозавода под дулом автомата вернул с собственного подворья и, руководя ошалелыми своими подчиненными, за одну ночь установил и отладил так и не украденную финскую пекарную линию. Горожане сразу сошлись во мнении, что такого вкусного хлеба никогда не ели.

Всех прибывших кормили и даже поили бесплатно. Но беспорядков, своеволия и драк не терпели. Всю милицию плюс взвод контрактников-дезертиров сразу определили в силы поддержки порядка. Агрессивно пьяных и забияк не били, а, по возможности, без членовредительства выкидывали из города и предупреждали: если еще раз покажут нос – останутся без зубов. Мародерство и грабежи пресекались беспощадно: двоих недорослей, отнявших у торговли окорок, судили прямо на площади, при большом стечении народа. Им предложили съесть украденное целиком – раз они, по их словам, мучались голодом и потому украли. Недоросли ели, пока их не стало тошнить, а потом им, под хохот и сальные шуточки собравшихся, стянув штаны, начали заталкивать рубленый бекон в задницу. Затем беднягам напихали в штаны ядовитой молодой крапивы и погнали из города.

Повариться в собственном соку, познакомиться разномастной, полутрезвой и осмотрительно бесшабашной братии, более всего напоминавшей посполитое ополчение времен Потопа, дали сутки. Новоприбывших определяли к довольствию и занимали работами по устройству жилья, никак не отвечая на вопросы касательно революционного будущего. Кто копать ямы для нужников не соглашался – тех отправляли восвояси, но без

скандала, объясняя, что дисциплина превыше всего, и всякий военный успех начинается с работы лопатой. Впрочем, артачившихся оказалось немного, в основном молодежь.

Управляться со всеми сомнительно совершеннолетними Матвей Иванович поставил Диму. Тот, похожий на помесь Сесиля Родса с тонтоном-макутом, не расстающийся с сигарой и черными очками, с кобурой под мышкой и парой каменных «эскадрерос» за плечами, вызывал священный трепет. Юнцы, протестующие против недопущения их в революцию, немели, глядя на него, и безропотно отправлялись восвояси. Правда, когда отправленных скопилось с полсотни, среди них нашлась пара активистов, и толпа обиженных пришла на площадь перед градоуправлением требовать справедливости. Дима встретил их спокойно и, не отвечая на выкрики, велел построиться. Негромко, вполголоса. Один из активистов протолкался вперед и открыл рот – но как раз в этот момент Сергей, вздувая жилы на шее, заорал по-старшински страшно, нечленораздельно, проревел тем особым, вбитым в учебке голосом, доходящим сквозь кожу и кость прямо до мозжечка:

– Строй-сс-сяяя!!

Толпа испуганно притихла и, толкаясь и спотыкаясь, попыталась превратиться в шеренгу.

– Хорошо, – сказал Дима негромко. – Хорошо. Значит, хотите воевать?

Шеренга нестройно закивала.

– А вы знаете, где у автомата приклад?

– Мы узнаем! – с вызовом выкрикнул активист, бицепсастый парень лет семнадцати в майке и с татуировкой на плече.

– Да, – кивнул Дима равнодушно. – Узнаете. И научитесь. Конечно. Скажу больше – вояки из вас получатся лучшие, чем из большей части здешней пропитой, заскорузлой публики.

Шеренга одобрительно загудела.

– Но, – Дима выпустил колечко дыма, – нам сейчас нужен не учебный материал, пусть и хороший. Сегодня нам солдаты нужны. Те, кто уже знает и умеет. Вы умеете? Повторяю вопрос: вы умеете?

– Атвеечать!! – рявкнул Сергей.

– Нет, – сознался татуированный активист.

– Хорошо, – сказал Дима. – Здесь остается тренировочная база. Думаю, за две недели вас натааскают. Кроме того, кому-то нужно будет поддерживать порядок, потому что милиция почти вся пойдет с нами. Понятно? Хорошо. Разойтись!

Когда толпа разбрелась, Павел покачал головой:

– С ними будут проблемы.

– Не наши проблемы, – ответил на это Дима. – Через день, максимум через два мы отсюда уйдем. Кто-то останется. Нельзя же оставлять Город без охраны. Пускай и тренируют малолеток – дело полезное.

– А мы че? – подал голос Сергей. – Да я б из них мясо за три дня сделал. Мальцы – они шустрые.

– Серый, – Павел вздохнул, – тебе всё командовать неймется. Да куда им. Ты сопли им будешь вытирать?

– Не, я не понял – мужиков навалило полон Город, у старика под рукой сброд, из них вояк настоящих – десяток без дюжины, а нас пацанов заставляют футболивать. Он че, нам не верит? После всего?

– А чего нам верить? – Павел усмехнулся.

– Думается мне, – сказал Дима лениво, выдохнув плотный белый завиток, – без подчиненных мы не останемся.

– Откуда им взяться? Пацанье, что ли, всё-таки брать будем?

– Пацанье, – произнес Дима глубокомысленно. – Тебе, кстати, сколько?

– Двадцать. Скоро, – ответил Сергей. – А че? Меня с двенадцати знаешь как мудохали? В спортшколе, а потом в учебке.

– Угу, – сказал Дима и затаился. Глянул на часы: – У нас есть время до двух. В два на заднем дворе – нам подгонят машину. До скорого.

Глядя Диме вслед, Павел сказал:

– Не понимаю нашего нового шефа. Знает он, про что говорит, или просто лапшу на уши вешает? И всем вокруг, и нам. Если б я своими глазами не видел, если б не знал, кто он...

– То что?

– То подумал бы – никакой он не гэбэшник. Не бывает таких гэбэшников. Студент сопливый. Мелкий фраер. Пустышка, фуфло. Сигара, очки. Дешевка вальсяжная. А я ведь и не знаю, кто он. Мы про него только и знаем, что сами навоображали.

– А по-моему, завидуешь ты, Павло. Завидуешь, – усмехнулся Сергей.

– Чему завидовать? Динамика у него хреновая, двигаться толком не умеет, ствол не держит.

– А зачем ему? Он тобой командует. А ты умеешь.

– Факт, командует – пока я согласен.

– А будешь не согласен, я тебе жопу на уши натяну.

– Ничего себе! – Павел хохотнул. – Скажите на милость! Откуда такая преданность?

– Оттуда. Ты че, не видел, как старик со своей кодлой на него смотрят? И как на нас? Если тебе своей задницы не жалко, так лучше я тебе ее сам оторву. Тогда, может, моя в целости останется.

– Ох, Серега. Если б хоть раз в жизни задумался!

– Такие, как ты, умники в болоте остались, – буркнул Сергей. – А я живой, нажратый и буду дело делать. Не из лохов бабки выколачивать, а дело делать. Типа ты не видишь, что тут поднялось. Матвей старикан конкретный, и Димон знает, что делает. Страну делает. А ты, умник, шестеркой был и опять стать хочешь.

– А сейчас я не шестерка? Ты, что ли, не шестерка, герой-чапаевец? Тебе скомандуют, ты и рад ать-два. Ты хоть соображаешь, во что мы вляпались? Нас же как вшей передавят.

– Вот оно в чем дело! Да ты еще и дристуна.

Павел ударил вполборота, неожиданно, хлестко, как прыгнувшая из кустов гадюка, но кулак его проткнул пустоту. Сергей, извернувшись, ткнул его сжатыми пальцами под ребра, но встретил на пути ладонь, ударил еще раз, отскочил. Оба замерли, сжав кулаки, глядя в глаза друг другу.

– Ребята, – благодушно сказал выглянувший из окна Дима, – бросайте детство. Нам тут сердобольная девица куренка стушила. Давайте, а то остынет.

– За дристуна – ответишь, – зло прошептал Павел и, повернувшись к окну, отпартовал, приложив руку к воображаемому козырьку:

– Так точно, херр комендант!

– Еще и огурчики – свеженькие, только с грядки, – добавил Дима, солнечно улыбаясь.

После обеда, обглодав ногу и полгруди здоровенного бройлерного куросущества неопределенного пола, Дима забрался в ванну. Курицу принесла исполкомовская секретарша, тощенькая робкая девушка с мелированной прядкой во лбу. Утром Дима попросил ее постирать рубашку. Девушка рубашку унесла, а к обеду вернула чистой до хруста и к тому же притащила кастрюлю, от которой исходил такой аромат, что с Димой едва не приключился голодный обморок. Девушка извинилась, что не зовет домой: мама прихворнула, и отец в отлучке, но за курицу не нужно ничего, ешьте, пожалуйста. Девушка назвалась Ириной, рассказала, что кончила школу год назад и не смогла поступить, везде конкурс и блат, а сейчас она здесь секретарит, и ей интересно, нужны ли медсестры. Она умеет, она на медсестру училась, у нее и удостоверение есть. Показать?

– Нет, – сурово ответил дуреющий от запаха Дима. – Лучше покажи, где здесь ванная.

Девушка показала. Он зацокал языком от восхищения, глядя на финский кафель и немецкую сантехнику.

– Вы прямо сейчас хотите? – спросила девушка, на всякий случай краснея.
– Нет, милая Ирочка, конечно, нет, – сказал Дима нахально. – Ведь курица. Я такое чудо не брошу.

– Я и вилки принесла. И огурчики, – пролепетала чуть слышно потупившаяся Ирочка.

– Ты чудо. Спасибо.

– Да это я так. Извините. Так мне можно будет... медсестрой?

– Конечно. Вечером, – отмахнулся Дима, рассудок которого уже оккупировали ванна и курица – судя по запаху, тушенная в сметане с морковкой.

После обеда Дима лежал в ванне, курил и пытался думать. От воды подымался цитрусовый, щиплющий ноздри парок, с голубого финского кафеля катилась испарина, сигарилья отсырела и едва коптила, а Дима, глядя на нестриженные ногти водруженных на край ванны ступней, пробовал разворошить набившуюся под лобную кость сладкую липкую вату. Получалось не очень. Как-то всё в сумасшествии последних дней получалось само собой. Понятно было – делать нужно то-то и то-то, а нет – мало не покажется. И каждая минута была занята, и сомневаться в будущем не приходилось – оно прямо перед носом, это будущее, главное, не зевать, несется, как паровоз. В ванне поваляться можно еще с полчаса, в два часа – в машину и к армейским друзьям, за железом. За танками в том числе.

Свой штаб Матвей Иванович устроил в исполкомовском особняке, в той части, где в имперские времена был райком партии. Преемственность власти – важное дело. Когда немцы заняли Город, гестапо расположилось именно там, откуда едва успела унести ноги имперская охранка. А после имперского блицкрига в сорок четвертом охранка вернулась на прежнее место – оставшееся, как ни странно, в целости и сохранности среди каменного крошева двух штурмов.

Матвей Иванович зазвал к себе всё прежнее городское начальство. Как и следовало ожидать, не отказался никто. Конечно, почти все тут же проинформировали кого следует, в меру знания и допуска. Матвей Иванович немало посмеялся, знакомясь с доносами своих новоявленных штабистов. Половина из них не нашла ничего лучшего, как пожаловаться в местный КГБ. Трое отправили доносы в область, глава милиции пытался дозвониться в министерство, а президентский «вертикальщик», умудренный опытом, решил отправить нарочного в столицу. Препятствовать Матвей Иванович не стал.

Об обстановке у себя он сам утром обстоятельно рассказал по телефону старому знакомцу из Города. Знакомец нервничал и всё норовил выяснить, насколько серьезны намерения. Матвей Иванович его успокаивал и заверял, что всё повернется наилучшим образом. Согласно плану. Знакомец мялся, ходил, как кот, вокруг да около и наконец-таки выдавил из себя: для кого наилучшим? Для Шеина? Или?.. Матвей Иванович на это сказал:

– Присылайте своих людей – увидите сами.

– А разве у вас никого из наших нет? – спросил тот.

– Присылайте еще – места на всех хватит, – ответил Матвей Иванович, усмехнувшись. А положив трубку, добавил, глядя в окна на торчащие меж деревьев шиферные ребра своей одноэтажной столицы:

– Если ваша молодая надежда и дальше будет действовать так же, замена окажется как раз к месту.

Впрочем, студент оказался на диво живучим и сноровистым. А как управляется с молодежью! Прирожденный комсомольский секретарь. Правда, сам еще сущий мальчишка. Зачем вчера за ОМОНОм гнались? Пускай бы себе удирал, ради бога. Но нет же – понеслись, догнали, стрелять принялись. Правда, получилось эффектно. Пропаганда пистолетом. Нынче, пожалуй, самая действенная.

Матвей Иванович подумал о том, что и его действия особо осмотрительными не назовешь – если, конечно, судить с прицелом на дальнейшее будущее. Скажем, на год вперед. Или даже месяц. Но в будущее прицеливаться придется уже другим. А на ближайшую неделю план выглядел очень неплохо и исполнялся безукоризненно. Люди повалили так, что

едва успевали принимать, – и кое-кого хоть сразу под ружье. Все городские службы работали на зависть, банкиры и кладовщики не артачились и выдавали под расписки. Полным ходом шло формирование новых рот и мобильных групп – городские запасы быстро истощались, и требовалось реквизировать у соседей. А заодно поднять и их.

Бунт не должен и не может стоять на месте – иначе он начинает поедать сам себя, разлагаться, воевать сам с собой в попытках поддержать дисциплину и готовность к бою. Слишком долгое отсутствие врагов рождает их среди друзей. Но с врагами проблем не будет. Требовались офицеры – их, слава богу, появилось достаточно. Оружие – достанем. Вон студентик отправляется к армейским друзьям. Себя назвать – назовем, и цели нарисуем, и светлое будущее пообещаем. «Фронт спасения Отчизны» – чем плохо?

За окном, среди зелени за площадью полуголые, пыхтящие под тяжестью досок и брусьев люди – новые волонтеры восстания – строили очередной туалет. Волонтеры суеились, мешали друг другу. На них сурово покрикивал одетый в пятнистое «хэбэ» егерь с карабином за плечами.

Дома, дома, дома – обшитые досками, обложенные кирпичами коробочки. Изредка новые, высокие, даже двухэтажные, а больше приплюснутые, жмущиеся к земле. На плоской земле возвышаться опасно. Одноэтажная, приплюснутая, вдавленная в землю страна. Доты за глухими заборами. И деревья. Городишки – островки полнокровной зелени среди полей, отгороженных чахлыми полосами посадок. Захолустные, мелкие, древние, тонущие в зелени местечки – только их не одолело то лето. В деревни, нитки хат вдоль засохшей глины улиц, оно врывалось клубами горячей пыли с полей, в больших городах приходило пляшущим на накаленном асфальте вихрем, давящим жаром бетонных стен, нестерпимым сверканием стекол. А местечки выдержали.

Деревья не пускали ветер и ловили крепкой листвой чад, сосали корнями вялую воду реченок и песчаных пластов, питающих старые, с едко скрипящими воротами колодцы. Люди всё так же неторопливо шли по утрам в конторы и мастерские, и на подоконниках в тополином теньке мерзли обернутые мокрыми полотенцами бутылки с лимонадом либо нарзаном. Продавалось жиденькое местное мороженое из разбавленного на молокозаводе порошка и жирное привозное, дорогущее, в соблазнительно яркой обертке. Размякшие продавщицы за прилавками слушали радиомузыку и жужжание легиона мух, разгоняемых пыльными лопастями вентилятора под потолком. По дворам бродили орды взъерошенных кур, норовящих оставить черно-белый липкий след на заботливо ухоженном крыльце.

Приплюснутая одноэтажная провинциальная жизнь – такой по-настоящему и жила эта страна. Бетонный конструктор и помпезные башни имперских времен, модельные панельные сборки или кирпичное рукоделие для нового среднего класса были наносным, внешним. Скорлупой жизни. А в Городе, на перекрестке проспекта Средневекового Просветителя и улицы Героев-академиков, сразу за ампирическим лбищем Академии изящных искусств двор тонул в сирени, и за оградками притаившихся среди зелени хат блеяли козы.

Одноэтажная жизнь упорно вгрызалась в прорехи Города, обзаводилась бульдогами или дворнягами при цепях и будках, прятала за изгородями гаражи и привинчивала к крышам спутниковые антенны – но упорно оставалась одноэтажной и пряталась за стенами огородивших главные городские магистрали блочных высоток. Деревня пряталась в болотистой низине за городским аэропортом, подле водохранилищ и зеленых зон, на рассеченных трассами холмах у вокзала. Городские власти воевали с ней и в имперские, и в новые времена, но одноэтажность побеждала, моментально скакнув от нищеты к роскоши, вульгарной, обширно-башенной, или изысканной, с коваными стальными розами ворот и японскими фонарями в садике, заботливо подстриженном и ухоженном.

У городских озер и водохранилищ, у реки, чьи прибрежные заросли заботливо сохраняли для дач и пригородных санаториев, на купленных за безумные деньги крошечных участках возникали кукольно-изысканные домики с черепичными крышами и тонированными стеклами окон. И, в подражание им, на пустырях за Городом росли легионы кирпичных, пеноблочных, притиснутых друг к другу особняков.

В Городе сохранились даже помещичьи усадьбы, оставленные среди новостроек, как оставляют одинокие деревья на распаханной целине. За запруженной, разлившейся речкой, на холме, рассеченном улицей Подпольщика, выжила дубовая роща и, среди кряжистых, заскорузлых деревьев, – белый легкий дом с огромными окнами, башенкой, лепниной. К крыльцу вела мощеная аллея, ровный коридор сильных деревьев, упирившийся в густую заросль на краю холма. С крыльца Город казался спокойной каменной грудой вдалеке – деревья глушили шум. На аллее было солнечно и нежарко, и белые стены дома светились матово, нездешне – часть чужого времени, выброшенная в другой век. За домом, там, где когда-то тянулись конюшни, мастерские, сараи и жилища слуг и пряталась в низине деревня, вкопался в холмы бетонный, отвесный микрорайон.

В тихом, болотистом городском углу, где Лошица, вдоволь напетляв среди пакгаузов и мастерских, втекала, разливаясь, в главную городскую реку, остался большой яблоневый сад, в имперские времена питомник при селекционной станции, чье управление заняло панскую усадьбу. Среди вековых вязов, среди яблонь и вишен, приречных ив, неохватных дубов прятались изукрашенные резьбой, ухоженные и подновленные дома и домики, флигельки, беседки бывшего имения Любанских.

За домами вдоль речной долины простирался панский парк, полный тенистых аллей, укромных местечек и свежих лужаек, где так приятно поваляться жарким летним днем, обнимая одной рукой подружку, а другой – бутылку вкусного, ароматного, только что вытащенного из прохлады, из норки в мокром прибрежном песке пива. Где на закуску можно набрать маленьких, незрелых, пронзительно кислых яблок и запечь их на костре. Где на круглой поляне перед усадьбой разбиты клумбы, и на гранитные валуны брызжет родник, и солнечные часы, впав от старости в добродушную глупость всегда показывают полдень.

Именно этот тихий, заброшенный уголок Города тревожил Шеина более всего. Город вычистили легко, на второй день чистки поддерживать порядок остались только верные черно-пятнистые да разного калибра и сорта милиция. Армейские части выдавили за кольцевую, разоружили, частью загнали в лагерь, частью рассовали по дальним окраинам страны. Почти в прежнем объеме возобновился подвоз продуктов, опустели разве только базары, да и то лишь в части, торгующей местной зеленью и овощами. Эшелоны и фуры с востока и запада по-прежнему заполняли своим содержимым склады, по-прежнему по трубопроводу шли на запад нефть и газ, оставляя положенную толику Городу и стране, по-прежнему продавались билеты и крутилось кино. Исчезли посты у вокзалов и хаотичные облавы, сильно уменьшившие количество смуглых лиц на улицах. Городских патрулей попадалось на глаза горожанам не больше, чем месяц назад, и автоматчики в бронежилетах перестали подпирать перекрестки. Но вот Лошица...

Шеина грыз липкий, навязчивый страх. Ближайшее окружение, вся комитетская верхушка выглядели, как после известия о кончине империи, когда перед всеми охранками маячил призрак новой мстительной власти, нищеты и неизбежных децимаций. И ведь всё получалось: войска послушно двигались и вполне запланированно бунтовали, дознания шли полным ходом, ведомство набирало силу не по дням, а по часам, мятежи в провинциях вспыхивали в полном соответствии с национальным характером – бестолково, шумно, многословно и буйно, но крайне нерешительно, с готовностью чуть что – разбежаться и попрятаться. Их подталкивали, не давая затухнуть раньше времени. Среди них имелся и серьезный, почти даже организованный, испытанный оружием бунт, не сегодня-завтра уже готовый для финальной фазы плана «Гражданская». Плана, который вознесет генерала Шеина к вершинам. Самым из самых, может быть. В конце концов, время военное. В конце концов, в стране почти не осталось людей с оружием, Шеину неподконтрольных. А у нынешней персоны номер один, кроме личного «эскадрона», инструмента точечных ударов, а не уличной войны, – кто? Никого.

Временами Шеин забывал о мучавших его вопросах, придумывал ответ, простой, всё расставляющий по местам, обманчивый, успокаивающий. А временами, глядя на очередной пухлый том сводок, снова говорил себе, что по-настоящему о происходящем знает не

больше, чем после того злосчастного выстрела на площади. Кто повел эти дурацкие вертолеты? Откуда пистолет и пули? Кто, зачем? Плюс ко всему – Лошица.

Там на круглом газоне перед усадьбой стоял темно-зеленый плоский, хоботастый «Т-80», а за деревьями прятались бронетранспортеры. Пятнистые автоматчики заворачивали от ворот всех, невзирая на удостоверения и лица, ничего не объясняя – лишь предупреждая, что после следующего шага начнут стрелять. Двое шеиновских офицеров, потребовавших встречи с начальством автоматчиков и предупреждение проигнорировавших, остались лежать перед воротами. Шеин, узнав об этом, тут же двинул к Лошице роту черно-пятнистых – и через полчаса отозвал ее, услышав в телефонной трубке недовольный голос. «Будет сделано!» – отпартовал генерал, а положив трубку, скрипнул зубами. Уже недолго осталось тянуться в струнку. Совсем недолго.

Офицеры пролежали у ворот полдня, пока присланная Шеином делегация смогла их вытащить и увезти. Лошицу окружили постами, попытались задержать идущую туда фуру – и обнаружили, что охраняют фуру четверо «эскадрерос». Шеин начал грызть ногти. На очередном совещании в верхах президент мрачно осведомился, сколько еще времени нужно терпеть. Шеин поспешно объяснил – и заметил, как переглянулись глава республиканского Управления и министр внутренних дел. Вернувшись после совещания в кабинет над площадью Рыцаря Революции, генерал составил список тех, к кому после успешного завершения «Гражданской» должны прийти. Начинали список все присутствовавшие на совещании.

Диме снова повезло. Когда в комнату, вышибив дверь, влетели омоновцы, полковник оказался у них на пути. Потому они замешкались и не сразу решились стрелять. А когда решились, было уже поздно. Полковник, оглушенный, ошалело крутил головой, стоя посреди перестрелки. Дима сшиб его на пол, упал с ним вместе, дергая кобуру, но вытащить пистолет не успел, грохот остался звоном в ушах, россыпью гильз и четырьмя телами на полу. Легли рядышком – как вбежали. Только последний чуть поодаль. Сергей первую пулю положил чуть ниже, в бронежилет – отбросил. Полковника вздернули на ноги, как куклу, и, ткнув в горло ствол, велели говорить. Полковник, заикаясь, рассказал, что ОМОН еще со вчерашнего дня держит его под прицелом. После той стычки – часть удрала, да. А некоторые остались. Домой вот ночевать не пустили. И что он мог по телефону сказать, когда в спину автоматом тычут? Поймите, они же озверелые. Сколько? Десятка три, не больше, остальные в область уехали.

Снаружи слышались шаги. Павел с Сергеем переглянулись. Сергей кивнул и поднял с пола автомат. Плавное и быстро, с полуприседа, крутанулся, ударил очередь. Снизу закричали.

Посыпалось стекло, с потолка брызнула побелка – со двора начали стрелять. Рыкнул мотором «КамАЗ». Дима, пригнувшись, снял со стола телефон, поднял трубку. Прослушал, вздохнул с облегчением: работает – и набрал номер.

– Проблемы? – раздался из трубки спокойный голос Матвея Ивановича.

– Полный пи...дец! – заорал Дима.

– За вами подхват идет – под началом Федора. Спокойно: десять минут, и они будут у вас. Сколько?

– Десятка три, самое малое. С броней!

– Главное, не высовывайтесь. Пересидите. До скорого.

– Что там? – свистящим шепотом спросил Павел.

– Через десять минут будут – за нами подхват идет.

– А с этим что? – Павел надавил сильнее. Полковник захрипел, стараясь встать на цыпочки.

– Не надо. Я думаю, старику есть о чем с ним поговорить.

– Слышал, гнида? – прошипел Павел полковнику в ухо. – Ты еще пожалеешь, что пулю не словил.

Поначалу ничто не предвещало проблем. Матвей Иванович сам звонил и договорился. Полковника он знал давно, знал, что военный городок Сергей-Мироновск-пятый на три четверти обезлюдел, а оставшихся едва хватало для работы при складах. Склады числились стратегическим резервом страны, имперским наследством, способным вооружить за мобилизационную неделю миллионы резервистов. Там же, за колючей проволокой под чахлыми кустиками прятались под тонким слоем земли «консервы» – ряды старых имперских танков, укрытых от посторонних глаз и ударов с воздуха. Так их прятали еще в прежние времена, обнаружив, что правильно закупоренный танк хранится не хуже тушенки, а разоружаться, закапывая танки, куда проще и выгоднее, чем разрезая их автогенном.

Матвей Иванович и выбрал Сергей-Мироновск не в последнюю очередь из-за возможности вооружить волонтеров. Конечно, склады, как один из немногих источников валютных поступлений страны и лично ее главы, охраняла не только армия, опальная и ненадежная. В городке была база ОМОНа – именно оттуда выкатились три угодившие в засаду ооновские мотороты. Предупредили об атаке тоже именно оттуда. Но потом полковник заверил, что ОМОН ушел. Весь без остатка. Солдат в застекленной будке у въезда вяло махнул рукой, пропуская «уазик» и пару «КамАЗов». Дежурный за столом у входа сидел, уткнувшись в ворох желтушной бумаги. Полковник широко развел руками, изображая радость, и сейчас же усал секретаршу, проворную прапорщицу в тесных брючках, куда-то за чаем.

Превосходный зеленый чай, китайский, еще когда в Средней Азии служил, понял – нет ничего лучше чая на жару, а мы еще и яблочек, и повидлочка, вы садитесь, садитесь. Полковник лебезил, и суетился, и опасливо поглядывал на дверь, и непрестанно бормотал, кивал, вытягивал губы – пытался изобразить улыбку. Потом дверь с грохотом распахнулась, визгнув вывороченным замком, а в руках Павла и Сергея оказались пистолеты.

Трое вбежавших получили по пуле в переносье. Четвертый, отброшенный пулей в бронежилет, получил вторую в глаз и успел взвизгнуть, падая на пол. Еще двоих Сергей сбил у лестницы – от автоматной очереди в упор они дергались, как марионетки, нелепо махали руками. Больше снизу не лезли. Полковничий кабинет находился на втором этаже, в конце короткого коридора, начинавшегося лестницей. Уйти можно было только по ней. Или в окно – пустое, с единственным уцелевшим стеклянным краешком, застрявшим в углу рамы. Пули выбивали ямки в бетоне потолка, вспарывали борозды в побелке. Во дворе затукал, зачихал крупнокалиберный пулемет. Сергей, выглянувший в окно на другой стороне коридора, крикнул: «Обе машины подожгли!», а Павел, зашипев сквозь зубы, рубанул полковника рукоятью в переносицу. Снизу, с лестницы, в коридор кинули гранату. Сергей отфутболил ее назад, прыгнул в комнату. Грохнуло, высадив коридорные окна.

– Ну что, шеф, что делать будем? – спросил Павел.

Дима, подобравшись на корточках к окну, осторожно приподнял зеркальце на длинной ручке, оставленное секретаршей.

– Ты хорошо стреляешь навскидку? – спросил Дима.

– Сносно, – ответил Павел.

– На, – Дима протянул ему свой пистолет. – К нашему окну поворачивает «БМП». Нас минут через пять собираются накрыть здесь. Целься в башню стрелка.

Павел покачал пистолет в ладони. Над головами свистнуло, выбив в потолке цепочку ям.

– Вот хренотень, – пробормотал он сквозь зубы.

Со двора заорали в мегафон: «Выходите по одному!» Не дожидаясь продолжения, Павел вскочил и выстрелил. Потолок, дальняя стена брызнули бетонной крошкой – но он уже лежал, уткнувшись лицом в пол.

– Ты в порядке?

Павел повернул голову, выдавил хрипло:

– В порядке.

– Ты попал, – констатировал Дима, приподнимая зеркальце. – «БМП» как-то уж очень резво подалась назад.

Зазвонил телефон. Дима, подобравшись к столу на четвереньках, снял трубку.

– Не высовывайтесь, – приказал Матвей Иванович. – Начинаем.

Дима еще не успел положить трубку, как здание дрогнуло от близкого взрыва.

Мертвых хоронили вечером. Семь укрытых кумачовыми полотнищами тел лежали на броне, окруженные молчащей, угрюмой толпой, а над нею, рядом с погибшими, стоял бледный, со стиснутыми кулаками старик. Слова падали на площадь – обрывистые, рваные, тяжелые, закипавшие в мозгу.

– Братья! Вы заплатили за нашу свободу своей кровью. Мы не забудем вас. Мы отомстим! Вас предали! Мы отомстим предателям. Мы отомстим всем, кто нас предает. Живые! – Старик простер над площадью руки, будто обнимая огромную толпу. – Вы отомстите? Отомстите?

Его голос ударом колокола раскатился над площадью. И с дальних ее краев, набирая силу, крепчая, пришло эхом «...стим-м-стим» и рванулось вверх синхронным ревом сотен глоток: «Мстим!! Мстим!!»

Площадь кричала, редела и клялась в истыканной прожекторами темноте. Матвеем Ивановичу помогли слезть с брони, повели под руки. У исполкомовского крыльца он оттолкнул поддерживавших: «Я еще не инвалид!» Скрипнув зубами, шагнул на ступеньку, поднял одеревеневшую ногу, шагнул скова. На его лбу проступили капли пота. Наверху, в кабинете, Ваня подал ему кружку свежего, крепкого кофе.

– Потом, – выдавил Матвей Иванович. – Воды. Теперь – воды.

– Вот, – сказал Ваня, – тут бутылка «Дарницы» в холодильнике. Вам врача вызвать?

– Потом. Зачем он мне сейчас?

– «Потом» может и не быть. А что без вас будет с нами?

– Не спеши меня хоронить. Я еще здесь и даже могу бегать. Я еще увижу танки, наши танки, на улицах Города. А что потом – мне не важно. Сделай мне укол.

– Но, Матвей Иванович, я же перед выступлением сделал вам, – сказал Ваня обеспокоенно.

– Сделай еще один. Мне уже можно.

Пока старик пил воду прямо из полуторалитровой бутылки, Ваня, отбив стеклянный кончик ампулы, набирал в шприц бурюю жидкость. Перетянул жгутом старческую руку, воткнул, надавил на поршень. Матвей Иванович откинулся на спинку кресла, закрыл глаза.

– Хорошо. Почти как двадцать лет тому назад.

– Для вас это яд. Вы убиваете себя. И очень быстро, – укоризненно покачал головой Ваня, пряча коробку с оставшимися ампулами.

– Мне и так немного осталось. Знаешь, как это когда из твоей жизни сыплется песок? В суставы, в мозг, в душу.

– Я уже договорился с врачом. Толковый молодой парнишка.

– Утром. Утром я решу, нужен ли мне врач. А сейчас мне хорошо, я хочу кофе и хочу отдохнуть.

Ваня выбросил шприц, сунул в кожаный саквояжик жгут и пакет ватных тампонов. Повозился с замком. Наконец защелкнул, обернулся. Старик спал и улыбался во сне. Ваня накрыл его пледом и, выйдя из комнаты, осторожно притворил за собой дверь.

Павел с Сергеем не были на площади. Вернувшись из военного городка и отконвоировав полтора десятка успевших сдать пятнистых в подвалы райотдела, они поехали на базу, к Сергею-второму. Того два дня подряд лихорадило, привезенные из райбольницы доктора накачивали его старыми дешевыми антибиотиками и чистили рану. К вечеру он пришел в себя и немного поел, поэтому на привезенные фрукты и копченую колбасу едва глянул.

– Вы б мне хлебнуть чего дали, – сказал он, глядя в потолок.
– Тебе нельзя, – ответил Павел. – Ты напенициллинный.
– Мне по х...й, – буркнул тот. – А тебе что, не по х...й, сдохну я или нет? Так хоть хлебнуть бы дал.

– Остынь, Серый, – сказал Сергей. – Я тебе травы привез. Насилу достал. Здесь глуше, чем в космосе. На вот... раскурю тебе даже.

– Ну давай, раз привез... – Сергей схватил протянутую самокрутку, жадно затянулся, выдохнул. – Пробирает. Злая она здесь.

– С махрой мешанная.

– Чего-то я вас, братва, не пойму – вы что, действительно собрались впихивать на этих козлов? После того как они наших порубили? Или вы время тянете?

– Тянем, – ответил Павел.

– А ты попробуй допереть, с кем нам квитаться, – взбеленился Сергей. – Может, с тем, кто нас на болото послал, а? А кто приказал людей стариковых порезать? И ведь не один раз. Ему есть за что нас не любить.

– Ты мне лапшу не вешай. Ты с хлопцами из одной миски хлебал? Вместе в говне был? Они тебя вытаскивали? А сейчас всё забыл? Ссучился?

– В том и дело – в говне. А сейчас я хочу из говна вылезти. Подумай: ты не хлопцам служил. Ты служил большому дяде. А помнишь, когда он наших подставил? Помнишь то дело о пропавших? Кто приказал? А кому потом терпеть пришлось?

– Х...йня! – отрезал Сергей. – Если б мне, как вам, пистолеты дали, я б тут всех покрошил.

– Ты подумай, почему ты еще жив. Нам всем комитетчик предложил подумать. Мы с Сергеем поняли, почему. Ты, я вижу, не захотел, – сказал Павел.

– Ты, умник, всегда был сукой. Кто больше даст, тому и лижешь.

– Вспомни Рябого. Вспомни. Он из болота сам вылез. Приполз к своим. А свои? Помнишь, как его? И не ты ли первый орал? – скривился Павел. – Тогда тоже чувство локтя было, да? Не ты ли помогал его к стулу прикручивать, когда его сывороткой качали? Вы ж друзья были с ним – с одного двора?

– У-у, сука!! Сука!! – Сергей зарычал. – Если б не наручники, я б тебя!..

– Если б не наручники, ты бы бросился на меня, и я бы тебя убил, – хмыкнул Павел. – Избавил бы от хлопот и себя, и остальных.

– Серый, – сказал первый Сергей, – у нас стая, ты не понял? Сильные живут, а ослабнешь – съедят. Ты сильный был, тебе по х...й было. А сейчас подумай: явишься с пустыми руками, думаешь, тебе поднесут и за стол посадят? Да с тобой то же, что с Рябым будет, а то и хуже.

Сергей не отвечал.

– Молчишь? Ответить нечего? Ладно, молчи. Жратву мы тебе оставляем, а вот тут еще травка в мешочке, зажигалка, бумаги клочок – хорошая бумага, настоящая гильзовая, я у полковника в сейфе нашел. Выздоровливай, ума набирайся. Ну, мы пошли.

В машине Сергей выматерился в сердцах и сказал:

– Хоть бы спасибо какое. Вот же козел.

– А он прав, – меланхолично заметил сидящий за рулем Павел. – Как ни объясняй, по сути мы – ссучились. И ты тоже прав – с пустыми руками назад к нашим являться нельзя. А вот если не с пустыми...

– Ты о чем? – насторожился Сергей.

– О текущем моменте. Ты вот советовал Серому подумать, а сам подумать хочешь? О нашей личной будущности. Ты вот за здешнюю революцию и чувствуешь себя, б...ядь, вершителем мировых судеб. А не видишь, как на нас смотрят и куда пихают. В каждую жопу пихают. С полковником – нас сунули вперед. Покрошат – не жалко. И с погоней тогда чуть не накрылись. Наш шеф – он только и рад. Тебе не кажется, что у него не всё в голове на месте?

– Опять? – спросил Сергей.

– Ладно, проехали, – сказал Павел примирительно. – Да, замечательный, храбрый, пусть даже умный, хотя и у старика на побегушках. Да только если, не дай бог, с ним что случится, как думаешь, сколько ты тут проживешь? Это для Димона ты почти свой, разве что тупее обычных его корешей, а для них ты сто раз враг и врагом останешься, хоть ты им собственноручно весь спецназ завали. Так что подумай, мой боевой товарищ Сергей, каким образом ты сможешь дожить до пенсии.

– Если так, как ты, то на х...я доживать? Димон нам поверил. Мы ведь могли сто раз уже что угодно с ним сделать. Но не сделали. А почему? Он нам поверил, вытащил... Мне поверил, тебе. Оружие дал. С нами вместе лез и впереди нас. Сам рисковал. Понимаешь, тут – не стая. Тут такое... я тут больше, понимаешь. Яс вами полз, копался, лохов валил, из дерьма в дерьмо, каждый день. Да меня-то и осталось на ноготь, не больше. Сплющился. Стоптался. Внутри стопталось, понимаешь? А, что тебе говорить. Тебе б только лыбу давить да жрать. Не с пустыми руками вернуться хочешь, значит. Только знай: если ты Димона пальцем тронешь, я тебя зарюю. Я тебя откуда угодно достану и зарюю!

Павел не ответил. Он смотрел на запыленную дорогу, на чахлые, нищие, удушенные пылью тополя по обочинам. Машину дергало на засыпанных мелким песком выбоинах.

После площади Дима вернулся в исполкомовский кабинет, к канцелярским столам и желтому графину на подоконнике. Хочешь-не хочешь, вторую ночь придется ночевать здесь, на страшном черном диване, с охапкой бумаг под головой. Диваном пользовался, должно быть, еще городской голова, а то и поветовый писарь, заказавший набитый конским волосом кожаный мех на деревянной раме. За столетия чиновничьи седалища промяли ухабы и выбоины на диванной спине, сбили волос в окаменевшие гребни. Но всё равно – сейчас спать хоть в борозде. Трясет. Возбуждение ушло, схлынуло, и осталось ломотье в локтях, коленях, под височной костью. В желудке.

В шкафу нашлись два затянутых фольгированной пленкой брикетика. И бутылка. Это хорошо, что бутылка. Дима свинтил пробку, нюхнул – ничего. Отхлебнул сперва немножко, потом хватанул полный рот. Сморщился – уф. Принялся драть ногтями фольгу на брикете, кроша, выломал кусок галеты, сунул в рот. В дверь постучали – нерешительно, осторожно. Дима сказал с набитым ртом:

– Ай-ыто.

В дверь постучали снова. Дима, схватившись за пистолет, подошел к двери, распахнул – за ней стояли тощенькая, трудоемко раскрашенная Ирочка и с ней пухленькая веснушчатая девушка, маленькая, вся рыже-золотистая, солнечная.

– Здравствуйте, – пролепетала Ирочка, глядя на пистолет.

– А... – с облегчением вздохнул Дима, суя пистолет в кобуру, – вы.

Он хотел сказать, что очень устал и сейчас никаких разговоров про медсестер, но, посмотрев на румянец, ползший вверх по тощей Ирочкиной шее, на светлую, теплую кожу рыженькой, рассеянно выговорил:

– Заходите, у меня коньяку бутылка. Правда, с закуской не ахти.

– Мы принесли тут немного, мы же знали, что вы устанете. – Ирочка, скривившись от усилия, извлекла из-за двери сумку и поволокла ее к столу.

Веснушчатая, лукаво глядя на Диму, сказала:

– Рыся, – и протянула пухлую ладонь.

– Я тебя знаю, – сказал Дима, неловко улыбаясь, – я ведь тебя видел. И не раз. Где же?

– Может быть. Я из Города. Сюда в гости приехала, – пояснила Рыся, сверкнув золотистыми, удивительной глубины глазами.

Из сумки появились привычный куренок да в придачу свиные, вываленные в сухарях отбивные, огурцы и маленькие, крепенькие ранние помидоры, ворох выпеченного на водке, осыпанного сахарной пудрой хвороста, салатки в кастрюльках, бутылка домашней наливки. Ирочка, залитая густым румянцем до ушей, смущенно призналась, что коньяк не пьет и

никогда в жизни не пила, настоячки, если можно, капельку, на самое доньшко.

– Ну-ну, – говорил Дима и подливал, всё ожидая, когда Ирочка заговорит про медсестер, и пытаюсь придумать, что ответить ей, но она без умолку щебетала о совершеннейшей чепухе: какие-то машины, опоздавшие ребята и институт. С институтом всё кончено, там же, сами знаете, блат нужен и деньги, а здесь можно направление. – Да-да, направление, – поддакивал Дима, а взгляд его, влекомый теплой силой, скользил, карабкался по шелку кофточки, бархатистой щеке, к глазам. Не бывает таких глаз, не видел никогда, они – золотистое, зыбкое море, тянущее, иссушающее, соленое и неверное, знакомое, такое знакомое.

И вдруг Дима, с трудом ворочая непослушным языком, выговорил:

– Я знаю... не помню откуда, но знаю. У тебя – родинка. Маленькая. Рыжая такая. Теплая. За левым ухом.

Рыся рассмеялась – низким, хрипловатым, мягким, как кошачья шерсть, смехом.

– Извините, – залепетала залившаяся краской Ирочка. – Извините, мне пора. У меня дома, знаете... Извините. Я... я потом заберу.

И исчезла. Тихо, как мышь, прихватив сумку с собою, двинув по пути щеколду, и никто не глянул ей вслед.

– Ты кто? – спросил, нет, хотел спросить Дима, но язык не слушался, и вслед за взглядом заблудившаяся, мутная душа его исторглась из тела и взлетела, забила под желтым кошачьим солнцем, узким, бездонным. Обвились вокруг пальцев неслышные волосы, дурманы, воздушный шелк, и Дима вдруг понял, что знал, давным-давно знал эти плечи, эти волосы, погибельное сладкое забытие, и закрыл глаза. И тогда в пустоту, оставленную душой, хлынули пьяным потоком все прошедшие над этой землей лета.

ПАТРОН ДЕВЯТЫЙ: ПОДВАЛ

Я поужинал в своей камере, сидя на резиновой койке. Сквозь окошко в двери мне просунули миску желто-бурого варева – то ли распавшийся горох, то ли пшенка – и стакан едва теплого чая. Меня мучила жажда, и я выпил чай залпом, запоздало подумав о том, что как раз в питье, должно быть, и сыплют химию. Вариво я съел без остатка, выскреб миску пластиковой одноразовой ложкой и, пожалуй, съел бы еще. Хотя по-прежнему болела голова и от каждого резкого движения будто шилом кололо в виски, ощущалась в теле какая-то животная, неразумная радость, веселье застоявшихся мышц, которым позволили наконец размяться.

Я даже и заснуть не мог. Лег, закрыв глаза, потом встал, заходил кругами по комнате. Было бы с чего радоваться. Ведь в такой заднице, подумать страшно. Сделают, что хотят, изуечат, выставят чудовищем и самого еще заставят подтвердить, что чудовище. И ведь согласился уже. Террорист от Академии. А ведь это как по Академии придется? Ее же всю перешерстят, дескать, посмотрите, кто у вас работает, народные деньги проедает. Боже ж ты мой, заговор физиков-теоретиков. Бандитизм в квантовых полях. Это и завлаба потянут, и всех коллег, и друзей, и дирекция вся наверняка полетит. Стольких людей подставляю!

Но тут я сказал сам себе: всё это – попросту цыплячий писк, рецидив совести. На самом-то деле, если глянуть поглубже, в нутро, – наплевать мне трижды на институт и его обитателей. К тому же не так это просто – академический погром устроить. Половина моего института работает на всех континентах этой дурацкой планеты: в Штатах, Канаде, Бразилии, в ЮАР, в Австралии, в Японии, в Китае, не говоря уже про Европу. Даже на антарктической станции есть парочка оригиналов, отправившихся на годичную вахту подзаработать. Пусть попробуют подступиться, это им не историю громить, которая у нас и так услужливо ложится под любую власть.

Ходил я с полчаса, самое малое, – пока не выключили свет. Но и тогда лежал с открытыми глазами, пока темнота мало-помалу не просочилась внутрь, не склеила

отяжелевшие веки. Заснув, увидел во сне Рысю. Теплую, маленькую, совсем близкую. И застонал, шаря руками по резиновой своей постели.

После завтрака – такой же невразумительной бурды с едва теплым чаем – пришел Ступнев. Выглядел он еще хуже, чем накануне, заросший, измятый и наверняка не мывшийся, по крайней мере, с позавчерашнего дня. Он него пахло прокисшим потом и гарью, на рукаве засаленного серого пиджака зияла дыра.

– Пойдем, – сказал Ступнев хрипло.

Я покорно пошел. Шли мы на этот раз недалеко и недолго. Поднялись, спустились. Ступнев остановился перед обитой жестью дверью, сунул ключ в замочную скважину. Повернул, пропихнул дверь внутрь, скрежетнув по полу. За дверью оказалась длинная комната с парой стальных шкафов и узким деревянным столом, похожим на стойку бара. Ступнев открыл один из шкафов, покопался.

– Слава богу, есть. На, держи, – и вручил мне деревянную коробку. – На стол поставь.

Я послушно поставил. Коробка была увесистая, темно-зеленая, со сдвигающейся крышкой. Пенал-переросток. Я сдвинул крышку. Там из круглых деревянных гнездышек торчали желто-лаковые кругляшки – пули. Рядок к рядку, аккуратные и ровные.

– Етит твою, наушники снесли! – Андрей сплюнул. – Ладно, сойдет. Привыкнешь.

– К чему привыкну?

– Вот к чему. – Ступнев достал из кармана пистолет. – Ты когда-нибудь такое в руках держал?

Пистолет был большой, серый и, наверное, тяжелый. От него пахло солидолом.

– Нет, не держал, – сказал я, глядя на оружие. – Ты знаешь, я не уверен, что хочу держать.

– Мне тебя отвести назад, в твою конуру?

– Нет, не надо. Я... я ведь согласен, так? Без этого разве никак нельзя?

– Какой же ты террорист, если ствола в руках не держал?

Вообще говоря, стреляющие вещи я пару раз в руках держал. Когда-то, еще в школьной юности, развлекался с мелкашкой. Слабенький патрон, крохотная мягкая пулька. Даже отдачи почти никакой – так, сухой треск, и в мишени-фанерке появляется очередная дырочка. Еще в школе меня учили разбирать-собирать автомат Калашникова. Я даже стрелял из него – положенные по норме НВП десять патронов, орущий старшина, быстрее, быстрее, другие ждут, скачущий в руках автомат, посылающий пули куда-то в овраг за мишенями, на которых и круги-то почти не различимы. Но это было как-то не взаправду, не по-настоящему. Как подъем с переворотом – сделал, пыхтя, и слез. Ощущения, что держишь в руках что-то опасное, ощущения настоящего оружия не было. А вот здесь... он был действительно тяжелый, этот пистолет. И так лежал в ладони, что его тяжесть была к месту, будто продолжение кулака – увесистое, твердое. Он даже согрелся как-то незаметно, будто заранее подстроился под тепло ладони, чтоб не показаться чужим.

– Что, нравится? – усмехнулся Ступнев. – У меня тоже поначалу, будто бабу лапашь. Потом привык. Просто кусок железа. Дай-ка сюда. Смотри: здесь нажимаешь, и магазин выходит. Вот эта коробочка с пружинкой и есть магазин. Вот так патрон вставляется, сильно жать нужно. На, попробуй... На патрон давить не бойся, он не стеклянный. А вообще говоря, патроны проверять нужно. Смотреть: не болтается ли пуля, не кривой ли, не поцарапанный ли, и всякое такое... Теперь возьми в руку. Держи несильно, но крепко, как ложку. Тут предохранитель на рукоятке, пока не сожмешь – не выстрелишь. Главное, ты запомни – из пистолета стрелять непросто. Никаких навскидков, молниеносных выдергиваний из кармана, стрельбы от пуза и прочего. Пистолет, он короткий и легкий, чуть поведешь, и уже за молоко ушло. Руку держи ровно, на уровне глаз. Нажимаешь на крючок на выдохе, понял? Если хочешь, можешь второй рукой поддерживать, за кисть. Вот так. Ну, пробуй. Видишь, там вроде полочки на стене, и жестянка на ней. Ну, давай! Сильнее нажимай, тут же автозвод!

Пистолет шевельнулся в руке, как живой. В комнате вдруг стало очень тихо, будто щелкнули невидимым тумблером. Я, скосив глаза, подсмотрел, как кувырнулась по столу

гильзочка – блестящий желтый цилиндрик. Беззвучно, совсем беззвучно. Андрей, глядя на меня, беззвучно же раскрывал рот, как рыба. Я улыбнулся ему и всадил патрон за патроном в белую стену вдалеке. Там, как умирающий зверь, после каждого выстрела подскакивала и металась по полке искореженная жестянка.

Генерал Шеин не спал вторые сутки. Его трясло от страха и ярости. Подозрение, двадцать четыре часа назад бывшее смутным кошмаром на самом краю реальности, превратилось в черную, кременно-твердую уверенность. Он, Шеин, – всего лишь пешка, жалкая пешка в комбинации, разыгранного вульгарным, недалеким, пещерно-хитрым человеком, стравившим своих врагов, когда они стали слишком сильными, чтобы свалить их себе под ноги и снова подпереть свой зашатавшийся трон. Руками его, Шеина, разгромлена обнищавшая армия, разгромлена так, что ее теперь проще создать заново, а не восстанавливать. Разгромлены остатки армейской разведки, обескровлено республиканское Управление, прекратившее все операции внутри страны, даже вялую свою активность по расследованию того выстрела на площади, будь он тысячу раз проклят! Сотни изувеченных, выволоченных в ночь из постелей, брошенных на грязный асфальт за колючей проволокой. Всё – его, Шеина, руками. Вся кровь и грязь.

И как ведь всё вроде бы гладко выходит! Всё получается, все повинуются. Войска МВД и спецназ, переданные под его командование, послушны и эффективны. Вот только все попытки заменить офицеров на своих, комитетчиков, будто горох об стену. Комитетчиков принимают, приказания исполняют – но только после того, как их повторяют свои офицеры. А еще есть Лошица. Большой воспаленный зуб. Нет, не зуб даже – гангрена на всех его, Шеина, планах. Первая точка приговора. А он-то недоумевал, почему «эскадрон», мать его, с ума сошел, бегаёт свои кроссы, будто он где-нибудь под Саратовом, а не в сердце страны, заболевшей войной. Как же, кроссы бегают.

Вот за них-то, ублюдков, и стоило взяться в первую очередь. А то они сейчас в Сергей-Мироновске этом сраном, в кубле этом, кроссы бегают. Быдлу автоматы раздают. Дезертиров собирают. А с ними на пару друзья-коллеги из республиканского. Помирились, гляди-ка ты. Что ты им пообещал, колхозник усатый? Или просто стравливать надоело? Шеин погрозил потолку кулаком. Потом грохнул им по столу.

Уже давно сообразить нужно было. Еще с самого начала, с того совещания, на котором отец родимый благодушно улыбался в усы, слушая грозные известия про грядущий мятеж. Он уже тогда знал. Уже тогда! Он уже тогда составил все фигуры на дурацкой своей доске и улыбался, когда противник сделал давно предвиденный, погубительный для себя ход. Но мы еще посмотрим, кого этот ход погубит. Еще посмотрим!

Генерал Шеин повторял это, глядя на лежащий на столе клочок бумаги, тщательно отчищенный, разглаженный, подклеенный. Но всё равно с пятнами, с желто-коричневыми разводами. Клочок бумаги заклеили в пластик, продезинфицировали, но даже сейчас Шеин мог поклясться, что от него исходит невыносимая, тошнотворная вонь.

Управление держало руку на пульсе всех городских служб. Сам генерал был одним из немногих, способных похвастаться детальным знанием всей изнанки городской жизни, всех медленных и быстрых потоков, путей, которыми Город, исполинский зверь, заглатывал пищу и испражнял – трупы, мусор, фекалии и помои, вязкими реками плывущие под шкурой Города. И весь навоз особо важных персон и ведомств просеивался тщательнее, чем золотonosная порода.

Клочок, легший на шеиновский стол, попал в канализацию из туалета личного президентского гаража.

Шеин собрал совещание и, глядя красными от кофе и бессонницы глазами на своих угрюмых офицеров, поднял и показал всем клочок:

– Как это понимать?

Ответить не попытался никто.

– Мне доложили, что в то утро он собирался ехать на Сырой пляж. Так почему вы не потрудились узнать про это? – Шеин ткнул пальцем в оклеенный пластиком обрывок серой казенной бумаги. – Почему я только сейчас узнаю, что все выезды машин его гаража были отменены как раз в то время, на какое были запланированы? Вы понимаете, что это значит?

Второй зам решил нарушить повисшую тишину:

– Это может и ничего не значить. Всем известно – он меняет решения по десять раз на дню. И в последний момент тоже.

– Особенно тогда, когда к его приезду собирают народную самодеятельность, когда готовится очередная публичная пробежка трусцой с телевидением и пыхтящими министрами?

– Ну, это всё готовилось не один день, – терпеливо пояснил зам.

– Особенно когда Лошица, когда приказы саботируются, – продолжал Шеин, не слушая зама, – когда Город официально передан под наш контроль, а по улицам разгуливают непонятные люди с оружием и удостоверениями президентской администрации? Вам не кажется, дорогие мои, что маскарад разыгрывался специально для нас? Что мы с вами – пешки? И скоро станем мальчиками для битья? Мы раздавили армию, лишили республиканцев почти всякой опоры внутри страны – у них только внешняя агентура да их резиденция с подвалами. Мы оторвали у МВД всё, не подчиняющееся непосредственно президентской администрации. Мы по локти в дерьме и крови. И что теперь, по-вашему, с нами будут делать? Что с нами хотели сделать с самого начала? Кого, как вы думаете, сделают зачинщиками бунта, террористами номер один?

На дальнем краю стола референты переглянулись. О, как Шеин ненавидел эти косые, быстрые взгляды, эти тайные знаки зреющих, как гнилой прыщ, трусливых, подлых делишек. Генерала передернуло от внезапной ненависти.

– Если кто-то не понял, козлами отпущения хотят сделать именно нас! И если кто-то из вас надеется выжить, когда всех нас будут давить, – не надейтесь! «Гражданскую» теперь не остановит никто! Знайте – теперь мы вместе до конца. Какой бы он ни был! – Генерал помолчал и добавил, уже спокойнее: – Я отдал приказ. Тот самый.

– Как? «Три звезды»? – выдохнул зам.

– Да, – подтвердил Шеин.

Ему очень хотелось расхохотаться, глядя на ошеломленных, недоумевающих своих штабистов, но он сдержался. Он знал – они, еще не успев стереть с лиц прорвавшееся изумление, уже начали лихорадочно, как удирающий таракан, искать выход, перебирать варианты, среди которых предательство значилось под номером первым. Да, никто из них ни на секунду не усомнится. Вопрос только в том, что принести, чем откупиться, чем заинтересовать, чтобы не отобрали и не расплющили. Дерьмо. Трусливое, потное дерьмо. Никому из вас уже нет дороги назад. Вы умные – вы поймете. А когда поймете – тогда пусть поберегутся вас, загнанных в угол. В углу крысы всего опаснее.

Ночью у ворот концлагеря длинной чередой выстроились фуры. Заключение, выстроенных в две шеренги, загоняли в них по живому коридору из оскаленных собачьих пастей. Псы хрипли от лая, рвались с поводков. Фуру забивали за минуты, запикивали по двести человек, закрывали заднюю стенку, давя пальцы и ломая руки, утрамбовывая людей в темном, душном жестяном коробе. Машина трогалась с места, тут же подруливая следующая. Раненых и больных, всех, кто не мог бежать, оставляли – потом. Машины, не дожидаясь друг друга и эскорта, уходили по одной на северо-восток, к заросшим соснами безлюдным холмам, где в имперские шестидесятые потратили длинные миллионы на мемориальный комплекс на месте сожженной карателями деревни, чье название стало злой насмешкой над тысячами расстрелянных поляков. Туда, куда с вечера выдвинулись по тревоге оба переданных под шеинское начало полка спецназа.

Этой же ночью бесшумно, из снайперских винтовок с глушителем сняли часовых у входа в Лошицкий парк, и через стены, сквозь ворота в парк хлынули десятки черных теней.

Но под стенами, невидимые в темноте, их встретили растяжки. Истошно завывали, взмывая в небо, брызжущие огнем сигнальные ракеты. Загрохотали разрывы. И, проснувшись, медленно повел стволом осевший в рыхлую клумбу перед двухвековой усадьбой танк. Внезапность всё же решила дело – в усадьбе и парке оказалось совсем немного солдат, не больше роты. Танку дважды вlepили из гранатомета под левую гусеницу – вторая граната детонировала боеукладку, и башню сорвало, как шляпку гриба.

В ночном парке в зарослях у реки сцепились нож к ножу, дрались неистово – кулаками и зубами. У нападавших была инфракрасная оптика – но из-за прогретой дневным солнцем, парящей земли, из-за лоз и высоких трав она помогала слабо. Над головами одна за одной злыми цветами распускались ракеты. Беглецы бросались в реку, к густым болотистым зарослям на другой стороне. По ним стреляли, и течение волокло обмякшие тела к отмели под крутым берегом со старым кирпично-деревянным лошицким поселком на нем. В поселке стреляли дольше всего. Никак не могли выбить засевших в заброшенных домах у шлюза, пока не подогнали БМП и не расстреляли дома в упор с другого берега.

Одновременно с атакой на Лошицу, взорвав перегораживающие канализацию решетки, боевые группы, пройдя по тоннелям, ворвались в президентскую резиденцию у Офицерского собрания. А на окраине, там, где Великокняжеский проспект подбегает к кольцевой, у разлившейся, перегороженной плотинами городской реки, где за высокими заборами прятались невысокие уютные особнячки президентской дачи, бронетранспортерные чрева одного за другим выплевывали солдат.

В эту ночь Шеин поставил под ружье всех – даже бледных, просиживавших сутками за компьютером юнцов из аналитического отдела. В здании на площади Рыцаря Революции осталась горстка людей. Группы пошли на телевидение и радио, на коммутаторы, во все «нервные узлы» Города. Посреди ночи по всему Городу отключились телефоны – и кабельные, и сотовые, – отключился Интернет. У подъездов онемелых домов визжали тормозами машины. Приехавшие, на ходу сверяясь со списками, ломались в двери квартир, волокли полуодетых людей вниз, запикивали на задние сиденья.

Приказ «Три звезды» работал, и никто, даже сам Шеин, уже не мог его остановить. Началась ночь длинных ножей – а ее хозяин, сидевший один в пустом темном кабинете перед шеренгой мертвых телефонов, смотрел на нее сквозь распахнутое окно.

Запели петухи. Разноголосо, наперебой. Петушина волна. Начинал один где-то поблизости, раскатывал во всю глотку, а подхватывали сразу полдюжины, стараясь друг дружку переорать. Заглушали даже крики сержанта, муштровавшего с утра пораньше кого-то на площади. Солнце щекотало нос. Зеленое, теплое утреннее солнце.

Дима потянулся и перевернулся на бок, прячась от солнца. Нет, невозможно. Петушины крики бились в барабанные перепонки – тут и мертвый вскочит. И диван – булыжное чудовище, на боках, наверное, сплошные синяки. Дима разлепил глаза и обнаружил, что покрыт кумачовым полотнищем, глянцевитым и блестящим, точно рубиновое стекло, а под полотнищем он вообще-то голый. И в комнате никого нет. Дима некоторое время, хмурясь, пытался разобраться, почему его это так удивляет. Наконец вспомнил и густо покраснел.

Среди крошек на столе стояла полупустая бутылка коньяка, заботливо прикрытая жестяной крышечкой, пахло утренней листвой – этот запах принес рассветный ветер, еще не успевший раскалиться, – и, почти неслышно, мускусом. От этого запаха по чреслам пробежала сладкая дрожь. И сразу будто повернули неслышный ключ, открывая память... Теплые ключицы, волосы, свежий запах шелковистой, ускользающей из-под пальцев кожи. Дима скрипнул зубами. И ведь ушла, и ничего не оставила – ни записки, ни даже... а где же мое?.. Он вскочил, лихорадочно озираясь, и вздохнул с облегчением. Одежда, аккуратно сложенная стопочкой, лежала на стуле. Джинсы, майка, даже несвежие трусы. А поверх – кобура с пистолетом в ней.

В дверь постучали.

– Минуту! – проорал Дима, впрыгивая в джинсы. – Ага, всё, можно!

В дверях показался Павел.

– Доброе утро, босс, – сказал он добродушно. – Тут к нам пополнение прислали. Целую роту. На площади ждут. Такие кадры! – Он ухмыльнулся.

– Что ж, пойдем посмотрим на твои кадры, – изрек Дима, цепляя на нос черные очки и вытягивая из полупустого блока новую пачку сигарет.

На площади стояла длинная шеренга молодых ребят в одинаковых черных джинсах, черных рубашках с коротким рукавом. С одинаковыми эмблемами, вышитыми на нагрудных карманах. Подтянутые, мускулистые, со стриженными затылками... Где же их командир? Вот, идет, чеканя шаг, красавчик в берете, лязгая по асфальту подковками. Вытянулся в струну, выбросил руку вверх и вперед, пролаял:

– По приказу господина генерала группа «Сила» Республиканского Легиона Свободы прибыла в ваше распоряжение!

– Вольно, – ответил Дима. – Имя, звание?

– Сотенный Був.

– С оружием умеют обращаться все?

– Так точно, господин капитан!

Дима некоторое время боролся с изумлением, стараясь не выдать себя и проклиная за то, что не успел ни выпить кофе, ни хотя бы выкурить утреннюю норму. Мысли шевелились, как дождевые черви. Старик, конечно. С такими, как этот сотенный, без чинов и званий разговаривать немыслимо. Но хоть предупредил бы, что ли, а то, не дай бог, сам забудешь, кто ты, капитан или есаул. Тут же вспомнилось, что впопыхах забыл натянуть носки, запихал босые ноги в кроссовки. Черт.

Дима обвел строй нарочито ленивым, безразличным взглядом:

– Воевавшие есть?

– Никак нет, – отрапортовал Був. – Но вседесятники и четырнадцать строевых проходили военную службу. Остальные проходили курс подготовки в соответствии с уставом Легиона.

Дима подумал, что совсем недавно что-то слышал. Мелькали где-то слова «Легион Свободы». Какие-то погромы, поваленные памятники. Драки на рынках и свастики. Даже газетенка – или это у соседей?

– Знаете ли вы, зачем сюда пришли? – спросил Дима у строя.

– Сражаться за свободу Родины! – отчеканил Був.

Строй же не шелохнулся. Дима ухмыльнулся одобрительно. Ишь как – будто в учебке после третьего старшинского предупреждения.

– А против кого вы будете сражаться, вы знаете?

– Против тех, кто встанет на нашем пути к свободе! – отрапортовал после недолгой заминки Був.

– Что ж, будем надеяться, что мы будем идти по вашему пути к свободе вместе, – сказал Дима, пытаясь понять, почему его взгляд упорно останавливается на седьмом и восьмом парнях в шеренге.

Он снял черные очки и, глядя на удивленные лица, воскликнул:

– Ба, знакомые лица. Если не ошибаюсь, Сергей и Михаил?

– Выйти из строя! – рявкнул Був.

Серый и Муха, те, из электрички, с остекленевшими от страха глазами, синхронно шагнули вперед.

– Замечательные ребята, – сказал Дима сотенному. – Мне случилось встретиться с ними, и я как раз подумал: мне бы с сотню таких, и можно что угодно хоть лбом расшибить.

– Какие будут приказания? – грамофонно отчеканил Був.

– Приказания! – Дима усмехнулся. – Сейчас господин старший лейтенант, – Павел никак не отреагировал на известие о повышении в чине, – проводит вас на базу, где вам выдадут оружие и снаряжение. И отведут на стрельбище – посмотрим, как вы обращаетесь с

настоящими «калашами». Времени у нас почти нет, скоро мы должны уходить, но по магазину патронов для тренировки вам выдадут. Потом – ждать распоряжений. Все вопросы – к старшему лейтенанту. Исполнять!

Дима пошел назад – в комнату, к дивану и запаху. Его хотелось вдохнуть снова – как напиться свежей воды на жаре.

Стоя у окна, Матвей Иванович сказал:

– Ты только посмотри на них. Загляденье. Молодая гвардия.

Федор покачал головой:

– Вам виднее, но я б этих легионеров-недорослей выгнал бы в три шеи. Я б лучше бомзам автоматы раздал, чем им.

– Может быть, может быть. – Старик усмехнулся. – Но именно такие нам сейчас нужны. И именно под командой нашего бесшабашного везучего студента. Ты посмотри – видишь, там вон, в кустах слева от Доски почета, мальчишки. Прямо глазами пожирают. Притихли, как мыши. Уверю тебя – на них большая часть наших партизан точно так же посмотрит, с восхищением и опаской. Воевать куда спокойнее, когда знаешь, что вместе с тобой такие. А сотенный их – шедевр, одно слово. Ален Делон в берете. Жизнь, здоровье, сила.

– Узнал я этого... сотенного, – сказал Федор с усилием. – Помните ту историю двухлетней давности, с Микашевичами? Про нее тогда часто по телику передавали.

– Нет. Я уже давно телевизор не смотрю, – ответил старик весело.

– Ну, это когда ребятня всякая, фашисты-недорослки, явилась на рассвете в деревню с автоматами деревянными да стала в хаты ломиться и на улицу всех выгонять, а потом расспрашивать, есть жида и черножопые или нет. Так вот – он был там. Командовал. Они стариков, кто ходить сам не мог, за ноги через порог тащили. Сами в формах черных, со свастиками на рукавах. А соседнюю с Микашевичами деревню, Борки, в сорок третьем сожгли. Вот так же выгнали на площадь поутру, потом в сарай заперли и сожгли вместе с деревней... Да я б эту сволочь в нужнике топил! А вы им как родным радуетесь.

– Радуюсь, – старик отвернулся наконец от окна и посмотрел на Федора, – потому что они – дисциплинированные, сильные, жестокие солдаты. А кто, по-твоему, мы? То, что мы пытаемся делать с этой страной, и есть вытаскивание немощных за ноги. И есть жестокость с бесчеловечностью. Кто позволил нам делать то, что мы делаем? Мы сами. Чем мы лучше их? Ты скажешь – наши цели лучше? Но это для нас, не для тех, кого мы собираемся ломать танками, «Пантерами» с наспех замазанным крестом на башне. Если собрался перекраивать страну – смиришься с тем, что резать придется по живому.

Федор, глядя на старика, подумал, что тот очень сдал за последние дни. Приходили люди, прибывали техника и оружие, всё новые и новые городки и села сообщали, что согласны помочь – едой, лекарствами, бензином, ночлегом. Слали своих. Мятеж рос, как тесто на дрожжах. И будто в него, этот рост питая, уходила жизнь старика. Щеки ввалились, начали дрожать руки – прежде такие точные, цепкие. В глазах появилась старческая, выцветшая муть, сгорбилась спина.

– Они прибыли как раз вовремя. Нам пора выступать. Если наше казачество поварится еще день-два, в руках его не удержишь. Этих отправим вечером – вместе с авангардом, основную массу двинем завтра. Твоя команда справляется?

– Да, – Федор кивнул, – замотались, но еще успеваем. Правда, шлют черт знает что. Ну зачем нам две машины тапок?

– Пригодится. – Старик усмехнулся. – Отправь на наш рынок. А с деньгами – успеваете?

– Полшколы посадили – штемпелюют днем и ночью.

– Отлично. Время тебе привести всё к знаменателю и собрать – сутки с половиной. Дела все передашь прежнему начальству. Тех, кто при них останется, подобрал?

– Да. Трое легкораненых и Викентьев. У него язва снова обострилась. И при них с

дюжину оршанских.

– Ты со своими и с обозом выйдешь послезавтра вечером. А перед тем как выйдешь – отпусти всех.

– И эту сволочь полковника?

– Особенно его – Пятый нельзя без присмотра оставлять. Дашь ему десяток городских, а то солдатня или к нам ушла, или разбежалась. Он неплохой мужик, сам увидишь. Мы тут только и держимся на таких, как он, – думающих, что чутко держат нос по ветру. Любая власть в этой стране держится именно на таких.

На Сергей-Мироновск процветание обрушилось приступом золотой лихорадки. Мятеж не только не разогнал торговцев и не остановил производства – напротив, заработало всё, ранее простаивавшее, даже заброшенное. Открылись зачахшие лет десять тому назад второй хлебозавод и сыродельня, оживились мебельный цех и оба швейных ателье, одновременно разорившихся после четвертьвековой ожесточенной конкуренции. С окрестных деревень на городской рынок – а под него пришлось занять и прилегающий сквер, и площадь перед библиотекой и районо – везли, несли и гнали кудахтающее, мычащее, хрюкающее и уже уложенное в сумки, короба и бидоны пропитание конфедератам.

«Конфедераты» – слово вроде никто и не придумывал, оно само всплыло откуда-то из памяти, то ли книжной, то ли наследственной, еще не забывшей столетия разгульных шляхетских съездов и сеймиков, когда рекой лилась брага и пожирались горы колбас, кумпьяков, вендлины, паляндриц, ковбуха и окороков. Конфедераты – принятые, допущенные к оружию, получившие форму со свеженькими, своими руками нашитыми рыцарско-конскими ситцевыми гербами и двцветными эмблемами, – ходили исполненные достоинства, неторопливые, важные провожаемые завистливыми взглядами тех, кто к оружию допущен не был, а приставлен был к хозяйственной деятельности.

Базар кипел. Конфедерация закупала продовольствие, выдавая деньги со своей печатью, которую без устали шлепали на купюры три десятка собранных в школе старшекласниц. За пропечатанные деньги Матвей Иванович велел задешево продавать телевизоры, холодильники и прочий бытовой электрический и механический хлам, найденный по складам района и окрестностей.

Вещи в складских закоулках находились необыкновенные: полтонны чугунных сковородок и примусов послевоенного выпуска, контейнер ленд-лизовой тушенки, ничуть за полвека не испортившейся, а по соседству – партия химических унитазов и вентиляторов, конфискованных зимой на соседней таможне и под шумок увезенная кем-то из районного начальства, не успевшего еще придумать употребление неловкому товару. Теперь всё это пошло в продажу по ценам необыкновенно низким.

Соседние районы завидовали люто и наперебой зазывали к себе конфедератов. Градоначальство близлежащего Бобруйска, опасаясь всё же открыто отдаться бунту, прислало делегацию с туманной просьбой «помочь установлению нового экономического порядка». Матвей Иванович просьбу выслушал, но посылать кого-либо отказался. Во-первых, незачем, бобруйские коммерсанты и так заполонили улицы Сергей-Мироновска; если есть что предложить и дать – везите сюда, невелико расстояние. А во-вторых (это Матвей Иванович сказал не делегатам, а своему штабу, собравшемуся обсудить последние приготовления), большие города – это смерть мятежу.

Большие города поглотят, разложат, растворят его без остатка. То, чем живет и питается этот мятеж, расти может только вдали от них. Там, где память еще не стерта бетоном, где почти каждый – кум или свояк, и всякий знает своих. Этот мятеж – бунт того, что не успела раздавить и пережевать империя. И потому большой город у этого мятежа должен быть один. Должен быть Город – и пусть конфедерация, достигнув его, распадется и исчезнет. Сделав свое дело, она нужной быть перестанет, и Город, покоренный, подвластный, сам рассосет и обезоружит ее.

Части конфедератов пойдут сквозь деревни и местечки, огибая, минуя города, сохраняя

себя, впитывая новых людей и силы, подбирая по пути остатки армии. Аресты старших офицеров только сыграли на руку – солдаты пробирались к Сергей-Мироновску мелкими группами и без вопросов становились под начало Матвея Ивановича. Приходили танкисты, артиллеристы. Те, кто мог оживить груды стали, ожидавшей своего часа по провинциальным арсеналам империи. И кто сможет им противостоять? Единственная армия страны – та, что растет сейчас здесь, вокруг Сергей-Мироковска. Спецназ, милиция, черно-пятнистые – что они против танковой армады? Их горстка. А уличных боев не будет – уж в этом можно быть уверенным. Разве что «эскадрерос». Но у них появятся другие заботы.

Конечно, еще остается авиация. Но с тех пор, как от расквартированного на окраине Бобруйска авиаполка прибыла делегация оставшихся офицеров, о воздушной поддержке можно было не тревожиться. А бомбы пережить можно – война есть война. Конечно, еще остается и политика. Те, кто смотрит из-за границы. Имперская десантная дивизия под Смоленском. Танковая под Псковом. Но чтобы им двинуться с места, нужны переговоры. Нужно, чтобы отец нации публично заявил о своей беспомощности. А он вряд ли с этим поторопится. Ему его кресло еще не наскучило.

А пока он отчаянно старается на нем усидеть, страна лежит перед конфедерацией и ее вождем как перезревшее яблоко. Осталось лишь нагнуться и подобрать, пока это не сделали другие.

Запах всё еще был здесь. Едва уловимый, но живой. От него кружилась голова. Дима стоял у стола с так и не сметенными вчерашними крошками и растерянно озирался по сторонам. Как-то это было невозможно, немыслимо. Неправильно. Вечером... уже вечером его здесь не будет. И всё. И непонятно, когда вернешься и вернешься ли вообще.

Этот запах похож на книгу. Чем дальше листаешь, тем больше его становится. Тем сильнее он затягивает. От него качается мир. Расслаивается, словно уходит из фокуса. Дима схватил полотнище знамени, которым они укрывались ночью. Скомкал, зарыл в него нос, втянул воздух. Пот. Кисловатый запах семени. И ничего. Нет, мускус. Здесь, в уголке. И здесь. Волос – длинный, легкая шелковинка.

Выматерился, отшвырнул. Выскочил из комнаты, бросился по коридору.

– Ты чего? – спросил Федор. – Чуть с ног не сшиб.

– Где эта... секретарша, тощая эта, где она? – сбивчиво выпалил Дима.

– Да не знаю. С утра ее не видел. Чай с утра и то некому сделать было. Может, приболела по-женски, а? – Федор понимающе усмехнулся.

– Да нет, – отмахнулся Дима, – где она живет? Ее тут знает кто-нибудь?

– Так срочно? Поищи кого из местных... Эй, Григорьич!

Показавшийся на лестнице милиционер приостановился.

– Ты секретаршу здешнюю, худую такую, знаешь?

– Иркут? Знаю. А что? – отозвался небритый замотанный Григорьич.

– Да вот хлопцу надо. Где живет она?

– На Первомайской, кажется. Восьмой дом. Да там пусть спросит, их там все знают, – ответил Григорьич и затопал вниз по лестнице.

– Спасибо! – крикнул Дима, торопясь вслед.

– Ты смотри... – начал было Федор, но Дима уже выскочил на площадь.

Первомайская, Первомайская... в любом захолустном городишке есть Первомайская, и Советская, и Интернациональная, и стандартный набор из Кировых-Луначарских-Буденных. Хотя на самом деле все их называют Гончарными, Поселковыми и Косыми слободками.

После второго перекрестка Дима спросил у загорелого, невероятно долговязого подростка в серых обвислых штанах:

– Первомайская где?

– Вам какая? – спросил подросток, глянув на Диму снизу вверх. – Две их. Одна на Заречье, – он махнул длиннющей, как у гиббоньего скелета, рукой куда-то на восток, вторая тут вон, от бани начинается. Только ее ближний конец теперь называется Патриотическая.

- Веди, – велел Дима.
- Чего? – спросил подросток испуганно.
- Веди меня – сперва к той, которая в начале Патриотическая.

Они пошли, перебрались по мосткам через старую, с оплывшими краями канаву, где когда-то пытались отремонтировать канализацию, да так и не отремонтировали. Канавы эта по весне и осени привычно заполнялась водой, а летом смердела, кишела головастиками и потихоньку высыхала, если скрытая в ее недрах ржавая труба не выбрасывала очередную порцию жижи. Мостки были изрядно исхожены и не раз чинены. За канавой и заполоненными репейником клумбами начиналась пыльная, щербатая асфальтовая полоса – улица.

– Отсюда до двенадцатого дома – Патриотическая, – пояснил подросток. – Потом – Первомайская.

- А с какого номера там дома начинаются? – заподозрил неладное Дима.
- Как с какого? С тринадцатого.
- Тогда веди меня на Заречье.
- Не, далеко туда. Вы спросите лучше.
- Чем быстрее ты меня туда доведешь, тем быстрее со мной расстанешься, – сказал Дима негромко, снимая черные очки.
- Ладно, – ответил подросток испуганно, – я ничего, пойдем.

Шли через весь город, протискивались сквозь толпу на проглотившем весь центр базаре, мимо тюков и мешков с крупами, рядов сверкающих лакированной жестью банок, мимо мангалов, подле которых сутились в чаду, поливая шкворчащее, проткнутое проволокой мясо, одетые в засаленные фартуки шашлычники. Потом, выбравшись из многоголосого рыночного хаоса, вновь оказались на пустых, огороженных высокими заборами улицах. Перешли горбатый мостик над узкой, мутной и захлавленной речушкой, почти незаметной среди высоченных камышей.

– Первомайская, – сообщил подросток уныло.

Улица была как коридор между глухими заборами. Ни один дом не выглядел на улицу, все пряталось в глубине двора. Жестянки с номерами были подле калиток. Найдя нужный номер, Дима надавил на кнопку звонка, раз, другой. Постучал кулаком в дверь. Потом ногой. Подождал, вслушиваясь.

– Вам Ирку, наверное? – предположил подросток. – Так они там. Ее батя как насосется, так они тогда никому не открывают. Он даже на почтальоншу с кулаками бросается. Я с ейной младшей в одном классе учусь.

– У них собака есть? – спросил Дима, сосчитав про себя до десяти, чтобы успокоиться.

– Была. Здоровенная такая. Овчарка, наверное. Но они ее у сарая держат. Чтоб людей не пугала.

Подросток начал что-то рассказывать, должно быть, про то, откуда собака и почему большая, но Дима, уже не слушая, подпрыгнул, уцепившись руками за верх забора, скребнул носками по доскам – перескочил, спружинил ногами на заасфальтированной дорожке за калиткой. Подросток, порядка ради, дорассказал калитке историю про собаку, подождал пару минут – Дима не появлялся – и, пожав плечами, отправился восвояси.

Дима подошел к двери, нажал на кнопку. Ничего. Постучал в окно. Подождал. Обойдя дом, отыскал задний вход, осмотрелся – собаки нигде не было видно, залезгал кованой железной ручкой и – сам не понял почему – обернулся, вырывая пистолет из кобуры.

И тотчас же, словно разбуженный грохотом, дом ожил: заскрипел половицами, лязгнул засов, звякнуло стекло веранды. Ира, босая, растрепанная, в ветхом ситцевом халатике выскочила на крыльцо, крича:

- Анзор! Анзор!
- Э-э... – сказал Дима осторожно, – не могла бы ты его... за ошейник?
- Пес зарычал.
- Анзор! Анзор!

– Он как-то не очень тебя слушает, – заметил Дима, пытаясь высвободить руку. – Он мне нос сейчас отъест.

– Вы спокойнее, не двигайтесь. Лежите смирно. Он вам ничего плохого не сделает.

– Да? Это утешительно. Если б он еще мне лапами в грудь не упирался...

Ира потянула пса за ошейник. Тот зарычал, мотнул головой.

– Я не могу, – растерялась Ира. – Он же больше меня весит. Он только папу слушает.

– Так позови... папу своего.

– Я... я не могу. Спит он.

– Так разбуди.

– Он... он не так спит. Его не разбудить сейчас. Он уже до утра.

– Понятно. Тогда подай мне, пожалуйста, пистолет. Вон он лежит, прямо под ногами твоими. Под крыльцом.

– Не надо, пожалуйста. Не нужно убивать его. Он хороший. Добрый. Я его из соски кормила.

– Раз добрый, так придумай что-нибудь. Неприятно будет, если добрый зверь мне лицо изуродует.

– Хорошо, хорошо, я сейчас. Вы только не стреляйте в него, пожалуйста. У нас кость в холодильнике лежит, мозговая. Он любит их. Я его к будке приманю – и на цепь.

Дима думал, лежа, что таких чудищ следовало бы держать в клетке из арматуры. Как медведей. И мясо просовывать на палке. И упаси боже выпускать иначе как на якорной цепи. Весит, самое малое, полцентнера. Не вздохнуть. Думал, столбом ударило. Такая туша. И пасть в локоть длиной. Хорошо, не цапнул, с ног только сшиб. Но если б за руку хватанул, переломать мог бы запросто.

– Анзор, Анзор, на, посмотри, посмотри, я вкусенького тебе принесла! – позвала Ира, показывая кость.

Анзор повернул морду, принюхиваясь.

– Маленький мой, Анзор, вот косточка, хороший, вот косточка!

Анзор завилял хвостом. Потом рыкнул для острастки и осторожно снял лапы с Диминой груди. Дима по-прежнему лежал, не шевелясь. Тогда пес, косясь на него, неторопливо подошел к Ире.

– Есть! – закричала она.

Дима перевалился на бок и проворно, на четвереньках, взбежал на крыльцо. Анзор зарычал, рванулся, заскреб лапами землю, натягивая цепь.

Потом Ира поила Диму чаем на веранде и кормила свежими плюшками. Плюшки были на меду, вкуснейшие.

– Это он чувствует, что вы меня огорчить собираетесь, – сказала ему Ира, в очередной раз подливая чаю. – Он в людях разбирается.

– Гастрономически, наверное, – заметил Дима.

– Да нет, что вы. Он, конечно, может укусить если кто чужой полезет. Он чувствует, плохой человек или нет. Вас вот не укусил. Только с ног сбил. А что ему еще делать? Он ведь дом должен охранять. А вы ведь вообще его убить хотели.

– Да это я от неожиданности. Когда на тебя такая туша мчится, поневоле за пистолет схватишься.

– Хорошо, что вы промазали.

– Хорошо, – согласился Дима.

– Знаете, – вдруг сказала Ира, – а Рыся отсоветовала мне в медсестры к вам проситься.

– Может, и к лучшему. А ты хорошо ее знаешь?

– Рысю? Да так себе. Она раньше сюда приезжала. Тут отец ее служил. Он военный или кто-то в этом роде. У нас же военный городок важный очень неподалеку, знаете? Она как-то даже с четверть в школе нашей проучилась.

– А кто она теперь? Чем занимается?

– Я не знаю. В Городе где-то. Но она сейчас другая совсем стала.

– Какая другая?

– Ну, не знаю. – Ира пожала плечами. – Другая. Странная какая-то. Вы видели, с кем она приехала? Такие здоровенные, плечистые ребята в черных очках. Почти как эти ваши помощники. На джипе. Черном. Она всё про вас расспрашивала. Говорила, ваш друг советовал ей вас найти.

– Какой друг?

– Ну тот. С площади.

– Кто? С какой площади? – Дима от неожиданности выронил плюшку.

– Не знаю.

– А что еще она про друга рассказывала? А куда она поехала? Где ее искать сейчас?

– Да ничего. Да мы и болтали вчера всего ничего. Откуда мне знать, куда она поехала. В Город, наверное. Только вы не ищите ее.

– Почему?

– Не ищите ее. Я же говорю вам – странная она. И Анзор так и рвался с цепи. Рычал, даже пена с клыков летела. Я никогда его таким не видела. А раньше она и гладила его, и кормила. Не ищите ее. Она... она плохое с вами сделает.

– Плохое? Вот уж не думаю. – Дима усмехнулся. – Спасибо вам большое за чай и плюшки. И за предупреждение. Обязательно буду иметь его в виду.

– Да не за что. Я тут вам немного собрала, вот, в пакете. Возьмите. – Ира протянула сверток и вдруг покраснела, засмущавшись.

– Спасибо.

Она проводила его до калитки и помахала вслед рукой. Дима рассеянно махнул в ответ. Думал он о том, чтобы тут же, не медля, расспросить посты у выездов из города – они ведь не могли не заметить черный джип. Не могли.

ПАТРОНЫ ДЕСЯТЫЙ И ОДИННАДЦАТЫЙ: ВОЙНА

Дима ничего не успел проверить и ни у кого не успел спросить. Около полудня старику позвонили – по обычной линии, безо всяких мер предосторожности. Выслушав длинный, сбивчивый рассказ, задав несколько коротких вопросов и получив ответы на них, старик созвал всех, кого смог, и раздал приказы. Время медлить прошло. Так что едва Дима вернулся на площадь за машиной, как сразу отправился на базу – собирать всех, кто должен был выступать под его началом.

Пошла легионная рота, усаженная на грузовики, пошли бронетранспортеры с егерями и дезертирами, пошли, басовито кашляя выхлопом, извлеченные из-под земли серые танки и их снятый с пьедестала прадед, сверкающий свежей краской. Войско конфедерации разномастным тряпичным мячом покатилося на северо-запад, описывая вокруг Города дугу и приближаясь к нему. Арьергарду было приказано не останавливаться, сбивать заслоны, но обходить сильное сопротивление, желающих присоединиться отправлять к тем, кто идет следом. Старик разделил свои силы надвое, решив отправить вторую половину чуть позднее и в другую сторону, заходя с севера, – он знал, что у противника не хватит сил оборонять Город со всех сторон.

Танки шли по дорогам, взбивая пыль. И с ними, с пятнистой камуфляжной формой и касками тех, кто сидел на их броне, оборвалась последняя нить, за которую еще держалось в своем времени это лето.

Война вновь вернулась в Город. Его раздирала стрельба. Стреляли на улицах, в центре и на окраинах, в пригородном лесу, в парках, дрались в коридорах серого, слепого из бетонных блоков, огромного дома на главной площади, у Национального театра и Офицерского собрания, во дворе скрытой за площадью тюрьмы. Пересекающие кольцевую

шоссе блокировали бронетранспортерами, асфальтовыми катками и огромными карьерными самосвалами. Стреляли без предупреждения по всякой машине, пытавшейся проехать по кольцевой или пересечь ее. Поезда и электрички застряли на пригородных станциях, а просторные залы сданного к юбилею Города нового вокзала усыпало выбитое очередями стекло. Автобусы и такси стояли в опустевшем аэропорту, по которому слонялось полдесятка иностранных корреспондентов, без объяснения причин так в страну и не впущенных. Не работали ни магазины, ни кафе. Не было ни электричества, ни связи – на всех главных городских коммутаторах и подстанциях вместо персонала сидели люди с автоматами. Город был наглухо заперт, и его захватила война.

План «Три звезды» был любимым детищем Шеина. Его хобби, занимавшим немногие свободные часы. Его страстью. Он собирал этот план по кусочкам, заботливо составлял мозаику, складывал, соединял, радовался, когда выступ заходил в выемку, цеплялся и держался. Попросту говоря, план «Три звезды» был планом военного переворота в одной отдельно взятой, оказавшейся наедине с неожиданно свалившейся независимостью имперской провинции. Даже не «переворота» – это слово наводит на мысли о свирепых бунтарях и революциях – скорее, небольшой перестановки.

Революция в бывшем имперском Северо-Западном крае? Да уже лет через пятнадцать после войны любой зеленый лейтенантик охраны, услышав такое, покатывался со смеху. Кто, как, а главное, зачем? Терпеливость, покорность, здравый смысл и приспособляемость здешних обитателей вошла в поговорки. Всё настолько устоялось, прочно и плотно держалось на своих местах, что попытка сдвинуть хоть что-то силой казалась нелепой. Старшие же, те, кто работал при человеке, под чьим руководством как-то за пару дней расстреляли пять с половиной тысяч польских офицеров, знали, какой ценой досталось это аморфное, ватное спокойствие.

В стране стреляли десять послевоенных лет. И все эти годы росла сеть осведомителей, помощников, добровольных, запуганных и платных, собирались сведения, искоренялось вредное и насаждалось способствующее. После войн, депортаций и чисток в стране осталась едва ли половина населения. Выжившие потомки шляхты, воевавшей без перерыва триста лет, были тихи и деловиты, как мыши в сусеке. В стране даже во времена пахнущих свободой имперских сквозняков почти не водилось ни диссидентов, ни террористов с забастовщиками. Местные литераторы дружно писали об упадке деревни, одной из причин которого являлись, и о войне. Местные военные заводы производили высокоточную мелочь, развили при себе изрядных размеров Академию наук, занятую лазерами, прицелами и ракетным топливом и заботливо, как родное чадо, опекаемую охранками.

Имперские аналитики привыкли считать страну ровным болотистым оазисом ничем не нарушаемой апатии. Их наследники тоже. Шеин не был исключением, и потому его план включал только Город. В обозримом Шеину прошлом страна покорно шла за любой установленной властью, следовало лишь объявить о ее установлении. А властью все считали хозяина Города.

Конечно, инерция была огромна – никакая попытка восстания, захватов почт с телеграфами и тому подобного сама по себе ничего не изменила бы. Разросшаяся, проникшая во все клеточки общественной жизни власть отрастила бы себя заново, разложив, истребив и втянув в себя любого покушающегося. Все силовые, управленческие структуры многократно дублировали себя под разными названиями. И все они были поразительно ненадежны, когда дело касалось действий, способных потревожить их вялотекущее существование. Их нутряной, сонный, могучий инстинкт самосохранения тормозил всякое опасное начинание – без предварительных договоренностей, безо всякой внешней активности, – тормозил, перетирал, топил.

В молодости это бесило Шеина. Казалось, лгут и предают все, буквально все. Десятилетия непрерывного перекрестного доносительства сделали невозможным ни сохранение хоть какой-то тайны, ни попытку собрать кружок искренних

единомышленников. Болото тянуло и засасывало всё, осмелившееся двинуться в неположенную сторону. Повзрослев, Шеин этим восхитился. И понял, как с этим совладать и обратить себе на пользу. В бурные постимперские времена он даже подал идею сформировать оппозиционную партию целиком из внештатных осведомителей. Партия имела огромный успех в массах и даже выиграла на выборах.

План «Три звезды» Шеин составлял, отбирая из рабочего архива своего Управления контртеррористические сценарии. Сочинять их в позднее имперское время, напуганное призраком народных волнений, считалось актуальным. Сценарии сочиняли для советов и обкомов, театров, министерств и штабов. Молодые сотрудники защищали дипломы в высших школах охраны по методам добычи заложников из того или другого важного здания. Шеин не первый усидел, что с минимальными переделками эти сценарии годились для захвата важнейших угнездившихся в этих зданиях лиц. Но генерал оказался единственным, кто смог отыскать принципиально для Города важное и начал состыковывать воедино.

Шеин боялся. Очень. Понимал: «Три звезды» – это приговор ему, уже приведенный в исполнение. Но разве приговор генералу Шеину уже не вынесен? Разве пещерный, хитрый, вульгарный хозяин этой страны уже не выбрал очередную жертву? Что ж, по крайней мере теперь в обвинениях, которые он захочет взгромоздить на генеральские плечи, будет толика истины. Но, скорее всего, уже через три дня обвинять и приказывать в этой стране будет другой. Догадайтесь, кто?

Ради этого стоило сыграть ва-банк.

От начала «Трех звезд» до десяти утра по Городу не работало ни одно средство связи. Без четверти десять Шеин разослал людей с приказом не глушить рабочую полосу радиочастот и приготовился принимать рапорты. В большинстве по Городу и окрестностям группы действовали успешно, но с некоторыми, самыми важными в том числе, связь так и не установили. А кое-где события приняли неожиданно неприятный оборот.

Очень дорого обошелся захват Лошицы, обескровив одну из лучших ударных групп. А тех, кто на броне проломился сквозь дощатый забор президентских дач у водохранилища, встретили огнем в упор. Из-за сосен застучали пулеметы, и скоро зачатила у ворот снесшая их «БМП». Атаковавших прижали к земле и выбивали одного за другим. Майор, командовавший операцией, матерился в телефонную трубку, и, развернутые по его команде, скоро заухали спрятавшиеся за дорогой минометы. С третьего залпа накрыли дома, раскатывая бревна, разнося в брызги стекло и кирпич. Пошли бегло, разметав взрывами горящие обломки.

Майор, скомандовав отбой, снова двинул людей вперед – под неожиданный огонь из-под раздробленных веток, срезавший первую волну атакующих. Вжимаясь спиной в землю, майор снова принялся орать в замолчавшую трубку, требуя подкреплений, – и увидел, как с минометных позиций вдруг повалил густой белый дым. Тогда он, подхватив автомат, побежал пригнувшись вдоль дороги, за деревья, где его убили очередями в упор, как и застигнутых врасплох, ослепленных дымом минометчиков.

По канализации в президентскую резиденцию и обширные ее подземелья, расплзавшиеся по всему Городу, шла группа за группой. Туда Шеин отправил свою элиту. Вскоре здание загорелось. Примчавшихся по тревоге пожарных – тех, кого не остановили блокпосты на проспекте, – обстреляли из окон. Пожарные разбежались, оставив машины. Около половины девятого прогремели два мощных взрыва. Восточный, ближний к танку-памятнику угол целиком обвалился, открыв внутренний дворик с засыпанными щебенкой догорающими, искореженными машинами. Асфальт перед резиденцией вспучился и опал, растрескавшись, и в открывшемся огромном, метров сорока в диаметре провале выступила, клокоча, темная смрадная вода. Пьедестал от толчка растрескался и покосился, и старый «Т-34-85», как летом сорок четвертого, скрежетнув гусеницами, съехал на городскую брусчатку.

Тогда же, после сильного подземного толчка от мощного взрыва, колыхнувшего статую перед Домом Правительства, вода хлынула в обесточенное метро. Откачивать ее и искать, откуда она пришла, было некому, но, судя по тому, как обмелела городская река, в тоннели ворвалась именно она. К полудню вода плескалась о ступеньки лестниц подземных переходов на проспекте, разнося запах нефти и болотного ила. Кое-где всплывали и трупы, вынесенные наступавшей водой из тоннелей метро, пробитые пулями, иссеченные осколками, изувеченные.

В полдень Шеин по-прежнему сидел в своем кабинете, глядя в открытое окно. Странно, но он чувствовал себя очень спокойно и уверенно. Он уже не боялся. Ничего. Время бояться прошло, сейчас нужно было лишь выживать – или умирать.

Стрельба доносилась отовсюду. Уже возвратились группы, отправленные арестовывать. Уже все те, кого сумели найти и схватить и не убили при попытке бегства, были заперты в камеры подвальных этажей. Но среди них не оказалось тех, кого Шеин прежде всех хотел видеть насмерть перепуганными, полуодетыми, вытасканными из постели, запахнувшими в сырой, пропахший мочой и гниющей кровью подвал. Бессильными – в его, Шеина, власти. Не было почти никого из ближайшего президентского окружения. Взяли даже министра иностранных дел, бывшего в имперские времена прямым начальником генерала. Но из верхушки «эскадрона» и личной президентской администрации – никого. И почти никого из верхушки МВД.

Не было связи ни с кем из посланных в президентскую резиденцию, откуда по-прежнему доносилась стрельба. Почти никто не вышел из затопленных городских подземелий, и собственные комитетские подземные этажи едва успели спасти, перекрыв водонепроницаемыми переборками. Ожесточенный бой шел в подвалах республиканского комитета. Наземную часть их особняка захватили неожиданно быстро. Там почти никого не оказалось – все ушли вниз, к спецбольнице, складам и архивам.

После того как пытавшийся пробиться в район президентских дач патруль повернул назад, потеряв машину и трех человек, Шеин пустил в ход свой последний городской резерв, танковый батальон, ожидавший на юго-западе за кольцевой. В одиннадцать командир доложил, что развернулся для атаки. В четверть двенадцатого связь прервалась.

Генерал Шеин прождал до двух, слушая невнятные рапорты своих сбитых с толку «коммандос». В пять минут третьего в его раскрытое окно влетела очередь, сбившая люстру и расколовшая полутораметровую китайскую вазу в углу. Возникшие из ниоткуда, сгустившиеся из полуденного жаркого морока люди в черных комбинезонах и масках, действовавшие умело и слаженно, проникли сквозь помещения управленческого клуба в самое здание Управления и принялись вычищать коридор за коридором, комнату за комнатой, продвигаясь к генеральскому кабинету.

Что ж, план учитывал и такое. В здании на этот случай оставалась боевая группа. Кроме нее, вместе с возвратившимися под генеральской рукой было больше двух сотен человек. Шеин вынул из сейфа «краб», надел бронежилет и сам возглавил контратаку. Нападавшие работали как единый отлаженный механизм, яростно и с безукоризненной точностью: вышибали двери, швыряли гранаты и дымовые шашки, полосовали очередями. Выбить их стоило дюжины трупов и почти полусотни раненых. Нападавшие оставили в коридорах всего семерых. В одном из них опознали «эскадреро», и Шеин подумал, что последние резервы пустил в ход не только он.

В перестрелке на лестничной клетке девятимиллиметровая автоматная пуля раздробила второму шеинскому заму бедренный сустав и пробила мочевого пузырь. Зама уложили на стол в ближайшем кабинете и вкатили дозу морфия. Зам перестал кричать и, вцепившись в шеинское плечо, прошептал:

– Наконец-то. Наконец. Теперь всё. Теперь точно всё.
– Лежи тихо, – сказал ему Шеин, – не шевелись, сейчас носилки принесут.
– Пиночет недоделанный, – прохрипел зам. – Теперь всем хана. Всем. Батяка твоими руками всех недобитков вроде тебя искрошил. Взял на понт, как дешевого ффраера. Но я

подыхаю спокойно – слышишь, ты, сволочь фашистская? Потому что ты, сука кровавая, сдохнешь вместе со мной. Я сделал, что мог, – чтобы ты и вся твоя кодла быстрее передохли. И чтобы не отравили всё вокруг, подыхая.

– И что же ты сделал? – спокойно спросил Шеин.

– Сам узнаешь. – Зам попытался рассмеяться, но не смог, из глотки вырвалось только хриплое бульканье. – Узнаешь! Ты ж сдашься, ты ж попытаешься спасти свою шкуру, выкрутиться. Тогда и узнаешь. Сука. Тебя вобьют в грязь, как чумную крысу.

Шеин достал пистолет:

– Если ты скажешь, что сделал, твоя смерть будет скорой.

Но зам закрыл глаза и ничего не ответил.

– Хорошо, – процедил генерал. – Все – вон.

Когда в кабинете не осталось никого, кроме Шеина и лежащего на столе зама, генерал сказал:

– Ты ошибаешься – мы выиграем. Мы уже выиграли. Город – наш. Ты мог бы стать моим министром обороны. Или культуры – ты всегда питал слабость к дешевым спектаклям. А сейчас – ты останешься подышать на этом столе. Умирать с пробитыми потрохами ты будешь долго. Очень долго и больно. Действие морфия кончится через полчаса, и больше тебе не даст никто.

Шеин вышел, закрыв за собой дверь на ключ.

Генерал солгал. С каждым часом становилось яснее, что Город ускользает из его рук. В начале пятого ему доложили, что из отправленных из лагеря фур до места назначения дошли только две, а выгруженных людей накормили ипустили. Несколько пустых фур нашли брошенными по обочинам дорог. Оба полка спецназа, вопреки приказу, вдруг начали двигаться на юг, огибая Город. Связь с ними пропала. Равно как и с теми, кто блокировал выезд из Города с востока, со стороны лагеря. Группа, державшая телевидение, едва отбила нападение, потеряв половину своих. В ответ на просьбу о помощи Шеин приказал им заминировать передатчики генераторы.

Просьбы о помощи шли со всех сторон, даже с главного канализационного коллектора. Враги возникали неожиданно – швыряли гранаты, стреляли – и столь же стремительно исчезали. По рации докладывали о каких-то танках и непонятных спецназовцах в касках с рожками. Генерал накричал в трубку на докладывавшего: какие, к черту, каски с рожками? У него что, галлюцинации? Тот притих, а потом добавил, что у них уже последний выстрел в РПГ, и скоро танки будет держать нечем. «Да что вы, вовсе свихнулись? Какие танки?!» – заорал Шеин в трубку, откуда в ответ донесся сухой перестук очереди.

К вечеру городское небо, исполосованное пулями, закрытое обвисшими, серыми облаками, разродилось песчаной бурей. Сперва накатил духота, страшная, спертая, мертвящая, но разрешилась она не холодом ливня, а жарой еще пуще, точно у раскаленной чугунной печи выдернули заслонки, выпустив придушенное пламя. По стеклам застучало, ударило мелкой россыпью, завыл ветер. Генеральским ушам он показался далеким, слитным ревом сотен моторов.

Буря выбивала стекла и сдираала флаги. Кузнечными мехами раздула пожар в медленно обваливающейся президентской резиденции. В ее коридорах еще стреляли. Вихрь разорвал в клочья и унес ленивую гарь с многотонных почернелых, искореженных скелетов, оставшихся от последнего генеральского танкового батальона. Засыпал песком глазницы трупов и выгнал с улиц живых. Снова заглушил всякую связь.

Генерал, не снимая бронежилета, сидел в своем кабинете, когда вдруг зазвонил телефон. Шеин снял трубку и вздрогнул, услышав голос – знакомый слишком хорошо, картавенький, вульгарный, подгрублявший слова, словно вываливавший их из набитой гнилью пасти.

– Генерал, кончай бодягу, – сказал голос.

– Не понимаю, о чем вы, – ответил Шеин, глядя на секундомер. – Лично я бы

посоветовал вам сдаться, а потом объявить народу об отказе от власти. В этом случае я обещаю вам жизнь и загранпаспорт и даже доступ к вашим счетам в Китае и Индонезии.

– Твою мать! – ругнулся президент. – А я такому козлу хотел пообещать психушку и пенсию на спокойную старость. И как ты мне предложишь обратиться к народу? Твои недоумки телецентр взорвали!

На столе запищал зуммер другого телефона. Шеин подхватил вторую трубку, откуда ему сообщили: «Комендатура в Верхнем городе». – «Шлите немедленно, – шепотом приказал Шеин. – Группу из Центробанка возьмите и с Володарки. Оповестить все патрули центра!» А в другую трубку сказал задумчиво:

– Это сути не меняет. Вас никто не поддерживает. Страну вы довели до нищеты. Разграбили. Народ не мог вас больше терпеть.

– Это ты-то, debil, голос народа? – Президент захохотал. – Не дури, генерал. Я тебя понимаю. Сладенького захотелось, сила в головку ударила. Город мой изувечил. За одно это тебя нужно на фонарном столбе вывесить. А еще сколько спецов угробил. Мне с молодыми заново придется начинать, а?.. А если б у тебя что и получилось, ты что, думал, дивизии у границы нашей зря стоят? Ты разве не понял – ты в своем кресле сидишь, пока я рулю. Не понял, на ком и почему независимость наша держится? Куда бы ты делся, если б победил? Сам бы на блюдце страну принес, недоумок хренов, и сапоги б лизал, пока тебя этим же сапогом по пысе в Лубянском подвале? Вот же debil!

– Я даю вам срок в один час, – отчеканил Шеин.

Президент долго молчал. Так долго, что Шеин подумал, что связь прервалась, и хотел повесить трубку. Но тот заговорил снова.

– Какой там час – посмотри, погода какая. Хозяин собаку из дому не выгонит. А ты своих куда погнал? – спросил президент.

Шеин, холодея, принялся тыкать пальцами в кнопки.

– Ну-ну, – хмыкнул президент. – А сколько ж я денег на вас угробил. Старая школа, мать вашу. Развел идиотов. До скорой встречи, генерал!

Трубка издала три коротких гудка и умолкла. В дверь кабинета постучали.

– Да! – крикнул Шеин, пододвинув лежащий на столе «краб».

– Товарищ генерал, – доложил появившийся в дверях растерянный майор в бронежилете, – связи больше нет. Никакой. И сеть отрубили.

– А генераторы?

– Запускают... там уже люди, в подвалах.

– Немедленно отправьте людей вслед группам, вышедшим на Верхний город! – крикнул генерал. – Немедленно вернуть!

Майор выбежал за дверь.

Ничего никому передать он не успел. Бронетранспортер, на котором выехала посланная в Верхний город группа, едва успел выкатиться за ворота. Наблюдавшие за ним из окон – за секунду до того, как стекла этих окон брызнули им в лица, – увидели, как он скрылся в огромном оранжевом пузыре взрыва.

Генерал подумал: вот в этом весь он, великий и славный отец нашей болотной нации. Вертит миллионами судеб, дивизиями и заводами и не отказывает себе в маленьком удовольствии поиздеваться напоследок, обжулить копеечно, как уличный кидала. Что ж, это страна его выбрала, свою защиту и опору. Пусть с ним и живет. Впрочем, зачем же себя раньше времени списывать со счетов? Пока жив, пока оружие в руках – шансы есть. Его люди разбросаны по Городу, но их можно собрать. Главное, уйти туда, где можно закрепиться. Вниз, в лабиринт. Взять самых надежных людей, взять заложников – и вниз. По тоннелям можно выбраться из Города, превратившегося в огромную мышеловку. А там – посмотрим. Если последние сообщения не врут, самопальные бунтари, конфедераты, уже двинулись сюда, на Город. А враг врага – это почти друг, не так ли? Им наверняка нужны знающие люди. Способные обуздать быдло, завладевшее оружием. И направить его в нужную сторону.

Через час «эскадрерос», методично, как дезинфекторы, зачищавшие коридоры и кабинеты, добрались и до шеинского – и никого там не нашли. Вышибая все двери подряд, они высадили и ту, за которой кричал и корчился второй генеральский зам. Они приказали ему замолчать, но он кричал не переставая. Тогда они сбросили его со стола и очередью разбили голову.

Меня не покормили вовремя. Конечно, я не знал, сколько времени прошло. В моей обрешиненной конуре день и ночь отмечал только свет, лившийся с потолка. Ночью его выключали, и камера погружалась в кромешную, полнейшую темень. Но свет выключился, когда я еще не хотел есть, а потом включился снова, но стал совсем тусклым, желто-красным, таким слабым, что я едва различал стены.

Я прождал часы или всего минуты и захотел есть. Так, что даже закололо под ложечкой. Меня снова стало мутить. Сумрак колыхался передо мной, дрожал. Волнами накатывала тошнота, и снова страшно заломило в висках. Я подумал: вот и цена всей радости, всего вчерашнего пения разгулявшихся мышц. Щепотка порошка – и ты здоров и весел и не помнишь о том, что совсем недавно в твою голову впечатался увесистый кусок стали, а потом ей же досталось от свиночеловека, хорошо разбирающегося в сопромате. Не помнишь о лихорадке и о том, как кружилась перед глазами земля. А потом тебе не дают твой миллиграмм счастья. Просто – не дают. И не нужны никакие доработки и головомойки.

– Сволочи! Суки! – закричал я, грозя вялой рукой невидимым камерам. – Мне плохо! Дайте мне есть! Дайте! Скоты!

Никто не отозвался, и я забарабанил кулаками в дверь – обрешиненную, прочную, как боксерская груша, беззвучную. Потом сел, уткнувшись в нее лбом, и заплакал.

Должно быть, я заснул, потому что, когда дверь внезапно открылась, я вывалился наружу, прямо под ноги людям с автоматами, затянутым в черные униформы и бронежилеты.

– Э, да вот и он. И будить не нужно, – сказал мне Ступнев и, взяв за шиворот, вздернул на ноги.

– Я... привет, то есть я бы поел сейчас, я...

– Слушай, – ответил Ступнев, – нет времени. Сейчас ты пойдешь с нами и очень быстро. Ать-два.

Он за шиворот же выдернул меня в коридор.

– Мне плохо, – заскулил я. – Совсем.

– Потом! – крикнул Ступнев. – Пошли!

И мы побежали. Я механически перебирал ногами, глядя на мельтешащую впереди спину в черной униформе, спотыкался, тыкался в стены, падал. Меня подхватывали или вздергивали на ноги, как манекен, и снова пихали – беги, топ-топ! После того как мы сбежали по длиннющей лестнице, грохочущей, сваренной из крашеной арматуры, я мешком шлепнулся на цементный пол и, изогнувшись, дергаясь пустым животом, проблевался желчью.

– А-ар! – прорычал Ступнев.

Меня схватили под руки, поволокли. Затащили в темный закут, Андрей повозился у стены, и она вдруг отъехала в сторону, открыв белую, облицованную сверху донизу кафелем комнату. Меня затащили внутрь.

– Слушай внимательно, – приказал Ступнев, – повторять не буду. Ты меня можешь слышать? Ты понимаешь, что я говорю?

Я кивнул.

– Хорошо. Тут у нас х...ня вышла. Полная. Один большой мудака свихнулся окончательно, и сейчас у нас война. И в стране, и в данном подвале. Если тебе дорога твоя шкура, сиди тихо, понял? Я дверь закрою. Ты ее законтришь изнутри – видишь вон задвижка, красная эта. Если кто будет ломиться, не открывай, сиди тихо. Тут дверь толстая, ее гранатой не вышибешь. Я тебе маячок дам, – он сунул мне в руку черную коробочку с

индикатором, – он через три часа заработает. Он запипикает, тихонько, если мой сигнал поймает. Если я буду близко, он завершит непрерывно. Ты понял?

Я кивнул.

– Всё, нам пора. Жди.

– А поесть? – спросил я. – Мне хреново совсем. Мутит.

– У тебя есть чего? – спросил Ступнев, глядя на спутника.

Тот пожал плечами. Андрей сунул руку в карман и вытащил бутылочку:

– На. Если совсем хреново будет, выпьешь. Но только если совсем не вмоготу, понял?

Я кивнул. Ступнев и его спутник вышли из комнаты. Дверь, глухо рокоча, закрылась, вдвинулась в невидимый паз. Я потянул за красный рычаг. Дверь вздрогнула. Затем я сел на пол прямо подле нее, трясущейся рукой содрал пробку с оставленной Ступневым бутылочки и жадно, в три глотка выпил.

Комната, похоже, была операционной. Недурственной такой операционной, упрятанной под землю. Все чин-чином – лампища огромная, фасетчатая, чтоб тени не делать. Стол, похожий на никелированный верстак, с винтами какими-то, отрезками. Кронштейны, стойки. Шкафы вдоль стен стальные, со стеклянными дверцами. Я вприпрыжку подбежал к первому. Потянул за ручку. Открыта, открыта, ура! Я даже в ладоши захолопал от непонятного счастья. А что тут? Железки, железки, не надо нам железок. Бутыли с жижей. Прозрачной. Я немедленно выдернул мягкую резиновую пробку, понюхал. Вода. Нет, раствор физиологический. Чуть-чуть солененький. Давайте, давайте, я хочу пить! А что там в следующем шкафу? А вон в том, кургузеньком? Что это за порошок в коробочках? Лизнул – сладкое. Может, глюкоза? Принялся обеими руками запихивать в рот, загребать горстями. Запил из бутылки. Уф! Напихался, однако. До теплой сытости. И присел на пол прямо тут же, у шкафа, и ноги вытянул. И было мне хорошо. Животно, пещерно и примитивно – хорошо! Большими жирными буквами.

А потом мне стало плохо. Я даже как-то перехода не заметил, словно обвалилась стена. Холодная, темная, склизкая. Я хотел заползти на стол, подальше от холодного кафеля, но не смог. Меня трясло. Скорчился на полу посреди комнаты, поскуливая, как побитый пес. Мир вокруг уже не дрожал – приплясывал, подскакивал, ходил ходуном. И в такт его скачкам тошный, огненно-едкий комок блевотины подкатывал к моей глотке и сползал в желудок опять.

Потому, должно быть, я не сразу понял, что комнату встряхнуло на самом деле. И еще раз, а затем, дзенькнув, полетело из дверок стекло, и вся стальная, стеклянная шкафовая начинка веером полетела по кафельному полу. Меня отшвырнуло к стене, и я увидел, цепенея от ужаса, как дальняя половина комнаты медленно, как вафельный хлебец, отламывается, опускается вниз, щелкая лопающимся кафелем, и из расползающейся трещины хлещет вода.

Солдаты Шеина захватили здание республиканского Управления почти без боя. Прочесали этажи, вышибая ногами двери пустых кабинетов. Сверху донизу. А у самого низа из-за перекрывших входы в подвалы решеток по ним ударили из автоматов. Решетки сорвали взрывчаткой, разворотив первый этаж и гаражи, но ворваться в подвалы так и не смогли – коридоры у входа простреливались насквозь, причем так, что от входа даже и видно не было, откуда стреляют. Пущенные туда заряды только громоздили кучи бетонного крошева на полу. А посильнее, чтобы стены вынесло, бросать боялись, чтобы не обвалить здание.

Однако штурмовавшие надолго у входов не задержались. Ведомство генерала было одним из немногих, владевших точной картой городских внутренностей. И потому в подвалы стали пробиваться не сверху, сквозь многометровую толщу бетонных перекрытий, а снизу и сбоку, по канализации, по шахтам кабелей, по черной подземной реке. Большинство групп остановили на подходах, но после того, как лабиринт обесточили, перекрыв все, даже секретные линии, оставив защитникам только аварийные генераторы, одна из групп взорвала тонкую перегородку между канализацией и седьмым подземным этажом.

Как раз тогда взрыв под президентской резиденцией впустил в тоннели городскую реку. Канализацию подперло, и вскоре по магистральному ее каналу пошел назад, вверх по течению, вал экскрементов и помоев. Поэтому тонуть подземелья начали с середины. Впереди жижи бежали, спасаясь, шеинские «коммандос», отчаянно старающиеся пробиться наверх. Они расстреляли всех в аудиолaborатории – так на официальном языке называлось место, где исследовали «мозгодрание», и, упершись в очередной тупик, по колено в быстро прибывающем содержимом городских кишок, израсходовали всю оставшуюся взрывчатку. Они сносили перегородку за перегородкой, обваливая комнаты и целые ярусы. Пробившись на контрольный центр шестого уровня, перестреляв всё движущееся, открыли с пульта все двери, какие смогли. И входы, и аварийные заглушки, и люки, и двери камер. А потом взорвали и центр.

Но далеко от взорванного центра «коммандос» не ушли. Рассеялись, растеряли друг друга в темноте, барахтаясь в смрадной воде, отстреливаясь, пробиваясь непонятно куда, убивая и умирая. Кинувшихся наверх по уцелевшей лестнице расстреляли в упор, и тела, скатившись по решетчатым железным ступеням, исчезли в kloкочущей жиже внизу. Оставшиеся внизу в хаосе разваливающихся подземелий – и «коммандос», и их враги – бродили на ощупь, стреляли, сцеплялись, иногда со своими же, грызли и кусали друг друга, захлебывались, резали, вопили. Шеинские заслоны, остановленные у входов, вдруг обнаружили, что враги исчезли. Державшие входы ушли на нижние ярусы. Но из тех шеинцев, кто осмелился нырнуть в темный хаос лабиринта, назад вернулись немногие.

Река затопила нижние ярусы за считанные минуты – уничтожающая, очищающая. И спасающая – под тяжестью вылившегося из канализации обваливались расшатанные взрывами перекрытия, и лабиринт уже начал проваливаться внутрь себя. Но река заполнила пустоты, соединившись со стоками на уровне восьмого этажа. Она поглотила страх и боль, примирила сражавшихся, палачей и их жертв – их тела плыли рядом по залитым коридорам.

Я не провалился туда, в зияющую трещину, лишь потому, что трещина открылась и рядом со мной, на стыке стены и пола, и я вцепился в нее, как альпинист, забывший вовремя пристегнуться. Вода урчала и kloкотала, и мне казалось, что пол кренится всё сильнее. Я прикинул расстояние до двери и, скомандовав себе: «Раз, два – пошел!!», бросился к ней. Ноги скользнули по кафелю, но я уже держался за ручку, тянул что есть силы за красный рычаг. Заклинило. Точно, перекосило. Но – нет, дверь, скрежеща, отъехала, всего-то на локоть, но мне больше и не нужно, спасибо здешней кормежке. Протиснулся, осторожно прошел по наклонившемуся, как лодка, коридору, почти темному. Свет шел лишь из-за двери да от какой-то странной, гнилостно-зеленой полосы вдоль обеих стен под самым потолком. Одна трещина на полу. Вторая, уже с метр шириной. Я перепрыгнул ее, заглянул внутрь. Оттуда, из трупно-зеленого мерцания, пахло сыростью.

Вдали слышался ровный, чуть дребезжащий, глуховатый шум, будто от водопада. Я пошел по коридору к лестнице. С потолка капало. Открыл дверь, и в лицо мне брызнуло вязкой вонючей влагой. Водопадом стала лестничная шахта. Жижa сплошным потоком лилась сверху, разбрызгиваясь на ступеньках, и исчезала внизу. Я закрыл дверь и побрел назад, пробуя все подряд двери. Некоторые поддавались. За третьей слева открылся сумрачный коридор. Я прошел по нему к яркому прямоугольнику двери, заглянул – и вдруг вспомнил.

Я уже был тут. Только раньше тут было стекло. От пола до потолка. Теперь от него остались длинные острые обломки, как сосульки. Раньше оно было сплошное, целенькое, упругое и очень крепкое. А сидел за ним... я вздрогнул, вспоминая. Опасливо оглянулся по сторонам. Потом подумал, что, если бы обитатель этой комнаты был поблизости, вряд ли я сейчас переминался бы с ноги на ногу. Скорее, я лежал бы в углу без головы, расплющенный и исковерканный.

Где-то вдалеке стреляли. Приглушенное «та-тах, та-та-тах» сквозь шум воды. Метрах в двадцати по коридору от комнаты с рассаженым стеклом я увидел тела. Двое лежали совсем

рядышком, как неудачливые любовники, – в одинаковых черных униформах, в касках. Третий – поодаль, в луже крови, странно, неестественно выгнувшись назад, будто его спину переломали на колене. Возле них лежало их оружие, короткорылое, с торчащими ручками и рычажками. Я поднял один из автоматов – тяжелый, незнакомый – и, повертев в руках, положил назад, рядом с руками, из которых он выпал. И вдруг услышал стон. Негромкий, где-то совсем близко. Я принялся лихорадочно дергать за все ручки подряд, заглядывая в комнаты.

Он всё так же сидел на кровати, опершись спиной об обрезиненную стену, как и в первый раз, когда я увидел его. Но сейчас он был в сознании. И узнал меня.

– Привет, – шепотом выговорил он, едва пошевелив губами. – Вот и ты. Ты за мной?

– Привет, Марат, – ответил я. – Тебе лучше?

– Нет, – сказал он. – Мне плохо. Очень. Больно. Ты за мной. Хорошо. Мне терпеть тяжело. Грудь сломали.

– Ты не говори тогда, – забормотал я. – Я за тобой, да. Я тебя выведу.

– Пить, пить принеси мне.

Я бросился в коридор, к трупам. Где, где? Вот, пристегнута. Трясущимися руками отцепил забрызганную кровью фляжку, вытащил из кармана плоскую оранжевую коробочку, кинулся назад.

– Давай, давай, осторожно, вот. – Я лил тоненькой струйкой ему на губы. – Глотай, глотай.

Вода стекала по его груди.

– Ты не можешь глотать? Я сейчас тряпку оторву, намочу... вот. – Я приложил влажный комочек к его губам. – Еще. Давай еще.

– Спасибо, – прошептал он. – Мне говорили, тебя тоже взяли. И ты всё рассказал. И согласился... на них. Врут ведь.

– Врут, – солгал я. – погоди, я тебя сейчас на ноги подниму. Вот, видишь, – я достал из коробочки продолговатый пластиковый пузырек с иглой, – сейчас я тебе это вколю, и тебе станет хорошо, нормально станет. Вот, – я воткнул иглу ему в бедро, нажал на пластик, вгоняя раствор внутрь, – а теперь давай, я сейчас руку под спину, вот так...

– А!! – крикнул Марат. – Не трогай, не трогай! Они мне сломали, сломали...

– Я приведу кого-нибудь, сейчас, – растерялся я.

– Стой, – прохрипел Марат. – Никого ты не приведешь. Тут стреляли. Много. И рвали. Сперва и потом. Много. Там трупы одни. Я... я знаю. И я умру. Скоро. Совсем. Воды дай.

Я снова приложил напитанную водой тряпку к его губам.

– Не глупи... никого ты не приведешь, никого. И я умру один. Не уходи. Уже скоро. Я звал... хоть кто... и ты вот. Хорошо. Одному плохо умирать... Она так и сказала – умрешь из-за меня, и вот. – Он виновато улыбнулся.

– Она?

– Да, она. Она предупреждала. А я верил и не верил... врет, она же часто врет. Всегда почти. А сейчас – правда, потому что ее время, взаправду. И Город теперь – ее. Она купила его у нас – очень дешево купила. И ты умрешь, потому что она и тебя купила, твою жизнь. Ты дрался за нее, дурак ты. Ты ведь спал с ней, правда? Тогда, на реке?

– Спал, – смущенно признался я, – но при чем здесь это?

– Хозяйка лета пришла взаправду и стала ею. Она теперь хозяйка, приняла ее в себя, хозяйку, и стала – настоящая, а у нее счет большой, она много дает и забирает еще больше. Она всё хочет забрать. И меня забирает. Я когда забываюсь, ее вижу. Она смеется.

– Да нет, Марат, она здесь ни при чем, – сказал тогда я, – а дело здесь в выстреле на площади и пистолете, который подобрал Дима, и жаре, и моей нерасторопности. Еще день, и я бы теперь оказался не здесь, а там, где лед утыкается в небо.

– Но ведь не оказался. Я тоже хотел уехать. Еще когда ко мне первый раз приходили. Но не уехал. Цепочка случайностей – там, тут. Она так любит, по-кошачьи, ненароком, случайно. Я сперва с ней познакомился – нормальная девчонка. И только почему-то все ее

знали. От рыцарей до легионщиков, все. Ее даже милиция знала. А потом... я ведь тоже дрался за нее, как и ты. И спал с ней.

– Извини.

– Уже неважно. Ты думаешь, наше язычество, танцы на берегу, костер и вино – это просто так? Это всё старое и всё грех. Нечисть приходит, когда зовут. Вот она и пришла, и с ней чужая жара, и болото, и вечерняя лихорадка. Это я виноват. А сейчас она всеми нами вертит. Всем Городом. Она это всё затеяла: и кровь эту, и войну. А я помог. Я виноват.

– Да нет же, какие глупости, ну в чем ты можешь быть виноват?

– Я лучше знаю, – вздохнул он. – Я умираю и теперь всё вижу очень ясно. Недавно мне было совсем плохо, а теперь ты пришел, и стало лучше. Остайся, уже недолго. Поговори со мной.

Он говорил еще долго и сбивчиво, перескакивая с одного на другое: про свои раскопки, про английский, который так и не выучил, про своих ребят из археологического лагеря, про рыцарей, и про язычество, и про Рысю, заполонившую его мысли, превратившуюся неведомо как в хозяйку этого лета, злого, капризного, жестокого и жизнелюбивого, кошачьего, нездешнего лета, крадущего души и заполняющего темноту страхами.

Потом замолк, упершись подбородком в грудь. Я схватил его за кисть. Пощупал пульс, отпустил. Уложил его на кровать, надавил ладонью на грудь. Там захрустело мокро, и на его губах запузырилась розовая пена. Я сел на пол у кровати и заплакал.

Рядом кто-то засопел, тяжело, грузно. Я поднял голову: передо мной на корточках сидел свиночеловек. Щетинистый, голый, заляпанный бурой грязью.

– Ты вовремя, – сказал я ему, утерев слезы ладонью, – вовремя. Видишь, умер он. А если б кто-нибудь сильный, как ты, вынес его, к людям вынес, он жил бы. Он хороший был, он знаешь какой. Он никогда ни в кого не стрелял. Он...

– Хрн, – сказал свиночеловек и, протянув толстую руку, потыкал Марата пальцем. – Хрн.

– Чего тыкаешь? – спросил я его зло. – Мертвый он. Совсем.

– Хрн, – повторил свиночеловек тихонько и потрогал толстым пальцем мое плечо. – Хрн.

И, бесшумный, как кошка, выскользнул из комнаты.

Я не знаю, сколько я просидел возле Марата. Я не хотел ни есть, ни пить. Свет становился всё тусклее. Потом в моем кармане запищало, я вынул черную коробочку, о которой совсем уже позабыл, и услышал от дверей хриплое: «Ну, привет! Слава богу, хоть ты удрать не успел».

ПАТРОНЫ ДЕСЯТЫЙ И ОДИННАДЦАТЫЙ: СМУТА

Вести о конфедерации разбежались по стране болотной рябью. И, как столетия назад, всколыхнулась вся страна. Нестройно, вразнобой, сварливо, недоверчиво глядя на соседей, но поднялась. Вся многократно продублированная система контроля и власти, не способная переварить перечасные друг другу приказы и инструкции сверху, заработала в обратную сторону. Отец нации еще в первые месяцы после прихода к власти понял, как держалась империя. Не насилием, хотя и его хватало, и не страхом, и не пряником – потому что мал был имперский пряник и черств. Держалась она исполинской инерцией однажды разогнанного механизма, разросшимся во весь рассудок инстинктом самосохранения. А теперь этот механизм, стремящийся сохранить нормальную, привычную жизнь, тормозил и глушил приказы комитетов и спускаемые по вертикали распоряжения отца нации.

Получив их, «вертикальщики», привыкшие к районному всевластию, срочно созванивались с главврачами, ложились в больницы и уезжали в санатории, по возможности заграничные. Милицейское начальство застыло в ступоре, а участковые с патрульными

угощали пивом застрявших по городкам и деревням солдат. Слухи о конфедерации пухли и сверкали, наращивая по пути вес и завлекательность. Передавали, что в районах под контролем конфедерации – зона свободной торговли, едут свободно из-за границы, и даже торгующие прошлогодней картошкой зарабатывают по сотне в день. Известно чего по сотне – не рублей. Да съезди – сам узнаешь. Пускают всех, вези, было бы что продавать.

Слово «конфедерация» буквально за пару дней стало крылатым и заразным. Оставшиеся офицеры застрявшего в Мяделе танкового полка, лейтенанты и капитаны, прослышав о таинственном генерале, вожде конфедератов, дозвонились до Сергей-Мироновска и доложили о себе. Получив добро, собрались на нарочанском берегу и тоже провозгласили конфедерацию. Теперь они реквизировали всё, что попадалось под руку, именем конфедерации и тут же продавали задешево. Благодарная милиция, тут же побратавшаяся с новоявленными конфедератами, подсказала, где находятся огромные склады конфискованных на границах с прибалтийскими соседями товаров. Таможенники же, едва увидев солдат с бело-красными лентами на рукавах, тут же все вместе изъявили желание присоединиться и собрали людей для погрузки.

Страна, лежа на перекрестке торговых путей с севера на юг и с запада на восток, жила, помимо продажи старого оружия и остатков леса, перепродажей нефти с газом и транзитом – и тем, что с этого транзита собирала, конфискуя по малейшему поводу. Товара сквозь страну везли огромное количество, и дыры бюджета уже который год латали конфискатом. Всем таможням президентская администрация спускала ежеквартальный план. За перевыполнение премий не давали, полагая, что таможенники вознаградят себя сами и, испугавшись присвоить всю сверхплановую партию, что-нибудь да оставят казне. Потому таможни рьяно включились в соцсоревнование, описывая подвиги экспроприации цифирью в графе «в пользу государства».

Правда, время от времени кого-нибудь из особо зарвавшегося таможенного начальства арестовывали, но, как правило, ограничивались понижением в должности и требованием «компенсировать причиненный ущерб». Начальник Свирской таможни выстроил близ заповедных Страчанских озер готический замок с башнями, окруженный всамделишным рвом и палисадом, и на новоселье поил гостей именной водкой «Владыка озерного края». Когда вести об этом дошли до отца нации, тот рассвирепел и приказал республиканскому Управлению заняться замком и его хозяином.

Хозяин, однако, не растерялся и, прибыв в столицу, попросил аудиенции. О чем именно они договорились, осталось неизвестным, но вскоре обнаружилось, что документы на транспорт с роскошнейшими представительскими «мерседесами», следовавший из Прибалтики к восточному соседу, оформлены неправильно и вообще крайне сомнительны, а пошлины вовремя не уплачены. Вскоре вся областная президентская вертикаль обзавелась новыми машинами, а несостоявшийся покупатель «мерседесов» подал на республиканскую таможню в суд, пытаясь вернуть три с половиной миллиона долларов. Главным свидетелем по делу был начальник Свирской таможни, прощенный и получивший почетный знак «За службу Родине». Впрочем, с поста начальника его всё-таки сняли, назначив в конце концов главой Областного арбитражного суда.

В иные годы доход от конфиската доходил до трети республиканского бюджета. Но проблема была в том, что республика не могла проглотить и потребить такое количество холодильников, телевизоров и компьютеров. Снизить цены значило добить и так дышащих на ладан отечественных производителей, с продажей за границу возникали проблемы – восточный сосед принципиально изъятого по пути к нему не покупал, и таможенные пакгаузы были забиты доверху.

Глазам ошеломленных конфедератов предстали огромные склады, большая часть содержимого которых сгинула не только из памяти таможенников, но и из их тонушей в бумажном море бухгалтерии. Дешевую распродажу устроили прямо у дверей складов, в длинной очереди покупателей оказались и те, кто этот товар уже продавал. Озерный северо-запад страны заполонили прибалтийские торговые гости, разъезжавшие с бумажками,

украшенными расплывчатым оттиском наспех вырезанной из линолеума конфедератской печати, внезапно сделавшейся могущественнее чингисхановой пайцзы.

Нашлось на складах таможни и кое-что, не столь безобидное, как электрокофейники и игровые приставки. То, что везли с Востока спрятанным в двойных днищах автофургонов, запиханным в бензобаки, заваренным в нормальные с виду газовые баллоны. Плотные и вязкие, как плиточный зеленый чай, брикеты гашиша, прессованные разлохмаченные тючки конопляного ассортимента, фасованные по классу. Фляжки и коробочки с кокаином, ампулы с фенамином и украденным с военных складов морфием, грязный среднеазиатский героин и дешевый «экстази» с подпольных подмосковных фабрик. И всё это новоявленные конфедераты, не долго думая, тоже стали продавать направо и налево, не вглядываясь особо ни в лица покупателей, ни в их охрану.

Впрочем, офицерам достало здравого смысла строжайше запретить солдатам пьянство, дешевый кайф и отлучки, а мерой наказания выбрать пинок под зад с советом никогда больше здесь не появляться – во избежание. А поскольку каждые сутки конфедерации делали каждого ее солдата существенно богаче, наказание было страшнее военно-полевого суда. Потому конфедераты не только не растеряли боеспособности, но чудесным образом умножили силы: к ним, как и к Матвею Ивановичу, съезжались, сходились и слетались со всех сторон остатки раскиданной шеинской волей по закоулкам республики армии.

Боеспособность пришлось доказывать, когда из ниоткуда: то ли из-за близкой границы, то ли из отечественных подворотен – примчалась стая бритоголовых и татуированных, с унитазного фасона желтыми цепями на шеях парней в черных очках, с пистолетами и обрезам. Капитан, с которым они попытались «поговорить по-свойски», в ответ на предложение поделиться поднял свою роту. А в ответ на «Ты че?» и бестолковую пальбу устроил зачистку – по всем правилам. Пойманных укладывали наземь лицом в пыль. Шевельнулся – сапогом под ребра! Трех взятых с оружием в руках капитан расстрелял напоказ, для острастки. Он убил их перед строем на загаженной мазутом асфальтовой площадке за таможенной изгородью, где дожидались своей участи груженные фуры.

Капитан, бледный и маленький командир танковой разведроты, уже семь лет получавший за работу меньше, чем слесарь в коммунхозе, стрелял в стриженные затылки из старенького должностного «Макарова». До этого дня капитана звали за глаза дурацкой собачьей кличкой Мих-мих. Смеялись над его мечтами поступить в военную академию, над «Запорожцем», привезенным зачем-то из Казахстана, откуда капитан вместе с женой и сыном приехал после того, как скончавшаяся империя оказалась не способной прокормить свою армию. Квартиры капитан так и не получил, «Запорожец» по-прежнему стоял около входа в общежитие, из семейного ставшего холостяцким, когда ушла жена, уставшая от перегарной гарнизонной жизни и нищеты. Тогда, на асфальте, его жизнь стала прямой и легкой, как занесенная сабля, а после коллеги-конфедераты, лихорадочно хватавшие деньги на будущие, уже явственно представляемые квартиры и дачи, бледнея, слушали каждое его слово. После – он стал просто «капитан».

Этим же вечером капитана, вместе с ординарцем возвращавшегося в приютивший их дом на окраине Мяделя, подстерегли. Ординарец, шедший впереди, получил из придорожных кустов в лицо и грудь заряд дробь-нулевки. Капитану дробь раскромсала левую руку, пробороzdила плечо и вырвала кусок уха. В кустах, куда капитан выпустил обойму «Макарова», поутру нашли пятна крови и обрез «тулки» двенадцатого калибра. И тогда вся торговля стала и продолжала стоять, пока капитану не привели стрелявшего. На этот раз капитан не стал расстреливать перед строем. Тело ординарца провезли на броне через весь город. Играл духовой оркестр, и шли, чеканя шаг, роты. В небо над кладбищем раскатились девятнадцать залпов – столько лет было солдату.

Стрелявшего повесили на площади перед мядельским райисполкомом. Посмотреть на казнь собрался весь город. На стрелявшего, коренастого, заросшего щетиной до глаз смуглого детину, смотрели, перешептываясь, лузгали семечки. Когда казнимому дали возможность сказать последнее слово, из толпы раздалось: «Дави его, суку, чего тянешь!»

Приговоренный, ощерясь, сплюнул и прохрипел: «Всех вас, козлы бульбяные, на ножи поставят!» Из толпы засвистели. «Уазик» тронулся, выкатился из-под ног, и повешенный задергал ногами, забился, вывалив толстый лиловый язык. Затих, а замолчавшая толпа смотрела, как по его джинсам расплзается мокрое пятно.

Капитан отправил патрули по окрестным городам и деревням. В Поставах его взвод наткнулся на заезжую питерскую братву, решившую по пути домой подзаработать, продавая купленный у конфедератов гашиш. Лейтенант-взводный после совета пойти подальше сдернул с плеча автомат. Местная милиция осторожно наблюдала из-за заборов, как солдаты расстреливали фуры с товаром, их хозяев, шоферов и охранников. Пленных лейтенант, подражая своему командиру, в одни сутки ставшему жуткой легендой, развесил по придорожным тополям. Капитан, узнав о стычке, велел немедленно прекратить продажу наркотиков, а всё найденное сжечь. Офицеры-конфедераты пытались протестовать, капитан молча положил на стол свой «Макаров». Когда в костре лопались ампулы с морфием, над таможенной свалкой стоял оглушительный пулеметный треск.

Когда Матвей Иванович решил двинуть свои силы из Сергей-Мироновска на Город и позвонил в Мядель, приказав выступить, ответил ему капитан. Он сам повел из Мяделя на Город танковый батальон. Оставшиеся офицеры-конфедераты обещали снабжать его едой и солёной и облегченно вздохнули, когда на дороге улеглась поднятая танками пыль.

Вести о конфедерации докатились и до Лепеля где солдатня уже устала пить и грабить продмаги, и до Хойников, где на зараженной цезием земле сидели в палатках, злобясь, остатки когда-то лучшей в республике дивизии. В Лепеле оставшиеся офицеры пробовали собрать солдат и даже сумели раздобыть оружие. Но собрание, вяло помитинговав полчаса, разбелось. Жарко было очень и муторно после вчерашнего. Куда ехать, зачем? Городские власти только рады были спроводить солдат, превратившихся в непосильную обузу, и тут же предложили за свой счет снабдить их билетами и усадить на поезда и автобусы. Езжайте, конечно, – к конфедератам, в Город, да куда угодно. А оставшийся неизвестным генерал из районного начальства предложил отдать солдатам последнюю партию ношеной одежды и обуви, поступившей в порядке гуманитарной помощи из Германии.

Лепель опустел за считанные часы, и эмиссары Матвея Ивановича, прибывшие посмотреть на новых союзников, нашли единственного человека в форме – местного военкома. А вокруг донельзя изгаженного вокзала, где табором стояли защитники отечества, валялись выдранные с мясом кокарды и погоны да разбитые продранные ботинки. Сброшенную форму, еще по-имперски добротную, горожане разобрали куда быстрее, чем ношенные гуманитарные маечки и джинсы. Эмиссаров городское начальство встретило вежливо и, прилично накормив, выпроводило. А в ответ на просьбу поддержать и защитить Родину попросило присмотреться к вокзалу и окрестностям и самим ответить на вопрос, кого от кого следует защищать.

Запертые гомельским спецназом в Хойниках сами дозвонились до Матвея Ивановича, прося помощи оружием и пищей. Солдаты собирали грибы, от которых зашкаливали счетчики радиации, и охотились в лесу с рогатками и самодельными луками. Несколько тысяч людей, загнанных в оставленный людьми район, никто не кормил, а оружия было три десятка ракетниц на всех. Даже у офицеров не было табельных пистолетов. Спецназовцы перекрыли дороги и, напуганные известиями о бунте и беспорядках в Городе, стреляли во всё подозрительное. Солдаты дезертировали, пробирались лесами. Без денег, оборванные, грязные – добыча милиции любого города, где только появлялись. Пробирались как окруженцы сорок первого, ночуя в стогах, расспрашивая молодёжь во дворах на отшибе, не проходил ли патруль. Матвей Иванович не хотел распылять силы, но среди пришедших к нему оказались люди, чьи сослуживцы погибали в радиоактивном лесу. Потому в Хойники ушли три машины с автоматами и амуницией, с «БМП» в охранении. Спецназ не ожидал вместо безоружных голодных новобранцев «голубых беретов» на броне. Конвой пробился, и в тот же день под Хойниками началась настоящая партизанщина, с налетами, грабежом и взорванными мостами.

Ни с юга, ни с востока к Городу не пошел никто. Война, уже прорвавшаяся в него изнутри, катилась к нему с запада.

Спать не хотелось. Уже костры превратились в горки едва багровеющих углей, и полевая кухня, такая жаркая, плевавшаяся пахучим паром, от которого сводило желудок, погасла и остыла, выдраенная, снова стерильная – мертвая. Присев подле нее, Дима выкурил сигарету. Ночь пришла холодная, зябкая и сухая. Будто явилась из пустыни и принесла с собой чужие звезды, угловатые, колючие и пыльные. Сперва не понял, что же мешает уснуть. День прошел в беготне и нервах, и, когда колонна наконец выстроившись и загрузившись, тронулась с базы, легче не стало. Пружина всё завинчивалась – до первых выстрелов, до засады, до тех, кто встанет на пути, – а ведь встанет, не через час, так через два, не за этим холмом, так за следующим.

Примчится перепуганное охранение, колонна развернется в боевой порядок, выдвинутся вперед танки, и тогда... тогда каждая секунда поведет за собой следующую, и нужно будет только успевать за ними. А сейчас тишина царапала душу. Необыкновенно тихо вокруг. Тишина выгнала из палатки и отобрала сон. Летними ночами кричат в прудах лягушки, свиристят, заливаются в листве охрипшие соловьи. Цвиркают, цокают в траве кузнечики и цикады. Плотная ткань ночных голосов. А сейчас – пусто. Только часовые переминаются с ноги на ногу. Не шумят на шоссе машины. Даже не храпит никто в палатках. Наверное, тоже не спят. Дима прислушался: в ближней палатке перешептывались. Он подошел поближе, стараясь ступать осторожнее.

– Чего, вы и вправду на него полезли? – спросил кто-то за брезентовой стенкой недоверчиво.

– Миха чуть ему в пысу не ткнул, – ответил знакомый шепоток. Дима усмехнулся. – Б... я буду, едет запросто, пива нам дал. Приветливый такой. Я уже сам к нему в сумку лезу, пиво достаю. А там...

– Что там?

– А видел, что на боку у него? Вот то и достаю. Миха, дурак, всё бугрится. А я тебе говорю: я сразу понял, что тут к чему. Вот тогда я ноги в руки, Миху за шкирень да ходу оттудова. Мы потом на вшивом полустанке два часа просидели.

– А зачем вы вышли? Вы чего вообще? Испугались, что стрелять начнет после пива?

– Балда ты. Ты ж видел – запомнил он нас. Ты только представь, что было б, если бы тогда не смотались.

– А-а, понятно, – потянул первый голос, – а что б было-то?

...Дима подумал: дети. Все мы – сущие дети, играющие в войну и взрослых, опасных и важных дядь при исполнении. Ведь можно было выйти станцией дальше. Или вообще не выходить. И, может, попасться, пытаясь утопить пистолет в Витьбе. Или забыть его в сумке, чтобы нашли родители. А может, стоило вообще послать соседа к черту и никуда из Города не ехать. Кому пришло бы в голову искать этот пистолет в общежитии? Но сосед перетрусил. Разжиревший трусливый идиот. Интересно, где он сейчас?

Покорного судьба ведет, непокорного – тащит. Неправда. Сейчас непокорного просто забрасывают, оставляют с самим собой. Варись в желчи, грызи сам себя, кляни за то, что не рискнул. Потей душными вечерами в комнате общежития, стучи по клавишам, сопи, переживая, что придется таскать обвисшее пузо по перевалам, в отмеренной самому себе нищенской подачке сильного и настоящего. А больше не будет. Судьбе сейчас есть из кого выбирать.

Заснул Дима у танка, у своего снятого с пьедестала флагмана, немислимо громыхающей, грубой, тряской «тридцатьчетверки», такой угловатой и нескладной в сравнении со своими приплюснутыми, обтекаемыми правнуками. Привалился спиной к еще теплой броне и, докурив сигарету, неожиданно для себя отключился. Моргнул начавшими тяжелеть веками – а когда те поднялись, в прошедший миг уложился остаток ночи, и в сером свете над лесом показался розовый солнечный закраек. Часовой закричал снова: «Стой,

стрелять буду!» Ему ответил девичий голос, низкий, с хрипотцой. Спокойный: «Вот и хорошо. Мы и приехали для того, чтоб стрелять. Зови начальство – пополнение прибыло!» Дима, узнав голос, вскочил как ужаленный.

Сперва не поверил своим глазам. Кони нетерпеливо копытили землю, утренний ветерок шевелил плащи, длинные волосы, перетянутые ремешками. Ножны на боку. Из какого морока они вылезли, заблудившись во временах и лесных дорогах в предрассветной темноте? За спинами – нет, не острия копий, Дима вздохнул с облегчением – стволы. Часовой смотрел, пораженный, на всадников.

– Отставить! – скомандовал ему Дима, и тот послушно опустил автомат.

Рыся, до щиколоток укрытая плащом с медной фибулой на плече, сидела по-мужски, откинувшись в седле.

– Привет, командир. Принимай пополнение – отборные бойцы. «Белый легион» и добровольцы от клубов.

В лагере заиграли побудку. Из палаток – кто по-армейски, бегом, кто ковыляя и чертыхаясь – начали выбираться их обитатели. Потянуло дымком от полевой кухни. Шеренга прибывших выстроилась перед Димой. Тот прошел вдоль строя, вглядываясь в лица, усталые после ночного марша. Умные, ухоженные. Студенты. Прямо от кольчуг и самодельных мечей, от дурацких турнирных драк. От компьютеров и зачетов, от родительских квартир. С крепкими от привычки таскать турнирное железо плечами. С разноцветными рюкзачками за спинами, с притороченными к ним туристскими ковриками.

– Чудесные солдаты, – сказал Дима, – интеллектуальная элита. Будущее нации.

– Драться за него они и пришли, – ответила Рыся.

– Свое будущее надо беречь. Холить и лелеять. А стрелять будущее умеет?

– Дай им оружие – увидишь.

– Я его им не дам.

– Они пришли защищать Родину, – разозлилась Рыся, – кто ты такой, чтобы отнимать у них эту возможность?

Один из ее спутников, черноволосый парень с длинным угрюмым лицом, восседавший на огромной вороной кобыле, сказал:

– Не обучены только некоторые из клубов, и то не все. Легионеры все прошли трехмесячную тренировку. И автоматы у нас есть, у каждого второго.

– Так или иначе, не мне решать, гнать их под пули или отправить к маме с папой, которые уже наверняка с ног сбились, их разыскивая.

– А товарища командира папа с мамой не разыскивают?

– Авот это уже личное дело товарища командира, – огрызнулся Дима. Достал пачку сигарет, выщелкнул одну, закурил.

Всадники молча смотрели на него.

– В общем, так. Пока отдохните здесь – вам оставят палатки, вас накормят. Я даю вам провожатых, и вы идете с ними к нашей базе. Я сообщу о вас, и навстречу вышлют машины. Там решат, что и как вам давать. И куда допускать. А сейчас вы поступаете в распоряжение дежурного по лагерю. Он у кухни. – Дима указал рукой на голого по пояс Сергея, втолковывавшего что-то сонным кашеварам.

– Но мы уже готовы... – начал было черноволосый.

– Вопросы есть? Вопросов нет, – отрезал Дима, выдохнув клуб дыма. – Исполнять!

Черноволосый вопросительно глянул на Рысю. Та пожала плечами:

– Не я здесь командую, а товарищ командир.

– А к тебе, – сказал Дима, – у меня есть разговор. Отойдем в сторонку. Вон туда.

Рыся помедлила немного, потом тронула коня, поехала рядом. Остановились метров за сто, и Дима, взявшись за узду, спросил:

– Куда ты исчезла? Хоть бы предупредила. Я с ног сбился, тебя разыскивая.

– Но я ведь сама тебя нашла, – ответила Рыся. – Ну, говори же, что хотел сказать.

– Я, – Дима смешался, – я просто хотел тебя видеть.

– Что ж, увидел. – Она усмехнулась.

– Я обидел тебя той ночью? – спросил Дима. – Я сделал тебе плохо?

– Если это всё, что ты хотел сказать мне, то я поеду. У меня еще много дел.

Дима сломал в пальцах сигарету.

– Езжай.

– Не злись на меня, командир, пожалуйста, – вдруг тихонько попросила Рыся, – я с тобой скоро встречусь. Очень скоро – обещаю. Ты не представляешь совсем, кто мы такие и что делаем. И у меня совсем нет времени тебе объяснять. Поверь: мы очень много делаем. Вы здесь из-за того, что сделали мы. Кстати, твой друг, с которым вы пили пиво на площади, ну, сам знаешь когда, – он живой и здоровый. И спрашивал о тебе... Тсс, – она приложила палец к губам, – вопросы потом. Я тебе отвечу на все, обещаю. А пока...

Она выпростала из-под плаща руку.

– До скорого. Знаешь, ты хороший командир. Ты ведь правильно судил о моих. Большая половина – сущие дети. Я их увела, потому что, когда в Городе стрелять начнут, они полезут в самое пекло. Обязательно. А у твоих... твои их ведь не пустят, правда?

Дима, кивнув, осторожно пожал тонкие теплые пальцы:

– Спасибо. До скорого.

– Не забывай меня, – лукаво улыбнулась Рыся, откинув упавшую на лоб прядь.

Стронула коня и поехала шагом к ожидавшим ее всадникам. Дима проводил их взглядом.

Павел, тоже посмотревший вслед всадникам, сказал чистящему зубы Сергею:

– Тебе не кажется, что эту особу мы уже видели – и не один раз?

Сергей промычал утвердительно, не вынимая щетки изо рта.

– И не только тогда, когда наш уважаемый начальник ее поймел. Или она поймела нашего начальника, к чему я больше склоняюсь. Ты помнишь, когда нам краповые береты выдавали – с кем она тогда под ручку стояла?

Сергей перестал чистить зубы, нахмурился, кивнул, видимо, вспомнив, и опять принялся усиленно драить.

– Я ведь её еще и до того видел, но как-то внимания не обращал. Часто видел. И не только с тем лампасником. И на аэродроме, когда мы на подхвате сидели, – кто первым проехал? Знаешь, очень мне кажется, что мы вляпались куда основательнее, чем поначалу казалось.

Сергей, отхлебнув из кружки, звучно прополоскал рот, выплюнул белую струю.

– Да брось ты. Димон всех ее добровольцев отправит к старику – пусть тот разбирается, автоматы им давать или лопаты.

– Так-то оно так, – протянул Павел задумчиво. – А она? Какого х...я она здесь? На чьей стороне? При ком она тут?

– Брось, – посоветовал Сергей. – Ты что, забыл, куда стрелять? Пошли, там уже на нас накашеварили.

Автоматов ни добровольцы, ни белые legionеры так и не получили. До Сергей-Мироновска они добрались только поздно вечером, когда войска конфедератов давно уже оттуда ушли. Для прибывших поставили в парке армейские палатки, а с утра, отобрав имеющееся оружие и вручив лопаты с ломиками, отправили разбирать настроенные конфедерацией по всему городу нужники. Их, увлекшись, построили десятка три, чуть ли не на каждом городском перекрестке.

Однако среди прибывших не оказалось ни Рыси, ни ее конного эскорта.

Собирали конфедератов долго. Несмотря на все вечерние приготовления, кто-то у кого-то отбирал машины, кто-то не туда заехал, и его вытаскивали. Командиры не могли найти своих людей, а люди – командиров, неловко стронутый с места танк развалил два дома, и пришлось срочно улаживать скандал, на базаре очередной раз затеяли свару, и всё

разбиралось и улаживалось тем более медленно, что сам Матвей Иванович в делах участия почти не принимал. С утра он проснулся совсем больным, едва разогнулся, а когда попытался встать, со стоном повалился на пол, и прибежавший Ваня, подняв его на руки, как ребенка, уложил на кровать, перетянул руку жгутом, вытянул из ампулы коричневую жижу, уколол. Глаза старика заблестели. Он снова попытался встать – и опять упал на кровать, но не застался, а рассмеялся.

– Если б это еще и песок из коленок высыпало – цены б снадобью не было. Придется тебе поработать камердинером. Ты уж извини.

– Да не за что, Матвей Иванович. Вот брюки ваши.

Старик попробовал согнуться. Закряхтел.

– Давайте я помогу... вот. И рубашка. Вас в кресло перенести?

Старик кивнул, и Ваня, подхватив его на руки, понес, усадил в кресло.

– Что, жалко смотреть на калеку? Жалко ведь. И неприятно. Я же вижу, как ты виду стараешься не показывать. – Старик усмехнулся. – Ради бога, оправдываться не пытайся, я ж тебя как облупленного знаю. Надо же. Всю жизнь казалось, что до такого не доживу. Тебе дед рассказывал, как я его по буеракам на спине тянул, после того как в засаду попали?

– Конечно. Сколько раз, – сказал Ваня. – Про то, как ему голени пробило, и, если б не вы, его б зондеры взяли.

– А он не рассказывал, что тогда же и зуба лишился? Переднего, вот здесь. – Старик показал пальцем на левую сторону верхней челюсти.

– Мне он говорил, что с приятелем подрался.

– Ведь правду сказал. Не любил он врать, дед твой. Крепкий был человечина. А зуб ему выбил я, ногой. Тогда же, когда ему голени продырявило... За нами зондеры шли. Ты ж знаешь, их из местных набирали, немцы там только офицерили. Леса знали как свои пять пальцев. Я тогда не думал, уйдем или нет. Здоровье было – тянул. И быстро, как оказалось. А твой дед думал. И не хотел, чтоб меня из-за него поймали, а еще больше не хотел, наверное к зондерам живым попасть. И когда я его наземь скинул, отдышаться да отлить, он за пистолет – был у него маленький браунинг, под рубахой носил его. Оборачиваюсь – а он его уже к голове приставил. Я ногой и дал, не долго думая. Пистолет в кусты улетел. Зуб тоже – им твой дед чуть не подавился, выхаркнул с кровью. Матюгался всё время, пока я волок его, всё темя мне слюнями и кровью обрызгал. А я его всё-таки донес. И зондеркоманду обогнал. Я ведь помню, как я тогда на него смотрел. Как ты на меня сейчас. В нашем деле лучше – и перед собой, и перед другими – быть не калекой, а трупом.

– Но дедушка тогда выздоровел. И бегал, и танцевал.

– Да уж. И у меня вон то, что ты теперь под мышкой носишь, выцыганил – за браунинг и зуб... Но, Ваня, от зондеркоманды, которая за мной сейчас идет, еще никто никогда не убегал. И пытаться бежать, цепляться за последние остатки, висеть на лекарствах, вместо того чтобы спокойно ее встретить, – нелепо.

– Вам сейчас нельзя быть трупом, – серьезно сказал Ваня. – Непозволительно. Вам нужно прожить три дня, чтобы увидеть наши танки на улицах Города, – помните, вы же сами недавно говорили?. И еще неделю, чтобы наши не стали друг в друга стрелять. И еще месяц, чтобы перестали стрелять по всей стране. И год, чтобы всё хоть как-то наладилось. И лет пять, чтобы жизнь тут стала нормальной. Я верю – вы-то везде порядок наведете.

Старик рассмеялся:

– Ах ты хитрый, лстивый лис. И ты будешь носить меня на руках, пока я буду всех устрашать и приводить к порядку?

– Рузвельт правил из инвалидной коляски.

– Спасибо за сравнение. – Старик усмехнулся. – Но если мы и сумеем добраться до Города и, самое главное, взять за шкирень главного отечественного колхозника, сравнивать меня нужно будет не с Рузвельтом, а с Пиночетом. Ты же знаешь: ждуг и под Смоленском, и под Псковом. Империя – как гидра. Отрубленные головы отрастают снова, как только она набирается сил. Ради восстановления законности, по просьбе братского народа –

пожалуйста, принимайте освободителей. А отец нации уже изрядно соседей достал. Как только он распишется в своей неспособности справиться с нами, помощники не задержатся.

– Так почему они до сих пор не пробовали вмешаться?

– Кажется мне, просто они ожидают, что мы сами поднесем им страну на блюде. Что мы с тобой затеяли в их представлении? Мятеж старых гэбистов, оказавшихся не у дел. Кто заварил кашу в Городе? Опять же охранка, старая имперская кость. А чего хочет охранка всякой развалившейся империи? Так зачем им вмешиваться?

– А вы в самом деле хотите, чтобы мы снова стали имперской провинцией?

Старик вздохнул.

– Если повезет захватить власть – зачем торопиться ее отдавать, верно? Только вот получится ли... много ведь придется делать, очень много – и очень быстро. Устроить публичное судилище – и суметь это сделать убедительно. И над надоевшим всем отцом отечества с его присными, и над нашими. Ведь обязательно придется и кого-нибудь из своих кинуть на съедение за всё, учиненное в Городе. Вернее, за то, что они обязательно учинят в ближайшем будущем. И выборы организовать, зазвав кучу наблюдателей отовсюду.

– А разве есть из кого выбирать? Что, тянуть из-за границы профессоров истории, которых люди боятся больше, чем нынешнего главу?

– Придется найти. И профессоров, и банкиров. Один умный человек сказал, что на танке можно завоевать страну – но вот управлять ею с танка не получится. Как представишь, сколько еще придется тянуть, – хочется до всего этого не дожить.

– А вы хотели только увидеть победу? Увидеть свои танки в Городе, а остальное оставить другим? Но ведь это... это просто непорядочно! Кто мы без вас? Кто всё это заварил? Да вы просто обязаны жить, вы должны!

– Ну, ну, не горячись, – сказал старик примирительно. – Долг, конечно, – дело первейшее. Как же можно отдать концы, не исполнив. Торжественно тебе обещаю – буду стараться дисциплинировать свою костлявую, чтоб раньше времени не забрала. Честное пионерское. – Старик приложил ладонь к груди. – А если ты мне хочешь помочь в этом трудном деле, завари-ка кофе. И передай потом Федору – пусть без меня собираются. Хоть раз напоследок кофе спокойно выпью.

Колонна выбралась из Сергей-Мироновска только к одиннадцати. Первым пошло охранение на «БМП» и «УАЗах», за ними танки, грузовики с разномастной конфедератской братией, кое-как рассортированной по ротам и взводам, армейские бронетранспортеры и зенитные самоходки, потом пара танков и снова грузовики: с припасами, ремонтниками, бензином и соляжкой. Цистерн Матвей Иванович, памятуя военный опыт, брать не велел. Неудобные, громоздкие машины всегда становились первой мишенью. Запас топлива брали в двухсотлитровых железных бочках – на базу свезли их сотни.

Конфедераты горланили песни и передавали друг другу бутылки. Офицерам велено было смотреть на это сквозь пальцы: Матвей Иванович свято верил во фронтовые сто граммов и, не рассчитывая, что энтузиазма у его войска хватит на большее, чем получасовая стычка, разрешил набираться храбрости кто как сможет. Он, правда, очень надеялся, что получасовым боем всё и ограничится. По всем данным, доставленным многочисленными соглядатаями и агентами из Города и провинций, отражать конфедератов было практически нечем. В Городе продолжались перестрелки. Согласно донесениям, и охраны, и президентские силы понесли огромные потери и погубили большую часть войск, которыми располагали. Оставалась возможность атаки с воздуха – но радиолокационные станции следили за небом над Городом и конфедератами, за всеми ближайшими аэродромами и немедленно оповестили бы об угрозе. И подняли бы по тревоге истребители бобруйского авиаполка.

Остатки двух полков спецназа, лишенных единого командования, ползали где-то вблизи Города и на пути оказаться были не должны – если, конечно, вдруг не решили открыть дорогу танкам безумного капитана из Мяделя или legionерам студента. Старик

рассчитывал подойти к Городу третьим – и оказаться в нем первым.

Небо было белесо-синее, пыльное, жаркое – который уже день. Над броней дрожал раскаленный воздух, и, изнемогая, солдаты открыли все люки. Помогало не очень – утих даже всегдашний ветер, застоялая духота душила, стягивала губы. Колонна двигалась медленно. Уже было три часа пополудни, они подошли совсем близко к Городу, а шоссе оставалось пустым. Ни встречной машины, ни вынырнувшего из лесу дачника. Дима дважды приказывал снижать скорость, и теперь машины едва ползли. Жары он не замечал. Беспокойство, не оставлявшее его с утра, после встречи с Рысей, превратилось в цепенящий страх. Беспричинный, странный. Непонятно откуда пробравшийся в душу. Ладони липли к обтянутым резиной поручням. Где-то в ладном, безопасном, знакомом и прочном когда-то мире открылась трещина, и теперь в слитный прежде гул прокралось дребезжание, тянущая нервы фальшь. Ощущаемая не разумом, а нутром, как первые судороги земли перед извержением вулкана.

Охранение шло и впереди, и позади колонны, связь с базой не прерывалась, и на аэродроме под Бобруйском ждало сигнала звено штурмовых вертолетов. Чтобы поддержка с воздуха не перепутала, на крышах своих машин намалевали широкие белые и красные полосы. При малейшей угрозе можно просто повернуть назад, остановиться, дожидаться основных сил. Но Димин страх уже перерос всякую видимую логику. Просто двигаться к Городу по шоссе, как покорная корова на бойню, невозможно. Будто лбом в ледяную стену. Что-то нужно делать, а что именно? Месиво смутных подозрений не складывалось в единую связную мысль.

Миновав столбик с синей табличкой «До Города – двадцать три километра», Дима велел остановиться. Шоссе врзалось в гряды поросших соснами песчаных холмов, местами поднимавшихся над ним на добрых полсотни метров. И туда Дима, оставив при себе роту дезертиров, отправил легионеров и егерей под командой Сергея и молодцеватого легионного сотника прочесывать лес по обе стороны шоссе, двигаясь в полукилометре впереди колонны. На следующие три километра ушел почти час. Разведчики, поначалу обрадовавшись возможности выбраться из-под горячего железа на свежий воздух, начали вполголоса материться – в лесу хватало и кустов, и замаскированных ими ям.

С шедшей на километр впереди «БМПшки» охранения уже несколько раз раздраженно осведомлялись, в чем причина задержки. Командовал охранением лейтенант, почти Димин ровесник, только в прошлом году закончивший училище в Городе и вопреки родительским связям угодивший в полузаброшенный военный городок под Оршей. Кто такой Дима, лейтенант не знал и знать не очень хотел, считая его кем-то вроде комиссара-соглядатая, приставленного Матвеем Ивановичем, перед которым лейтенант испытывал суеверный трепет. Приказы лейтенант соглашался принять к сведению и требование указывать, где именно его машина, исполнял – но прибавлял и убавлял пару километров, когда считал нужным.

Осведомившись в очередной раз, куда успела доползти колонна, лейтенант погнал машину вперед и остановился, лишь увидев с вершины очередного холма Город. А потом он различил внизу торчащий из кустов у речушки вкопанный по башню танк и заорал в микрофон, а его механик-водитель рванул машину с места назад от взметнувшегося перед носом фонтана асфальтовых крошек и щебня. Отскочив за гребень холма, «БМП» развернулась, и лейтенант увидел, как, ломая молодые сосенки, на шоссе вываливается пятнистая туша «Т-80-го».

Но первым сгорел не лейтенант. Первым получил в брюхо струю кумулятивного огня головной танк колонны, завертевшийся на одной гусенице, как зверь с перешибленной лапой. Но, умирая, он спас остальных: развернулся боком, перегородив дорогу, и закрыл колонну собой. Самоходки били снизу, из невысокой заросли в полукилометре, мимо которой проскочил беспечный лейтенант. А лейтенант пытался выбраться из перевернутой взрывом «БМП». Она загорелась быстро, башенный люк заклинило, и ноги лейтенанта

оказались внизу, в чадном мазутном жару. Лейтенант дергался, скреб ногтями асфальт. Когда пламя подобралось к коленям, тоненько, пронзительно завизжал.

С началом стрельбы Сергей погнал свое крыло вперед, а сотенный, растерявшись, велел своим стоять на месте, и черно-пятнистые застigli его врасплох. Уцелевших погнали к обрыву, и танки не могли стрелять, потому что трудно было разобрать, где легионеры, а где спецназ. И тут вышедший на связь командир машины охранения, шедшей в километре за колонной, сообщил, что приближающиеся танки начали его обстреливать. Отступать было некуда. Солдаты выпрыгивали из машин, прятались в кювете, кто-то карабкался по склону, бежал, пригнувшись, вдоль дороги. Дима приказал шедшим в хвосте танкам, трем «Т-60-м», прорываться назад. С обрыва на левой стороне шоссе стали стрелять. Тогда Дима приказал отступать всем.

На свои танки наткнулись сразу за поворотом. Они стояли рядком, метрах в двадцати друг от друга, и горели. Ни один не успел даже повернуть башню в ту сторону, откуда по ним стреляли. Увидев их, водители грузовиков повыскакивали из кабин и бросились в лес, а за ними – еще остававшиеся в кузовах солдаты. Тогда Дима приказал всем, кто его еще слышал, уходить в лес. И, вызвав базу, заорал, чтобы слали вертолеты.

Сгрудившиеся за подбитыми танками машины вспыхивали одна за другой. Дольше всех прожила «тридцатьчетверка». Продиравшиеся сквозь загроможденное пылающими обломками шоссе танки не заметили ее, и ветеран имперских войн успел заработать еще одну звездочку вдобавок к выписанному на броне счету побед минувшей войны. «Тридцатьчетверка» первым снарядом раздробила орудийную маску и заклинила башню своему пятнистому правнуку, а потом добила его в упор, раскрошила бронебойными болванками, как молотком. Сожгли ее только через полчаса, когда спецназовцы сбили наконец остатки легионеров с обрыва и подтащили гранатометы.

Благодаря «тридцатьчетверке» и тому, что Сергей с легионерами схлестнулся со спецназом лоб в лоб и даже потеснил его, удалось уйти далеко от шоссе. Отступали сперва организованно, а потом, когда Сергей привел остаток своих и идущих за ними по пятам спецназовцев, побежали. Во всю прыть, не обращая внимания на тех, кто рядом, отстреливаясь наугад – то ли во врагов, то ли в отставших. С Димой остались только Павел и Сергей. Те могли бежать гораздо быстрее, но держались рядом, помогали, указывали дорогу. «Эскадрерос» учили, как выжить во всякой боевой обстановке – в том числе и при бегстве.

Большинство убежавших не стало карабкаться вверх по склонам, и спецназовцы пошли за ними. А Сергей с Павлом выбирали самые неприятные и труднопроходимые места и мчались по ним, как зайцы сквозь подлесок, перемахивая через бурелом прыгая по канавам. Сергей не раз подхватывал спотыкавшегося Диму, ухватив за руку, втаскивал на склоны. Наконец остановились отдышаться в заросшей малинником ложбине. Дима, хватая ртом воздух, упал на колени, упершись ладонями в присыпанную иглицей землю. Сергей, опершись о дерево, медленно, шумно вдыхал-выдыхал – восстанавливал дыхание. Павел же прохаживался, разминая кисти, – свежий и спокойный, будто не скакал только что по буеракам, а вернулся с послеобеденной прогулки. Вслушивался, хмурясь. Но крики и стрельба остались далеко позади и слышались всё слабее.

– Ушли, – сказал Павел удовлетворенно. – Если с собаками не пойдут, то ушли. Яб закурил сейчас, честное слово... Командир, скажи мне: где обещанные вертолеты? Не знаешь. А я знаю. Старик и на этот раз нас подставил. Только теперь с нами было три сотни людей. Которых пятнистые сейчас добивают по лесу... Знаешь, со всем стариковским сбродом будет то же самое. Надо же, конфедерация. Нашли же слово.

– Заткнись, – оборвал его Сергей.

– А ты меня послушай, – посоветовал Павел. – Внимательно. На всю эту конфедерацию достаточно нашей роты. Или спецназовского батальона. Старик думал их на нас отвлечь и прорваться в Город, пока нас разделявают. Не думаю, что у него получится. А думаю я про наше с тобой, Сергей, будущее.

– Утра нужно... дождаться... – просипел Дима. – Вертолеты... же.

Павел, поглядев на него, ухмыльнулся:

– Помнишь, я как-то говорил тебе, что возвращаться нужно не с пустыми руками? Так вот, момент представился. И если мне соврал толстопузый, то в кобуре у нашего командира ствол, которым заваляли Понтаплева. Представь: мы были в плену. У мятежников. И вернулись с трофеями. Даже с говорящими. Или ты решил вернуться к старику? И вместе с ним, если не пристрелит за то, что просрали, подохнуть, когда спецназ с нашими разгонит его отребье к е...ене матери?

– Сука, – процедил сквозь зубы Сергей. – Сука!

– Потихе, потихе, – сказал Павел, – только, бога ради, не хватайся за ствол. Ты же знаешь – у меня это получается быстрее. Подумай, прошу тебя. Какое нам дело до их идиотских игр, до мятежей и революций? Не глупи.

Рука Сергея метнулась к кобуре.

Он успел вынуть свой пистолет и, уже падая, сбитый с ног тремя девятимиллиметровыми пулями, выстрелить в синевшее между сосен небо.

– Я этого не хотел, – прошептал Павел. – Честное слово, не хотел.

Он обернулся и увидел в трясущейся руке Димы, по-прежнему стоявшего на четвереньках, пистолет.

– Эй, командир. Ты это брось. Ты что, со мной в стрелялки играть надумал?

Пистолет удержать было трудно. После сумасшедшего бега по лесу сердце колотилось, билось о ребра, перед глазами плыли круги. Земля дрожала под коленями. С первой пули Дима промазал. Но вторая попала Павлу в бедро. Тот упал, извернулся, как кошка, выпростав стрелковую руку, выстрелил. Диму будто ударило в плечо огромным горячим молотом, отбросило на бок. Боли не было – только стало жарко в груди и плече. Сознания не потерял – но стало очень тяжело дышать и невозможно шевельнуться.

За сосной, лежа на спине и пытаясь заткнуть рану пальцами, матерился Павел. Драл в куски рубашку, скручивал жгут. Пуля прошла навылет, проделав в левом бедре две дыры на ладонь ниже паха. Входная была как след от шила, а в выходной уместались два пальца, и оттуда фонтаном била кровь – пуля проткнула артерию и раздробила кость. Просунув ствол пистолета под обвязанный вокруг бедра жгут, он повернул его раз, другой – затянул. Застонав, приподнялся, волоча покалеченную ногу, подполз к Сергею. Пощупал пульс. Пошарил по карманам, вынул удостоверение. Попробовал встать. Пистолет, которым был закручен узел, вдруг выскользнул, и скова фонтаном забила кровь. Раненый закричал, нашарил пистолет, снова вставил под жгут, принялся закручивать – и перетянул, жгут лопнул. Всхлипывая, Павел начал сдирать с Сергея ремень, вытянул, завязал, принялся затягивать всё тем же пистолетом. Намокший кожаный ремень тянулся. Павел скручивал, затягивал, пытался провернуть пистолет еще на раз – пока не выбился из сил. Кровь по-прежнему текла. Павел попытался приподняться, но уже не смог. Тогда он лег на спину, опершись затылком о мертвого Сергея, и заплакал. Потом, подняв пистолет, сунул его ствол себе в рот и нажал на спуск.

Когда Дима наконец сумел перевалиться на живот и, помогая здоровой рукой, встать на колени, то первым делом подобрал и сунул в кобуру пистолет с последним оставшимся патроном. Потом, вырывая с мясом пуговицы, содрал с плеча рубашку. Плечо посинело и раздулось, а из дырочки под ключицей сочилась темная кровь. Дима потрогал осторожно пальцами со спины и, нащупав мокрую ямку, выматерился. Морщась, содрал с себя рубашку, прижал коленом, разорвал пополам. Помогая зубами, обмотал обрывки вокруг плеча, затянул узел. Поднял валявшийся рядом сухой сук, опираясь на него, как на костыль, встал и побрел вниз по склону – к Городу.

Дима дошел до дороги и сел на обочине, опершись спиной о бетонный столб с указателем расстояния, слушая взрывы и стрельбу вдалеке. На закате подле него остановился черный джип с тонированными стеклами.

– Ну что, командир, живой? – спросила Рыся, наклоняясь над ним.
– Живой, – прошептал Дима, пытаясь улыбнуться. – Только вот рука и плечо всё... как свинцовые.
– Плечо? – Рыся тронула повязку пальцами и рассмеялась. – Ну, плечо – это ничего. До свадьбы заживет, как у нас говорят.
И поцеловала его – в лоб, а потом в губы.
– Да-да, – прошептал Дима. – Заживет. Только ты не уходи, не уходи.
– Я не уйду, – пообещала Рыся, и огромный парень с лошадиным лицом, легко подняв Диму на руки, отнес его в машину.

ПАТРОН ДВЕНАДЦАТЫЙ: ПОСЛЕДНИЙ И ПЕРВЫЙ

Это был Ступнев. В бронежилете и каске, с болтающейся на груди причудливой маской, с автоматом в руках, заляпанный с ног до головы бурой вонючей слизью.

– Не удрал, – сказал Ступнев. – И не придавило тебя. Я как заглянул в операционную – точно, думаю, уплыл вместе с говном. Потом сигнал словил. А это кто тут еще?

– Это... это Марат. Был, – прошептал я хрипло.

– Оно к лучшему, что был, – сказал Ступнев равнодушно. – Мы б его всё равно не вытянули, пришлось бы бросать. Наверх сейчас дороги нету, только вниз. Говно два этажа над нами залило. Пока еще стечет... Мы твоего Марата сюда принесли, вчера еще. Он тогда уже был не совсем. Укатали его «мойщики». Перестарались.

– Вы что, не могли врача ему найти?

– Врача? Здесь? Может, в Освенциме врача поискать прикажешь?... Ладно, не смотри на меня зверем. Твою мать, я же пришел, чтоб твою задницу отсюда вытащить! Потом, если хочешь, можешь мне морду набить и высказать всё, что думаешь. Честное слово, буду стоять по стойке «смирно» и слушать. А сейчас уходить нам надо. Передохну вот малость, и пойдем. Задрало меня, честное слово.

Ступнев сел на пол. Покопавшись в кармане, достал два продолговатых, запакованных в фольгу брикета.

– Есть хочешь? Вот, бери. Это вроде хлеба на сале, но плотное очень и сытное. Жрется на ура.

Содрал упаковку, откусил кусок, принялся жевать сосредоточенно. Я попробовал вскрыть свой – и едва не обломал ноготь.

– Давай, – буркнул Андрей и отобрал у меня брикет. Вцепившись зубами, мгновенно фольгу разодрал.

Концентрат был вязкий, как смола. И – необыкновенно вкусный, пахнувший жареным мясом. Я отрывал кусок за куском, торопливо прожевывал – и сам не заметил, как съел всё.

– Быстро ты, – ухмыльнулся Ступнев, добравшийся только до середины своего. – Значит, жить хочешь. Это хорошо. На, запей, – протянул мне флягу. – Только не всё, а то у меня одна всего.

– Тут еще есть, – признался я смущенно. – Вот. Я у трупа взял.

– Видел, – пробурчал он с набитым ртом, – в коридоре лежали. Непотрошенные, значит. Хорошо. А то у меня патронов – кот заплакал... Хотя постой, – он посмотрел на меня недоуменно и даже перестал жевать, – откуда тут жмуры? Тут же не стреляли? Это не ты их?... Не ты, конечно, глупость какая. Тогда... – Он вдруг выронил кусок изо рта и схватился за автомат.

– Не хватайся, – посоветовал я ему. – Если ты от него, так всё равно не успеешь. Я его видел, Собецкого твоего. Он приходил сюда. Я и не заметил как. Раз – и передо мной сидит на корточках. А потом как кошка, вроде чуть двинулся, и нет его.

– Что, и не тронул?

– Как видишь.

– Везет же... некоторым.

– Тут не в везении дело. Всё он понимает. И тех, кто убивает, от тех, кого убивают, отличает хорошо.

– Тогда помолись кому-нибудь, чтобы мы его не встретили. Потому что, если встретим, тебя выводить отсюда будет он. Если ты его, понимающего, уговоришь. А нет – сдохнешь здесь. В говне захлебнешься. Или пристрелят, что вероятнее всего.

– А что здесь вообще происходит?

– Тонем, – ответил Ступнев зло. – Одному большому дяде ударила в голову моча, и теперь мы тонем в ней все. В стране настоящая война. Танки на Город прут. В Городе стрельба, подвалы рвут. Половину президентского дворца развалили. Короче: хавайся в бульбу, немцы в Копыси.

– Как это? У нас? Кто это позволил? У нас же...

– У нас, у нас. Большой папа сверху дал идиоту власть, а тот за считанные дни страну на уши поставил. Армию разогнал, мать его. Это ж надо умудриться таким дебилом быть! Подстанции городские взрывать! Сейчас полгорода без воды и вообще без ничего. Больницы тоже. Это его образцовые подчиненные, дебила этого, нас говном залили. Взорвали магистральный коллектор.

– А танки?

– Танки? Армия пошла на Город. И бодяга всякая, с армией. Но это – х...й с ним. Есть кому разгонять. Да они и сами разбегутся, когда получают по шее. А вот что наших покромсали...

– Кого это – «наших»? – спросил я осторожно.

– Тех, кому придется всё это расхлебывать. И большого папу за сися брать. А, говорил я ей – быстрее, быстрее, всё же катится х...й знает куда.

– А где она сейчас?

– Не знаю. Но мы с ней свяжемся, как только выберемся наверх. У меня передатчик двадцатикилометровый.

Ступнев дожевывал, запил водой.

– Ладно. Кончаем бодягу, идти пора. Ты вообще ходибельный?

– Кажется. То есть голова только болит.

– Голова – это ничего. Тебе на ней нужны пока только уши – слушать, что я скажу, и очень внимательно. И делать – сразу же. Понял? Ну а сейчас держи. – Он вытащил из рюкзака маску, похожую на аквалангистскую, только с совершенно черным, непрозрачным стеклом. – Очки ночного видения. Без них тут сейчас – никуда... Они просто надеваются, давай помогу.

Он нахлобучил маску мне на голову, поправил, пристроил – и мир вокруг засветился оттенками зелени.

– Что, нравится? Погоди пока, вот, повесь на шею. Я скажу, когда надеть. Так, а сейчас поживимся.

Ступнев, закрыв глаза, поднялся на ноги, вышел в коридор. Я потрогал за чем-то Маратовы пальцы, уже холодные. Попробовал закрыть ему глаза, опустить веки. Но они были как резиновые.

– Чего ты с ним? – спросил Ступнев от двери.

– Я уже, уже, – пробормотал я.

– Если уже, так давай сюда. Хватит с трупом сюсюкать. Вот, одежда тебе. – Он показал мне бронежилет.

– Он большой мне, – сказал я неуверенно, просовывая руки, – и тяжеленный же.

– Ничего, яйца прикроешь. Вот тут затяни, о как. Тут магазины еще торчат – так пусть торчат. А гранаты я себе забрал, тебе ни к чему.

Я нагнулся за автоматом.

– Оставь. Ты как это себе представляешь? За моей спиной, в темноте, с твоими нервами и этим пугачом? Хватит с тебя моего. – Он щелкнул затвором. – Пошли. Я – впереди, ты за

мной в пяти шагах. Когда я сделаю вот так, – он поднял руку, – ты стоишь на месте как вкопанный. Когда махну – можешь идти. Если, не дай бог, шухер какой, падаешь на пол, забиваешься в любую подходящую дыру и лежишь очень тихо. Если нужно меня позвать, дави на кнопку, вот эту, на своем маячке. Голосом – только в самом крайнем случае. Понятно? Отлично. Пошли.

И мы пошли по залитым, искореженным коридорам. Местами они выглядели так, будто исполинский кулак лупил по стенам, крошил бетон, мял арматуру. Там и сям плавали куски пенопласта, обломки мебели, раздутые, толстые мешки. Натолкнувшись на один из них, я понял, что это труп. В тенисто-зеленом сквозь очки ночном мире всё казалось феерически прекрасным.

По лестницам вниз лилось сплошным потоком, и потому мы спустились на два этажа у разлома, по торчащим из обломанной стены кускам арматуры. Было совсем темно, и сквозь маску смешанная с экскрементами вода казалась яркой, как детская акварелька. Внизу мы оказались по грудь в ней и медленно побрели по искореженному коридору, загребая руками.

Там я его и заметил. Даже, скорее, не заметил – ощутил его присутствие, глухой всплеск, почти неразличимый в гуле срывающегося в трещину потока, быструю тень, тут же исчезнувшую за поворотом. Я прижался к стене, судорожно нащупал маячок.

– Ты чего? – спросил Ступнев, щелкая предохранителем.

– Он идет. За нами идет. Я его заметил.

– Кто он?

– Он. Собоцкий. Он следом за нами. Он, наверное, вслед за нами выбраться хочет.

– Ну-ну, – хмыкнул Ступнев. – Хорошо всё-таки, что я тебе автомат не дал.

– Я точно видел!

– Нам еще два этажа, – отмахнулся он. – А на последнем точно плыть в говне этом придется.

– Слушай, – сказал я Ступневу, – а почему бы нам просто не подняться наверх? Мы же спускались даже и без лестниц. Могли б и подняться так, а не ползти туда, куда вся канализация и стекает.

– Слушай меня, и очень внимательно, – вздохнул Ступнев устало. – Даже если сверху и стекло уже, в чем я лично сомневаюсь, шансов выжить у тебя там куда меньше, чем внизу. Если тебя увидят те, кто стрелял в меня, то ты труп вместе со мной. Если тебя увидят те, кто чистил эти коридоры вместе со мной, то я буду вынужден пристрелить тебя сам. В порядке аварийной ликвидации и шкурного самосохранения. Понятно?

– Нет, – ответил я.

– Неважно, – отрезал Ступнев. – А важно только то, что остаться в живых ты можешь, если только пойдешь за мной следом и будешь молчать, а заговоришь, когда я спрошу или когда будет очень, очень нужно заговорить. Ты хочешь жить?

– Да, – ответил я.

– Тогда заткнись и иди.

За очередным поворотом течение поволокло нас вперед, делаясь сильнее и сильнее, а потом мы наткнулись на темный коридор, уходящий почему-то наискось направо и вниз. Меня чуть не унесло по нему, я окунулся с головой, и Ступнев, как когда-то под Чимтаргой, схватил меня за шиворот и вытащил, а потом мы лежали оба на цементном полу, откашливались, и отплевывались, и полоскали рты последними остатками чистой воды.

Но затем начались сухие, почти нетронутые коридоры, там даже светились тускло плафоны над головой. Андрей подолгу замирал на месте, прислушиваясь. В одном месте мы наткнулись на россыпь гильз, а из полуоткрытой двери торчали босые грязные ноги. Ступнев, семена по полусогнутых, как диковинный шимпанзе, подобрался к ногам и глянул поверх них. Махнул мне рукой – всё нормально, можешь идти. Язаглянул: за дверью лежал, вытянув руки, человек, глядевший мертвыми выкаченными глазами прямо вверх, на тусклую лампу под потолком. Человек был в черном кителе, бронежилете и каске, но почему-то без брюк.

Мы спустились по очередной лестнице, на этот раз короткой и сухой, и увидели пустую будку из толстого стекла и рядом с ней – стальные шлюзовые двери на последний, наисекретнейший этаж. Двери эти были распахнуты настежь. Остановившись подле них, мы вдруг услышали голоса. А потом – автоматную очередь.

– Пришли, – прошептал побледневший Ступнев чуть слышно. – Пришли.

Старик ошибся – в Город первым выпало войти не ему. Первым прорвался к Городу безумный капитан. Его первую роту подстерег на автостраде спецназ и сжег половину машин, но, пока черно-пятнистые стреляли по пятящемуся, огрызающемуся капитанскому авангарду, еще две роты, проломившись на полном ходу сквозь молодой лес, зашли спецназу в тыл, расстреляли и вдавили в землю. У Заславля капитан наткнулся на остатки шеинского резерва, отправленные уничтожить недостроенное президентское «Вольфшанце» под Острошицким городком, но так никуда и не двинувшиеся из-за отсутствия связи и нехватки горючего. Их командир очередной раз пытался дозвониться хоть до какого-нибудь начальства, когда онемевший от ужаса ординарец подергал его за рукав и показал пальцем на север. Там, вздымая за собой черную пыльную стену, шли через поле заметившие добычу капитанские танки.

На закате они уже стояли на кольцевой, оседлав Великокняжеский проспект.

До самой кольцевой по главным силам конфедератов никто так и не выстрелил. Запоздавшие вертолеты застигли потрепанных боем на шоссе спецназовцев врасплох и висели над ними полчаса, расстреливая всё движущееся. Потом на смену вертолетам пришло звено штурмовиков, потом снова вертолеты, которые, не найдя уже целей, едва не принялись за конфедератскую колонну. Матвей Иванович повел ее в Город не самой прямой дорогой – он хотел показать своим людям лагерь. Охрану Шеин забрал – он считал каждого своего человека. А уходя, торопившаяся охрана вопреки приказу не стала расстреливать оставшихся: больных, увечных, ослабевших – тех, кого не смогли погрузить на машины. Большинство из них так и осталось лежать на асфальте плаца, умирая от жажды, рядом с уже умершими. Некоторые сумели выползти за ворота, в лес, к дороге. А в одном из них, почернелом, страшно исхудавшем, покрытом коркой запекшейся крови, ковылявшем, волоча за собой вывихнутую, распухшую ногу, солдаты охранения, первыми подошедшие к лагерю, узнали своего комполка.

Конфедератская колонна остановилась у лагеря. По приказу Матвея Ивановича отовсюду, куда только смог он дозвониться, на первых попавшихся машинах слали врачей и медикаменты, в больницах готовили палаты. Лазарет первой помощи развернули в леске за лагерем – в казармах стояла страшная гнилая вонь. Отовсюду: из подвалов, канав и отхожей ямы, из коридоров и камер – вытаскивали мертвые, обезображенные тела. Похоронили их на холме за лагерем. Оттуда был виден Город, и вдали горела в закатном солнце золотая звезда на обелиске Победы.

Конфедераты простояли у лагеря всю ночь. Когда утром на кольцевой люди в пятнистой черно-синей униформе обстреляли конфедератский патруль, их, бросившихся наутек при виде танков, догнали. Всех троих привязали проволокой за шею к стволам танковых пушек, а потом медленно стволы подняли. Старик не стал наказывать тех, кто это сделал.

То ли потому, что казнь видели не только конфедераты, то ли из-за того, что двух суток стрельбы и самоистребления с лихвой достало всем стрелявшим, а может, из-за танков мядельского капитана, уже стоящих в центре Города, напротив двусвечного барочного кафедрального собора, сопротивления конфедераты почти не встретили. Над Городом впервые за много лет повисла тишина. Не шумели машины, и не лязгали двери. Никто не стрелял. Кое-где по подворотням валялись сброшенные впопыхах пятнистые комбинезоны и автоматы. Стояли темно-зеленые «уазики» с дверьми нараспашку и включенными моторами. Но конфедераты всё равно продвигались очень медленно и осторожно. Матвей Иванович,

связавшись по рации с капитаном, приказал ему больше не двигаться, не рассредоточивать силы, а занять оборону напротив старого еврейского предместья и ждать.

В то, что нынешний хозяин Города, кем бы он ни был, решил без боя отдать его новоприбывшим, Матвей Иванович не верил. Потому отправил во все стороны разъезды – проверять и присматриваться. И ждать. Городская жара, несмотря на раннее утро, была невыносимой. Старик мучился – колени, бедра, позвоночник болели так, будто их скребли битым стеклом. Но делать укол он Ване запретил. Слишком долго он мечтал об этом дне, чтобы позволить дурману из ампулы отравить его радость. Он даже был благодарен боли, не дававшей расслабиться, потерять осторожность.

Самый главный, последний бой – а старик был уверен, бой окажется последним, по крайней мере, для него, – еще предстоял. Танки на городских улицах – готовые мишени. И в Варшаве тридцать девятого, и в Грозном девяносто шестого. Слишком легко и просто получается всё, а ведь еще два дня назад, да что там – день, стреляли во всех закоулках Города. А сейчас так тихо. Куда подевались все? И где прячутся те, кто эту кашу заварил?

Война не покинула Город. Наверху она замерла, пожрав самоё себя. Те, кто остался наверху, кто держал руки на пульсе Города, притихли и затаились, ожидая. Или торопливо стягивали с себя униформу, расползаясь, стараясь превратиться в обыкновенных перепуганных горожан. Последние защитники президентской резиденции, превращенной в исполинскую грудку кирпичной трухи и стекла, вдруг обнаружили, что враг исчез. Остались трупы, одетые в одинаковую черную униформу, с одинаковым оружием и снаряжением, – не разобрать, свои ли, чужие. Опустел похожий на грудку кубиков Дом Правительства, откуда уже сколько лет ничем по-настоящему не управляли, опустел зияющий выбитыми стеклами Центробанк. Мальчишки из предместья, пугливо озираясь, пробрались в Лошицкий парк и увидели рядом с грудой углей, оставшихся от усадьбы, черную закопченную глыбу взорванного танка.

Война ушла вниз, в ночь, как недолеченная болезнь. Ее свинец и мясо стекли под городскую шкуру, в полузатопленные темные тоннели, в подвалы, кабельные тоннели, канализационные шахты. Там ее ярость осталась прежней, и городская река вместе с мазутом и помоями выносила из-под земли кровь.

Шеин вместе со своими людьми ушел под землю, оставив «эскадрерос» свой кабинет и початую бутылку коньяка в личном генеральском сейфе. Двое суток спустя он еще пробирался глубоко под землей – в самых дальних аппендиксах городских кишок, на последних ярусах. С ним оставалось всего четверо. Остальные растерялись по бесконечным коридорам: заблудились, отстали, погибли в скоротечных стычках. Уйти по тоннелям оказалось непросто. Многие из них обрушились, многие забило обломками, мусором и содержимым канализации. Река залила метро, залила бомбоубежища и аварийные бункеры, стыковавшиеся с ним. Заползла в подвалы, запрудила канализацию, и в подвалах домов по низинам между городскими холмами стояла гнилая мертвая вода. Шеин петлял, сворачивал, уткнувшись в провал или в грязное озерко, возвращался. Поначалу самые важные заложники шли вместе с ним. В темноте за ними трудно было уследить, и после очередной стычки, когда непонятно кто принялся стрелять из-за угла, а шеинские «коммандос» стали палить в ответ, в сумятице несколько заложников сумели убежать. Тогда остальных, поставив на колени у люка, под которым шумела несущаяся вода, убили выстрелами в затылок и сбросили вниз.

В конце концов генералу удалось пробиться к магистральному каналу. Идти по нему было опасно из-за глубины и скользкого дна и из-за того, что тоннель доверху забило содержимое канализации. Через завалы приходилось пробиваться, как сквозь сугроб. Но тоннель уводил за кольцевую – к спасению. Туда, где еще ждут верные войска. Туда, откуда можно будет связаться с группами, еще ожидающими приказа, – ведь его люди всё еще держат и телевидение, и Дом Правительства, и Офицерское собрание. Наверняка. Он же приказал им укрепиться и ждать приказа. Еще не всё потеряно. Главное – пробиться, пройти

сквозь вязкую гнусь, не упасть. Выжить.

По каналу они добрались до места, где стену взорвали прорывавшиеся к подвалам республиканского Управления штурмовые группы. Обломки загромождали русло, и поток нечистот пробил новое – сквозь подземелья. Генерал пошел вслед за ним.

Я первым заметил, что обзорные мониторы в будке охранника еще работают. Мы подошли как раз со стороны будки, и, когда, услышав очередь, прижались к стене, я заметил отблеск на стекле. Приподнялся на цыпочках, показал Андрею пальцем – смотри, мол. Еще шаг, и сквозь распахнутую дверь мы увидели мониторы, два сверху и два снизу. На нижнем правом – мы со Ступневым, перемазанные, замершие в нелепых позах, словно манекены. А на обоих верхних – они. Их было пятеро. Двое ковырялись у двери, за которой пряталось ударное комсомольское метро, двое настороженно озирались по сторонам, держа автоматы на изготовку. Пятый, толстый, в бронежилете похожий на одичавшего Винни-Пуха, сидел, привалившись к стене.

– Так, – прошептал Ступнев, отцепляя с бронежилета гранаты. – Их только здесь не хватало. В общем, слушай: сейчас я им заброшу сюрпризы, а после закачусь сам. Ты, как только я заскочу, хватайся за дверь и закрывай. Ее только отсюда и можно открыть. Смотри на мониторы. Если я... – он облизнул губы, – если у меня всё получится, откроешь дверь. Если нет – беги. Бог даст, повезет. Ну, пошли.

Он выдернул кольца из обеих гранат и, одну за другой, швырнул в дверной проем. Грохнуло почти разом, на удивление негромко. Ступнев прыгнул вслед за гранатами, глухо рыча. Его автомат-недомерок затыкал, как комнатная псина, тоненько, резко. Я, вцепившись в край двери, изо всех сил потянул на себя. Но она закрываться не хотела. То ли была слишком тяжелая, то ли ее застопорили. Я застыл, цепенея от ужаса. Из-за двери вразнобой ударили очередями, одна, другая, еще одна, длинная. Я бросил дверь, забился в будку, боясь поднять голову. Наконец отважился и глянул на мониторы. Они все лежали, все шестеро. И никто из них уже не держал автомата в руках.

Не знаю, сколько времени я просидел, глядя на мониторы, – пять минут или час. Наконец заставил себя подняться. На негнувшихся ногах шагнул в дверь, ежесекундно ожидая, что мне в живот, в грудь воткнется раскаленный комок металла.

Но никто не выстрелил. Они лежали все вместе – будто гранаты, вместо того чтобы расшвырять, наоборот, собрали их в аккуратную кучку. Четверо – разлохмаченные, грязные груды черных тряпок, пропитанных кровью. Только пятый, который сидел, привалившись к стене, так и остался сидеть. На нем одном была не черная униформа, а армейская, зелено-коричневая – заляпанная, изодранная, но узнаваемая. Несмотря на грязь и искажившую лицо судорогу боли, я узнал Шеина. Лицо его было хорошо известно многим – и по газетным фотографиям, и из телерекламы. Он снимался в ролике об отечественном спецназе – звал молодежь в армию. Генерал сидел, опершись спиной о стену. Мне показалось, он еще дышит. Я подобрал лежащий рядом с ним автомат, ткнул Шеина стволом в плечо. Тот глухо застонал. Я отскочил, выронив оружие, громко лязгнувшее о бетон. И услышал голос Ступнева:

– Дима?

Он лежал у самой стены, сразу за дверью. Словно решил отдохнуть в уголке, опершись затылком о стену.

– Что ж ты, с дверью-то? – спросил Андрей хрипло.

– Я не знаю... она... она как вкопанная.

– Задохлик. Помоги встать.

Я нагнулся над ним, взял под мышки. Он ухватился обеими руками за ноги и, удивленно охнув, осел:

– Мать твою, ну... Ноги совсем... как чужие.

– Ты ранен? – испугался я. – Куда?

– Ноги, – повторил он. – Ноги не слушаются совсем. Посмотри. Аптечка в рюкзаке.

– Сейчас. – Я достал из ножен на его боку широкий короткий нож, взрезал обе брючины, но ран не нашел.

– Что там? – спросил он.

И тут генерал застонал снова. Я, успевший забыть о нем, вздрогнул от неожиданности.

– Кто это?

– Это Шеин, – сказал я. – Он живой. Он раненый только. Что с ним делать?

Ступнев хрипло, брызгая слюной, захохотал.

– Надо же, а? А я уже жалел, что ему сразу повезло подохнуть. Вот так мечта сбывается... мечта идиота! Тьфу! – Он утерся грязным рукавом. – Если б ты знал, сколько раз за последние двое суток мы его поминали. Это он, падло, всю эту кашу и заварил. Придурок. Пристрели его. Кинь в говно. Удуши подушкой. Да что хочешь, то и делай. А лучше я сам пристрелю его. Вечер встречи, твою мать.

Андрей потащил из кобуры пистолет.

– Стой! – Я схватил его за руку. – Не смей.

– У тебя чего, совсем крыша поехала? Для суда в Гааге его оставить решил? – прошипел он зло, но пистолет опустил. – Ладно, пулю, в самом деле, на такую падлу тратить... Так что с моими ногами, сестра милосердия?

– Не знаю, вроде до паха дырок нет, – ответил я. – Сейчас вот бронежилет расстегну... так, ну тут и липучка, не отдерешь... вот так.

Под бронежилетом и комбинезоном живот был сплошным синяком, черно-багровым, с кровоподтеками. Но, присмотревшись, я увидел, что кровоподтеки были от пулевых отверстий – я насчитал три их, наискосок слева направо через живот. Я перевернул Ступнева на бок.

– Тише, – прошипел он.

Выходных отверстий на спине не было.

– Всё нормально, – сказал я. – Я сейчас попробую забинтовать.

– Что, живот? – спросил Ступнев. – Сколько дырок?

– Одна, – солгал я.

– Говенный бронежилет. В позвоночнике, наверное, засело... перегнуться не могу. Мать твою. Течет сильно?

– Нет, не очень, – снова солгал я.

В аптечке нашлись пластырь и бинт. Я приклеил к ранам пластырем куски ваты, туго прибинтовал. Спросил, нужно ли обезболивающее. Андрей ответил, что пока еще нет. Тогда я подошел к генералу. Когда я уложил его на пол, тот застонал снова. Я осторожно развел его сцепленные на животе руки. Осколком гранаты Шеину рассекло брюшину, и руками он придерживал вываливающийся ком кишок.

– Ого! – присвистнул Ступнев. – Сладко товарищ подышает. Ну-ка отойди!

– Не нужно пистолетом. Я тут обезболивающее нашел у тебя в аптечке. Сколько его нужно?

– Не хватит.

– Но ведь он отключится?

– Да он и так без сознания.

– Всё-таки сколько ему ампул надо?

– Твою мать! – рявкнул Ступнев и нажал на курок.

Голова Шеина брызнула красно-серым – мне на руки, на лицо.

– Ты, – выговорил я, заикаясь, – ты...

– Я, я. Ты, Флоренс Найтингейл, не думаешь, что этот морфий мне самому скоро понадобится? У, твою мать, как подумаю, какого дебила вытаскивать решил... – Ступнев скривился. – Ладно. Ладно. Подтащи меня к той двери. Только аккуратно, пожалуйста, аккуратно.

Я взял его под мышки и, пятясь задом, поволок. Ступнев заскрипел зубами.

– Как, нормально? – спросил я участливо.

– Мать твою, – прошипел Ступнев. – Сколько тех ампул у меня?
– Восемь. Не, девять.
– Хорошо. Хорошо... Как они, замок не раздолбили?
– Нет вроде, – ответил я, разглядывая стальную дверь. – Вмятины только. Стреляли, наверное.

– Там пластинка, видишь? Черная, в стене, примерно на середине высоты двери. Нашел? Теперь приложи мой палец, указательный, вот...

Я приподнял Андрея, прислонив спиной к стене. Тот снова заскрипел зубами. Я приложил его палец к пластине. Дверь отъехала в сторону.

– Что, здесь наш поезд в счастье?

– Здесь, – заверил я.

– Всё, можно выпить... по поводу, – прошептал он и закрыл глаза.

Я заволок его в вагончик, уложил на пол между сиденьями. И тут вдруг услышал, как снаружи что-то глухо, тяжело чавкнуло. Будто вставили промасленный поршень в исполинский насос.

– Это дверь. Наружная, – прохрипел Ступнев. – Рычаг, скорее, вон тот, красный.

Я кинулся к рычагу и, будто ткнувшись в невидимую стену, замер. Потом попятился назад.

В дверях сидел на корточках, глядя на меня из-под заросшего щетиной лба, свиночеловек Собецкий – босой, с комыями грязи, прилипшей к щетине на голой груди, но в черных спецназовских штанах и с автоматом в руках.

– Хрн, – сказал Собецкий, улыбаясь.

Старик ожидал, что тишина Города окажется недолгой. Он приказал прочесывать дворы и проверять подвалы, оставлять засады на каждом перекрестке, двигаться очень, очень осторожно, а танки вообще оставил почти все у кольцевой. Капитан же завел свои в самый центр, а на прикрытие взял всего две неполные пехотные роты. К тому же его солдаты, большей частью недоросли-срочники, не имели никакого опыта городских боев.

Черно-пятнистые будто с неба свалились. Минуту назад было тихо, и вдруг за углами, за киосками на обочине замелькали тени, и, взвизгнув, срикошетила от лобовой брони очередь. А потом ухнуло, выметнуло огнем, и из танка, придавившего гусеницами газон у моста через Немигу, повалил черный, жирный дым.

Черно-пятнистые за полчаса сожгли шесть капитанских танков и выбили половину солдат. Остальных оттеснили к мосту через реку, к парку у водохранилища, на обширный пустырь у реки. Капитан, раненный осколками в голову и плечо, кричал, приказывая держаться до последнего. Оба танка его арьергарда, капитанских команд не слушая, дали задний ход, развернулись и полным ходом понеслись по прямому, как стрела, Великокняжескому проспекту прочь из Города. Их сожгли на развязке за выставочным центром...

После этого капитанские солдаты гуськом потянулись к обрывчику у реки. По ним не стреляли, и они, бросая на бегу автоматы, помчались в густые прибрежные кусты. Еще через полчаса над оставшимися танками поднялся белый флаг. Когда осмотнительно выждавшие черно-пятнистые подошли, ни под броней, ни за ней уже никого не было. Только маленький капитан, зажав в окоченевшей руке пистолет, лежал на истоптанной траве, глядя в чистое, без единого облачка небо.

Старик сам не пошел в Город. Он остался за кольцевой, на холме – наблюдать и выжидать. И когда командир одной из засад сдавленным от страха голосом сообщил, что прямо перед ним вылезают из подвала люди в униформе и с оружием, а он, командир, не знает, что делать, – старик ответил коротко: «Стрелять!»

Вскоре на холм к старику пригнали первых пленных и трофеев – новенький «Форд-Пахеро» с бронированными стеклами. Черно-пятнистых гнали повсюду – они явно не рассчитывали, что люди старика окажутся чуть ли не в каждом дворе. Но старик приказал не

увлекаться, вернул группы, уже добравшиеся почти до Академии, и вызвал вертолеты.

Вертолетов он так и не дождался. Ни Бобруйск, ни Брест старику не ответили. В тот день в чистое, безоблачное над всей страной небо поднимались только птицы. А в два часа пополудни черно-пятнистые сбили заслоны конфедератов с Московского шоссе и открыли дорогу в аэропорт.

Собецкий больше не казался нелепой, извращенной помесью человека и зверя. Просто человек – большой, измученный и усталый. Он сидел, упершись грязными пятками в пол, придерживая рукой автомат, и улыбался нам.

Мне показалось, что Ступнев потянулся к кобуре.

– Нет, – прошептал я, – не нужно, нет.

– Хрр-ы, – из глотки Собецкого вырвалось хрипкое клокотание, и он показал щетинистым пальцем на автомат. После, едва заметно двинувшись, вдруг оказался на ближайшем к двери сиденье.

– Ты, существо, – прохрипел Ступнев, – чего тебе?

Собецкий, улыбаясь, показал пальцем наверх.

– А-а, – сказал Ступнев. – Зря я тебе не поверил. Выследил же. Как детей малых. Хотя какая теперь разница... Вон ту вон дверцу открой, около двери. Открыл? Хорошо. Семь-три-один-один-пять. Не торопись. На индикаторе цифры горят?

Собецкий шевельнулся.

– Ты, как там тебя по батюшке, не спеши со мной. Там еще дверь, на выходе, – предупредил его Ступнев.

Собецкий не отреагировал никак.

– Я набрал, – сообщил я.

– Теперь вколи мне одну. Под ключицу. Скорее.

Я подошел к Андрею, выудил из его кармана пластиковый пузырек с иглой. Воткнул, нажал.

– Хорошо-то как, – прошептал тот, закрыв глаза. – Мать твою, хорошо. Иди, иди к дверям. Нажми еще единицу, а потом на рычаг.

На этот раз мы ехали совсем недолго. Мне показалось, что вагончик не успел и разогнаться, меня только швырнуло вперед и почему-то вниз, я плюхнулся сидалищем на пол, и вроде тут же, пары минут не прошло, меня снова вдавило в сиденье. Шаркнув резиной, открылась дверь.

Я нагнулся над Ступневым, хотел приподнять, но тут Собецкий оказался рядом и коснулся меня рукой, чуть толкнул, будто отстраняя. Я отошел. Собецкий нагнулся над Андреем, ловко расстегнул бронежилет, стянул его, вытащил из кобуры пистолет, отпихнул ногой. Ощупал всего, чуть касаясь пальцами. А потом взял на руки, осторожно, как младенца.

– Спасибо, – прошептал Ступнев.

За вагонной дверью оказалась небольшая круглая комната с двумя дверьми.

– К левой, – велел Андрей. – Правая – это лифт. Он не работает. Поднеси ближе, я руку приложу. Палец, там код на мои отпечатки. Вот.

Скрежетнув, дверь отъехала в сторону.

– Всё, друзья хорошие, – я вам больше не нужен. Можете здесь оставить. И черепашку отвернуть для простоты. Там лестница, тащить долго. Придет час, какой-то там судия воссядет, и воздастся каждому. Так вроде. Зачем вам злого дядю наверх тащить, я...

Он закашлялся. Собецкий буркнул что-то почти неслышное и шагнул за дверь, не выпуская Ступнева из рук.

Лестница показалась мне бесконечно длинной. Поворот, и через семь ступенек поворот снова, всё время направо и вверх по узкой, как печная труба, шахте. Я сидел на ступеньках, уткнувшись лбом во влажные железные прутья, и слушал, как колотится сердце. Потом

снова вставал и шел, считая ступеньки. Сверху падал свет, зыбкий, желтый, и я полз к нему, как ночной мотыль.

Лестница закончилась широким прямоугольным люком. Я пролез в него и оказался в маленькой, с множеством труб и вентилях комнатке с дверьми из гофрированной жести. За дверью было просторное, круглое, облицованное мрамором помещение. Настенные панно не светились, и я не сразу узнал мемориальный зал под обелиском Победы.

– Ступнев! – позвал я, оглядываясь по сторонам. – Андрей!

Мне показалось, что сверху, вторя мне, донесся слабый отклик. Я вскарабкался по ступенькам и оказался посреди Города на ярком, злом солнце. Рядок чахлах елок, выжженные газоны, черный гранит и огонь, зыбкое пламя над бронзовой пентаграммой. Война трясла и ломала Город, обрывала его жилы и травила его мутную, медленную кровь, взрывала трубопроводы и кабеля, а огонь в главном ее святилище продолжал гореть.

Ступнев лежал рядом с ним на голом, согретом солнцем камне. Услышал мои шаги, открыл глаза.

– Долго ты, – сказал хрипло. – Я уже думал, подохну без тебя.

– Ты как? – спросил я. – Тебе врача?

– Я вызвал... вызвал уже. – Он показал мне передатчик, маленькую черную коробочку с экранчиком и штырьком антенны. – Скоро твоя старая знакомая явится. А ты пока мне уколи. Уколи.

Я вытащил ампулу и сделал ему укол.

– Спасибо, – прошептал он.

– Тебе спасибо, опять меня вытащил. Как тогда, под Чимтаргой. С меня магарыч.

– Не за что. – Андрей хотел улыбнуться, но лицо его перекосила гримаса боли. – Будем считать, мы квиты. Вообще, не спеши. Может, еще пожалеешь.

– Не пожалею. А где Собецкий? Прячется где-нибудь поблизости?

– Не знаю. Вряд ли. У него наверняка свои дела... да, много дел. И счетов... – Ступнев вдруг зашипел: – Б...я, как пошло. Сколько их там осталось?

– Три. Три осталось.

– Хватит. Вколи мне вторую, ну. Скорее!

Я трясущимися пальцами вытащил ампулу, воткнул иглу, надавил на пузырек.

– О-о, так, так, – быстро зашептал он. – Теперь придвинь меня поближе, к огню придвинь, мать твою, солнце, а холодно так, так холодно.

Солнце пекло так, что невозможно было усидеть. Я потрогал рукой камень подле Ступнева и только тогда заметил, что он подплавлялся кровью. Она сочилась из-под взмокших пластырей, капала с набрякшего кителя, стекала по ногам. Тогда я вытянул еще одну ампулу, предпоследнюю, и воткнул ему под ключицу.

Где-то вдалеке стреляли. Доносился сухой стрекот автоматных очередей, разрывы, гулкое уханье гранатометов, что-то каменное, увесистое рушилось с грохотом на асфальт. Но на площади было спокойно. Ни машины, ни человека. На деревьях вокруг неподвижно висела закоптелая листва.

Оттуда, где сидел я, было видно летнее кафе. Когда-то, в человеческом, домашнем времени неделю назад, а во времени настоящем – месяцы и годы назад, мы с Димой пили пиво там, рассуждая о войне. И я подумал: в сущности, никак иначе и не могло быть. Я должен был прийти именно сюда. Всё началось здесь. И жив я до сих пор лишь потому, что должен был появиться здесь. Всё, терзавшее страну в последние дни, не произошло бы, если бы только человек, сидевший рядом с нами и так и не допивший свое пиво, выстрелил в хозяина машины, а не в его робкую тень. Если бы он знал.

Из паркового проезда вынырнула серая невзрачная легковушка, забрызганная грязью до стекол. Затормозила у обелиска.

Я снова не узнал ее. Сосульками свалывшиеся волосы, измазанное сажей лицо. На этот раз на ней были засаленная темно-зеленая майка и брезентовые, мешковатые штаны.

– Как он? – спросила Рыся. – Он живой?

– Живой. Только надолго ли, не знаю. У него три пули в животе. И в позвоночнике.

Я подумал, что она сейчас заплачет. Но она не заплакала, а сказала мне зло:

– Помоги, дотащим.

И мы вдвоем стащили Ступнева с гранита, уложили на заднее сиденье крохотного старенького «пежо».

– А ты в порядке? – спросила она, тяжело дыша.

– Да, – ответил я.

– Надо же. Смешно как – ты. Он, – она кивнула на Ступнева, – он стоил десятка лучших моих людей, а теперь... И мой Денис остался за кольцевой, в сгоревшем джипе, чтобы я смогла попасть сюда и найти здесь...

– Тебе не годится то, что ты нашла? – спросил я.

– Извини. Я очень устала. Он – солдат, он на самом деле... Он...

Тут я заметил, что по ее щеке катится слеза.

– Я... неважно. – Она вытерла щеку ладонью, оставив длинный грязный след. – Ты умеешь водить машину?

– Нет.

– Жаль, – сказала она и вынула из кармана потертый пистолет. – Значит, Андрей умрет.

– Он не умрет, – возразил я. – Ты его отвезешь к врачу, и он не умрет. А это, – я показал на пистолет, – отдай мне. Это водить я умею.

– Правда?

– Что с ним? – спросил я. – Что с моим другом? Это же тот самый пистолет, да? Что с Димой?

– С ним всё хорошо. Он нездоров, но жив. И, надеюсь, будет жить долго и счастливо. Чего желаю и тебе. Ты на самом деле умеешь из него стрелять?

– Да. Вези Андрея к врачу. Он потерял много крови. Он тащил меня по всем катакомбам, а потом... потом мы встретили Шеина с командой.

– Вы встретили Шеина? Правда? Где он сейчас?

– Он там, внизу.

– Жаль, что меня не было там. В том, что сейчас творится, он виноват. Из-за него нас переиграли опять. Его хозяин стравил нас всех и теперь душит выживших. Слышишь стрельбу? Они уже добивают. Нация спасена. Террористы разгромлены. Он же всех теперь расплющит, всех, кого не мог расплющить до сих пор. И никто теперь не скажет ему и слова! Он...

– Я понимаю, – перебил я ее. – Дай мне пистолет.

– Извини. – Она протянула мне пистолет. – Здесь полная обойма. Та самая. И еще вот. – Она вынула из кармана телефон. – Это коротковолновик. Когда будет время, я дам тебе знать. Где-то через час. Поедут они, как и тогда. Вывернут оттуда. – Она показала на выезд с улицы Захарова. – Он выезжает из Города. У автовокзала его будет ждать эскорт, но здесь будут только джип охраны и его серый «мерседес». Впереди поедет джип, но он проскочит поворот быстро. Он не остановится, даже если тебя заметят. «Мерседес» будет поворачивать медленно, он же тяжелый, бронированный и длинный. Там, на углу, у тебя будут твои пять секунд. Ты не передумал?

– Нет.

– Ну, тогда от тебя сейчас зависит будущее этого Города и этой страны.

– Скажи мне, – вдруг попросил я, – почему тебя зовут хозяйкой лета?

Рыся посмотрела на меня, сощурившись. Пожала плечами.

– Ты серьезно? Хозяйкой лета? Меня? Боже праведный... Хозяин нашего лета сейчас – вот он. – Она показала на пистолет в моей руке. – И ты, если справишься с ним, конечно. Ты уверен, что справишься?

– Я не уверен, – ответил я. – Но я постараюсь. Очень.

– Удачи, – улыбнулась она и поцеловала меня – в лоб и в губы.

Когда Рыся захлопнула за собой дверцу и «пежо», сорвавшись с места, исчез за углом, я ушел от Вечного огня. Напротив, через проезд, был магазин одежды «Том Талер». Сквозь разбитую витрину я зашел туда, чтобы подыскать себе одежду. Я выбрал майку, джинсы и туфли из черной кожи. Джинсы были велики мне. Пояса я не нашел и затащил их обрывком шнура. Поверх майки надел короткую кожаную куртку, в карман ее положил пистолет. Покинув магазин, перешел проспект, к кафе, где когда-то сидели мы с Димой, рассуждая о войне. Пластмассовые столы и стулья по-прежнему стояли снаружи. С того утра их никто не убирал. На них лежал толстый стол пыли и копоти.

Сквозь распахнутую дверь я зашел внутрь. Было прохладно. Свет тек сквозь цветные стекла, падал на ряды разноцветных пыльных бутылок. Холодильник оказался сверху донизу заставлен банками и бутылками. Холодильник не работал, но банки на ощупь казались прохладными. Я выбрал две. Вынул из-за стойки фирменный пластиковый бокал с надписью «Балтика», большой пакет чипсов. Откупорил банку, вылил в бокал. Разорвал пакет и принялся поедать чипсы – запихивая в рот полные горсти, жадно жуя, запивая пивом. Расправился с первым пакетом, открыл второй. Приглушив голод, ел уже спокойнее, не торопясь. Телефон в моем кармане запищал. Я коротко ответил и, держа в руке бокал с пивом, вышел на улицу.

Я присел за столик, поставив бокал перед собой. Я почему-то совсем не боялся, хотя последние мои дни меня вели, как слепого, и подтолкнули напоследок. Если бы мне предложили выбирать по-настоящему, я всё равно выбрал бы то, что выбрал сейчас. Всё прошлое показалось мне всего лишь репетицией, обретшей смысл лишь потому, что я оказался сейчас и здесь. Ведь всё это уже было, прошло и застыло в вечности. Среди дней, среди страниц своей памяти я видел себя и Диму, ожесточенно спорящих за соседним столиком, видел разноголосую толпу на проспекте, неоновую рекламу напротив, как призрак, всплывший в явь. Мне осталось только шагнуть в него.

Теплое пиво отдавало металлом. Я отхлебнул еще глоток, отодвинул бокал. Сунул правую руку в карман.

Вынырнув из-за угла, показался черно-никелевый джип. За ним, осторожно, медленно – серый длинный «мерседес». Я вынул пистолет из кармана куртки и шагнул на асфальт, навстречу ему.

ПОСТСКРИПТУМ: ВЫБОР

Они говорят: железо пахнет, нагревшись. Чем-то таким горьковатым, едким. Отчетливым. Будто бы даже свою машину можно узнать по этому запаху. Но это ложь. Само по себе железо не пахнет. Но если железо долго находится рядом с людьми, оно заражается человеческим. Пот, человеческое тепло, одежда, пальцы, привыкшие находить один и тот же изгиб рукояти. Кровь, наконец. Возможно даже, у железа есть память. Вылепленная человеческими руками, спутник жизни – или смерти. Должно что-то обтереться, остаться. Так просто это не выжечь бензином. Не отбить запах. Он остается в царапинах, заусеницах, трещинках. В памяти железа. Ее можно почувствовать – на ощупь. Посмотри, как пляшет над броней разогретый воздух – контуры переливающихся, зыбких букв. Смотри, читай. Вспоминай.

Жарко сейчас. Раньше казалось: жара и пыль – это обязательно юг. Только там их столько и сразу. Конечно, еще и зелень всякая, фрукты. И море. Обязательно с песчаным пляжем – из мелкого, плотно утрамбованного прибоем песка, на котором босые ноги едва оставляют след.

Здесь тоже много песка. Мелкого, легкого. Я думал – здесь лес. А тут – выжженная сухая трава. И пыль. Наверное, она пришла с нами. Она всегда приходит с войной. Я читал. Я любил читать книжки про войну. Танки в степи. Чад, ревут моторы. И пыль – столбы до

небес. Но сам как-то... не то чтобы не верилось – не было ощущения пыли. Пыль здесь – такая же часть мира, как солнце или случайное облако. Или здешние заросшие, покатые холмы. Я научился чувствовать ее вкус. Здесь каждое наше действие – пыль. Мы выбрасываем ее в мир, мир возвращает ее нам – в волосы, одежду, разогретый на консервной банке с сухим спиртом чай. Под ногти, в морщинки у глаз. Пыль стирает различия наших кокард и нашивок. Когда идет дождь, вся выброшенная нами пыль за пять минут становится непролазной, топкой, липучей грязью, черно-коричневым тестом, поедающим наши следы. Сама пыль хранит следы ненамного лучше. Она текуча так же, как ее сестра грязь. Правда, пыли нужен ветер. Или человек, чтобы привести ее в движение. Забавно даже. Я раньше не думал, что мир специально дожидается меня, чтобы прийти в движение. Без меня – замирает. И время почти не течет.

Четверть часа еще осталось. Сейчас я сниму часы и спрячу. Так вот. Запихаю поглубже в карман, застегну. Ткань толстая, дерюга. И почти не буду чувствовать, что они там есть. Последние минуты до окончания вахты всегда тянутся невыносимо долго, и, поскольку делать нечего, хочется всё время смотреть на индикатор и считать секунды. Лучше уж на степь. Сизое марево на горизонте, пологие холмы, кое-где кучки деревьев. Всё – запорошенное пылью. И у самого горизонта облака. Высокие, чистые. Прохладные.

– Смотри, старлей.

– Чего тебе, Чупров?

– Посмотри на водилу на нашего. Видишь? Я за ним давно смотрю. Он лобовую броню всё время рукой гладит – осторожно так. Поведет разок, отымет. На прежнее место – и опять ведет. Как девуку. Может, у него и торчит от этого?

– Заткнись, Чупров. От тебя тошнит.

– Старлей, он же и нюхает. Честное слово.

– Чупров, там ничего не осталось. Ничего. Это напалм. Там не осталось ни-че-го. Ты понял?

– Конечно, не дурак, но...

– Ты понял, Чупров?!

– Да-да, конечно, товарищ старший лейтенант, понял, понял. Моя вахта сейчас, я пойду водилу сменю.

Чупров, невысокий и коренастый, с округлой стриженной головой, похожей на облепленный опилками, пыльный елочный шар, встал, сунул зачем-то руки в карманы и побрел, шаркая подошвами. Старший лейтенант проводил его взглядом. Старшему лейтенанту Чупров представлялся не человеком, а сосредоточием вони. Бывает так, что трудно отделаться от запаха. И непонятно, что пахнет – то ли одежда, то ли набрякающие подмышки, то ли истекающий едким потом пах, и мучит не столько запах, сколько память о нем. Можно мыться до изнеможения, изодрать себя мылом, а запах не исчезнет, он словно бы в тебе и, одновременно, около тебя. Всё время тебя сопровождает, от него не отцепиться и не отделаться. Старший лейтенант готов был поспорить на что угодно, что вот сейчас Чупров, спрятавшись за танк, покрутит пальцем у грязного, заляпанного сажей лба. И ухмыльнется.

Чупров, зайдя за танк, покрутил пальцем у грязного лба, заляпанного смешанной с потом и сажей пылью, и ухмыльнулся. Достал из кармана мятую сигаретку и зажигалку, закурил. Подошел к механику-водителю, тощему, щуплому юнцу с белесыми, как цыплячьи перья, слипшимися от пота волосами.

– Всё, Серега. Можешь часы доставать. Кончились твои страсти. Ты еще дыру в броне не протер?

Механик-водитель посмотрел на него исподлобья:

– Чупров, не шел бы...

– Хорошо, хорошо, сейчас сяду на него и ноги свешу... Да не злился ты, я ж пошутил. Переживаешь еще?

Механик-водитель встал и молча пошел прочь. Чупров сказал вдогонку:

– Куда ты? Покурил бы, помогает.

Водитель не отозвался. Чупров поправил мешок с песком, устраиваясь удобнее. Достал из кармана мешковатых маскировочных штанов мятую брезентовую шляпу, нахлобучил на макушку, затянулся глубоко. Впереди, насколько глазу было видно, катилась степь. Выгоревшая трава, там и сям кучки лохматых деревьев, точно волосья на сраме. Дело нетрудное. Сиди смотри. Вряд ли сюда кто явится. А если и явится... Чупров повернулся и похлопал по броне. Ф-фу, черт, горячая. Вкопали танк, конечно, не ахти как, но мешками с песком обложили добротно.

Странно, конечно, что бойцов нету. Обычно на форпостах должны быть. Хотя тут и не поймешь – вроде форпост, а вроде хрен знает что. Ни шоссе рядом, ни села, ни реки. Проселок какой-то задрипанный. И торчим здесь сколько времени уже, на пупыре посреди степи. Может, в наказание и запихнули сюда. Что-то вроде гауптвахты военного времени. Захотели в штабе крестик на карте поставить: вот, здесь противник не просочится, и сидим мы непонятно где.

Старлея жалко немного. Воевать всё рвался. Помогать братскому народу, мать его, с терроризмом бороться. Хотя и поделом ему. Навоевался вдосталь. Выше крыши. Хорошо хоть сигарет изрядно, а то и вовсе сдвинешься, особенно с водилой. Сосед его, Храмец, говорил, что плакал он, как дите малое, только что в штаны не напустил. С кулаками бросался. Теперь все броню гладит. Нюхает. Псих. Старлей прав ведь – что после напалма останется? Весь перед ведь залило, горело жутко, всё должно было выгореть – и кровь, и остальное... Хотя Храмец говорил, все стекла перископные кровью залило, так и брызнуло, как из помидора давленого. Говорил даже, слышал хряск. Врет, скорее всего. Помню, на улице легковушку давили, слышно не было ничего совсем, ни хруста, ни скрежета. Дизель ревет, вроде глухо, но мощно, воздух дрожит даже, и шлем к тому же. Врет. А если всё-таки...

Чупров торопливо огляделся по сторонам – никого не видно – и, нагнувшись, понюхал броню.

Позади танка из брезента, веревок и кольев был устроен навес. Старший лейтенант сидел под ним. И смотрел на облака. Ему они казались горами. В горах было холодно. Старший лейтенант знал это точно и доподлинно. Он недавно был там. Совсем недавно. В горах лежал снег. Ноздреватый, с грязью. Откуда там, наверху, грязь? Наверное, приносит снизу ветром. Сдувает с дорог, с куч выброшенной саперными лопатами земли. От наших дел грязь повсюду. И всё-таки – там прохладно. Солнце и там жарит, и еще сильнее, но воздух прозрачный и холодный. Зайдешь в тень – сразу зябко. Там по камням течет холодная вода. Много, очень много холодной воды. Около нее приятно отдохнуть. Лечь так, чтобы никто тебя не увидел с тропы. От воды тянет холодком. На лицо падают ледяные брызги. Ледяные. Старший лейтенант пошевелил носком ботинка бидончик. Что-то плеснуло на самом доньшке. Он встал, выбрался из-под брезента и полез на танк. Открыл башенный люк и крикнул внутрь:

– Семченко, подай термос!

Отозвались не сразу, что-то звякнуло, зашевелилось. Старший лейтенант потянул носом воздух:

– Семченко!

– Да, господин старший лейтенант? – кто-то хихикнул в темноте.

– Семченко, ты...

– Трезвый как стеклышко. Всегда готовый. У меня в школе по поведению всегда отлично было.

– Ты дерьмо, Семченко, трусливое, паскудное дерьмо. Ты понял меня? Вылазь, вместе с травой. Я тебя предупреждал!

– Предупреждали. А теперь чего – расстреляете перед строем? Из табельного

пистолета, правда, Храмец? Наш старший любит пистолетом в харю тыкать, правда? А, забыл, он не слышит. Он себе под днищем могилку выкопал и дрыхнет. Прохладно там. Сверху шестьдесят тонн бронированного дерьма, снизу местные пустоземы. Он себе дерном местечко выложил.

– Семченко! – прошипел старший лейтенант.

– Говорит, и в завещании укажет, чтоб клали его обязательно на травку. – Из смрадной темноты за люком снова раздалось истерическое хихиканье.

Старший лейтенант упруго, по-кошачьи, спрыгнул в люк. Вскоре из люка очень быстро вылез небритый человек в грязной майке, спрыгнул и, покачиваясь, быстро побежал вниз по склону. Вслед за ним из люка выпрыгнул старший лейтенант, с пистолетом в правой руке и свежей ссадиной на костяшках левой. Выстрелил, не целясь. У ног бегущего взметнулся фонтанчик пыли. Человек упал и прикрыл голову руками. Старший лейтенант подбежал к нему и ударил носком ботинка под ребра. Потом в пах.

– Дерьмо! Трусливое, паскудное, вонючее дерьмо! Из-за таких, как ты, мы и завязли в этой войне, тонны дерьма, одно дерьмо, жрущее, кайфующее, потеющее дерьмо!

Семченко скрючился и захрипел.

– Думаешь, дерьмо, я боюсь, что ты наплетешь про меня? Ведь наплетешь, иуда, наплел ведь уже?

– Не-ет, – просипел тот.

– Я в таких, как ты, уже по уши, по уши, по уши!!

– Старлей, оставь!

Старший лейтенант оглянулся. За ним стояли Чупров и тощенький механик-водитель. Чупров в руках держал автомат.

– Пистолет спрячь, старлей.

Старший лейтенант сунул пистолет в кобуру. Повернулся и пошел вверх по склону. Чупров присел на корточки рядом со скорчившимся в пыли человеком:

– А ты у нас, Васенька, Иванушка-дебил. Национальный герой. Вставай.

– Боль-но!

– Вставай-вставай... О, так вот. Ножками пошевели. По яйцам попало? Не беда, тебе они сейчас всё равно ни к чему, руки мозолить только. Вот так, руку сюда клади, и пошли... Тяжелый ты, жрешь, видно, много. И не срешь вовремя. Вечно тебе среди ночи приспичит. Вот дерьмо в тебе и копится. На месте старлея я б знаешь что сделал? Бежал бы ты у меня вокруг пупыря нашего, яйцами тряс, пока кайф не выбегаешь. О, вот и пришли. Мы тебя под брезентик положим, в тенок. Вот так вот. Водички холодненькой? Пей, пей... Зачем, говоришь, старлей полез? За термосом этим? Дебилушка ты наш, славный наш Васенька... Чего?... Водила, скажи, почему мне все советуют заткнуться?

– Потому что тошнит от тебя.

Чупров ухмыльнулся, блеснув золотыми коронками.

– Это потому что у меня вот тут спокойно, – он постучал пальцем по нагрудному карману, – а у вас, разумненьких, там дерьмо бродит. Вот вам и тошно от меня. А по мне – война есть война.

Механик-водитель сказал зло:

– Для нашего командира тоже война.

– О, наш командир. Псих он. Якак его в первый раз увидел, понял – псих. Всё с ним ясно. А вот ты, парень, чего здесь?

Механик-водитель замялся:

– Как чего... призвали.

– Врешь! – Чупров хохотнул. – Врешь, водилка тощенький, это меня призвали и Васеньку нашего, а ты ведь сам пошел. Студентик ты, недоучка. Доброволец. Защитник отечества. Спаситель от терроризма. Что, dospасался?

Механик-водитель, сжав кулаки, выскочил из-под брезента. Чупров выудил из кармана еще одну мятую сигаретку, закурил.

– Чупров, дай, а?
– Не дам, Вася, не дам. Вот, воды хочешь? На, выпей.
– А это правда? Что наш водила – добровольно?
– Правда. Ты что думаешь, на войне этой добровольцев мало? Еще сколько! Защитнички. Сопли вытрут – и за отечество. Я думал, в кино только такое бывает. В книжках. Ну, отморозки всякие, двинутые на идеях. Особенно те, с повязками на рукавах, ну ты знаешь, наверное. Так нет. Теперь вот водила наш стесняется.

– Это понятно. Я б тоже стеснялся.
– А я б – нет. Раз решил убивать добровольно, отечеству на славу, – убивай.
– Он, может, сперва решил, а потом... потом пожалел. Или струсил. Тошно ему стало. Мало ли чего воображаешь там, на гражданке. А как понюхаешь вблизи...

– Знаешь, Вася, как душу продают? Добровольно, без принуждения? Приходишь ты куда надо и говоришь – а за столом сидит аккуратный такой, в костюмчике и в очках, – так вот, говоришь: жизнь моя мне не нравится, хочу того-то, сам не могу, пособи́те. А он тебе: не вопрос, распишитесь во-от здесь. Кровью не обязательно, у нас сейчас чернила в ходу. И расписываешься. И получаешь. А потом – вопи не вопи – наслаждайся покупкой. Какая разница – из глупости или высоких идей. Жри, студентик!

Чупров хохотнул, брызнув слюной.

– У меня в штабе приятель. Он и рассказал. Знаешь, кто наш водила? Будущий педагог. Он деток дефективных будет уму-разуму учить.

– Правду говорят – тошнит от тебя.

– Да ты, я смотрю, водилку нашего прямо-таки любишь. Между прочим, если бы он не затормозил, пацан не успел бы бутылку бросить. Мы бы его аккуратненько проутюжили, и ты бы в штаны надеть не успел. И напалмом бы на нас не попало, и не стал бы ты из люка выскакивать, и старлею не пришлось бы тебя с пистолетом успокаивать.

А ведь страшно, Васенька, правда, страшно сгореть заживо, а? В самоходном гробу изжариться? Бьешься, как рыба об лед, и выбраться не можешь, а твой верный боевой агрегат, как костер, пылает. Ты ж видел, как тех, сгоревших в Городе, вытягивали из люков? Крючьями за кости цепляют и тащат, а с них горелые ошметки обваливаются. А там, в Городе, чуть не на каждой улице по десятку танков горелых осталось. Дали нам жару братья-славяне!

Чупров расхохотался. Потом достал еще одну сигаретку, закурил, затянулся глубоко, с видимым удовольствием. Выдохнул над лежащим. Затянулся снова.

– Ты не дергайся, Вася, полежи еще малость, полежи. Водички еще хочешь? Не хочешь? Да ты на меня не обижайся, я не со зла, ты же знаешь, я друган твой, честное слово. Как же, ведь в одном гробу ездим!

Лежащий приподнялся на локте:

– Чупров, а сука эта где? Старлей?

– Погулять пошел. Злость разогнать.

– Чупров, ну дай, а? Мне больно. Эта сука мне все яйца отбила. И бок ноет. Я же знаю, есть у тебя. Я же сам видел. Ну пожалуйста. Не в падлу, а?

– Не видел ты. Если б видел, донес бы.

– Да не доносил я!

– Доносил, Вася, доносил. Старлея подставил. Не со зла, что правда, то правда. По глупости выболтал. А разница? Знаешь, а у меня идея появилась. Давай тебе, Вася, покаяние устроим. Тогда, может, и дам. Согласен? Ну и хорошо. Повторяй за мной: я, Василий Семченко... Повторяй, ну давай, громче: я, Василий Семченко, дурак, трус, доносчик и вообще му́дила! Здорово. Ну что, чувствуешь себя лучше, чище, светлее? Ничего, сейчас почувствуешь.

Чупров покопался в карманах и достал свернутый из газетной бумаги коротенький бычок.

– Вот тебе кусочек счастья. Скажи: спасибо, господин Чупров. Внятно, внятно. Фу ты,

у тебя аж руки трясутся – противно смотреть.

Чупров щелчком вышиб окурок за брезент. Налил себе полную кружку воды из термоса. Медленно выпил. Посмотрел на лежащего. Тот жадно, короткими, частыми затяжками курил, заглатывал дым, кашлял и снова жадно затягивался. На нечистой щетине, на подбородке, дрожала капля слюны. Дым не спешил выползти из-под брезента. Липковатый, сладкий, полз под ним, высачивался потихоньку наружу. Чупров не очень любил травку. Больше любил дешевый, крепкий табак, от которого продирало горло. От которого чувствуешь себя живее. Теплее. Трезвее. И спокойнее.

– Чупров!

Старший лейтенант не стал залазить под брезент. Чупров увидел только его ботинки, добротные, мягкие ботинки с высокими шнурованными голенищами, слегка запачканные в пыли, крепкие, без следов мазута и масла, почти не поцарапанные. На старлея приятно было смотреть пониже колен.

– Чупров, что всё это значит?

Чупров, подхватив автомат, шагнул наружу.

– Ты почему не на дежурстве?

– Сейчас пойду. Васю надо было... понимаешь? Я ему дал немного покурить. Больно ведь. Зря его так.

Глаза у старшего лейтенанта были белесые, будто припорошенные пылью. И кобура – расстегнута. И правая рука – на ней.

– Чупров, ты почему не на дежурстве? – Лейтенант сжал пальцы на рукояти.

– Старлей, оставь, – сказал Чупров, – не вынимай пушку. Старлей, я тебе серьезно. Если ты вынешь пушку, то...

– Что «то»?

– То... хуже нам будет, чем сейчас. Гораздо хуже... Давай разберемся, старлей. Спокойно, как люди. А не как... не как солдат с командиром. Зачем вызверяться? Ты же ему ребро сломал, смотри. Если Вася на тебя опять накапает, ты под трибунал пойдешь. Я свидетель. И водила – свидетель. Давай по-человечески.

– С тобой по-человечески? И с этим?

– По-человечески.

Лейтенант помедлил немного. Потом разжал пальцы.

– Хорошо, Чупров, давай поговорим.

Они зашли под брезент и присели на ящики друг против друга. Лежащий, торопясь спрятать окурок, проглотил его, ожег язык и закашлялся.

– Чупров, ты знаешь, какое сейчас время?

– Война.

– Да, война. Ты знаешь, что на войне бывает за неподчинение командирскому приказу?

– Старлей, ты же человек всё-таки.

– Человек. И твой командир. И если я тебе приказываю, ты идешь, и выполняешь, и не спрашиваешь зачем. Ты понял меня, Чупров?

– Хорошо. Когда следующий раз прикажешь детей давить – я без вопросов.

– Да, – стеклянным голосом сказал старший лейтенант, – когда на дороге будет стоять твоя мать, Чупров, с бутылкой напалма в руках, я тоже прикажу нажать на газ.

– А ведь ты знаешь, старлей, – от бензинчика из бутылки ничего б нам не было. Подкоптили бы броню, и всё. Или ты тоже струсил, как наш Вася?

Лейтенант молчал, глядя на Чупрова. Пальцы Чупрова, сжимавшие рукоять автомата, побелели.

– Я объясню тебе. Здесь, на войне, ваша жизнь и смерть отдана мне. Мне дано право командира – решать. И отвечать за решения я буду перед теми, кто выше меня. И если бы я решил сохранить жизнь тому мальчишке, я бы приказал свернуть. И мы бы вместе с танком упали с моста в реку. С десятиметровой высоты. Ямог бы приказать затормозить, и мы бы стали мишенью. И, возможно, сгорели бы. Не от напалма, так от гранаты откуда-нибудь

из-за домов. Но я приказал ехать. И мы остались живы и целы. А если бы механик-водитель не затормозил, мальчишка не успел бы даже бросить бутылку.

– Я не воюю с детьми, – тихо сказал механик-водитель.

Чупров и старший лейтенант повернулись – водитель тихо подошел и стоял рядом, слушая.

– А-а, доброволец! И чего ж ты ожидал? Что тебе для отстрела выставят шеренгу усатых дядек, и у каждого на лбу будет написано: «Я – конфедерат»? Нас здесь все ненавидят, от мала до велика, все: и хрычи эти вонючие, и младенцы, и бабы с бидонами, все. Братья-славяне, едрит их корень. Братья эти после той войны десять лет в нас стреляли. Думаешь, прошло и забылось? Да ни хера – мы сами помогли вспомнить, освободители сраные. Тебя б малец этот, если б мог, зубами на части разодрал!

– Ему лет семь было, не больше.

– Ты еще скажи, что из него гений мог бы вырасти. Великий общественный деятель. Спаситель, мать его, человечества!

– На войне убивают. Всех, взявших в руки оружие, – отчеканил старлей. – Когда ты ехал сюда, ты ехал убивать. По приказу.

– И детей?

– Да, и детей.

– На войне угрожают своим подчиненным пистолетом?

– Да, если они трусливы и нерешительны. Если они пытаются затормозить, зная, что танк не успеет остановиться. Если они в истерике. Если обезумели от страха.

– Я об этом не думал! Если я вижу ребенка на дороге – я останавливаюсь. И всё.

– Не думал? А голова на плечах у тебя зачем? Знаешь, доброволец, старлей тут прав. Ему и вправду дано право нас угробить. А тут ты это право на себя взял. Тебе ж приказано было – двигать. Давить. А ты тормозишь. Так что тут, выходит, ты виноват, а не наш любимый командир... Тут другое представить можно. Вот стоят у стеночки, с завязанными глазами, а в твоих пальчиках потных – автомат. И старший лейтенант отдает приказ: «Стреляй!» Право у него такое, приказы отдавать. А твой долг перед Родиной – пальчиком на крючок нажать. За Бога, царя и отечество. Ты ж присягу приносил.

– Не надо другого представлять, – оборвал его лейтенант.

– Лучше я б в реку свернул. Несколькими подонками стало б меньше! – выкрикнул водитель.

– Видишь, старлей, водила лучше б нас всех угробил, чем совесть свою шевелить.

Механик-водитель, наклонив голову, бросился на Чупрова. Тот, повернувшись, сунул ему навстречу автомат прикладом вперед. Водитель хакнул и осел, согнувшись.

– Что, Чупров, поговорили по-человечески? – устало спросил старший лейтенант.

Чупров не ответил.

– Иди дежурь. Твоя вахта.

Чупров вышел из-под тента. Старший лейтенант помог подняться механику-водителю, усадил его около ящика. Налил для него в кружку воды. Потом присел сам. Расстелил на ящике кусок промасленной ветоши, достал пистолет и начал разбирать, бережно раскладывая на ветоши детали.

Было часов около трех пополудни. И еще жарче. Чупров сидел перед танком и курил. Рядом, на ящике, стояла открытая банка с недоеденной тушенкой. Над ней вились мухи. Чупров докурил, щелчком отбросил окурочек и крикнул:

– Вася!

– Чего тебе?

– Чай там остался?

– Остался. Тебе принести?

– Принеси. И без сахара, смотри.

Через несколько минут рядом с Чупровым появился небритый человек в грязной майке

и с двумя пластмассовыми кружками в руках.

– Я ж тебя просил: без сахара.

– Перепутал. Вечно я так... Слышь, Чупров?

– Слышу.

– У тебя еще осталось, а? Я ж верну, чем хочешь поклянусь, верну, ну дай, а? Второе верну!

– Не дам, – равнодушно ответил Чупров.

– Не дашь. А почему? Ладно, но хоть потом дашь? Какой же ты!..

– Дерьмовый ты чай заварил.

– Какой был, такой и заварил. Хоть бы спасибо сказал, что такой принес.

Некоторое время они пили чай молча. Потом Вася, жадно глядя на оттопыренный карман чупровского комбинезона, спросил:

– Чупров, скажи, ты кем на гражданке был? Сколько времени вместе ишачим, а ты ни разу не рассказывал.

– Зачем тебе это знать?

– Да так, интересно просто.

– Интересно, значит. Хорошо, скажу. Только сперва ты мне скажи, был ты на гражданке кем-нибудь?

– Я ж говорил тебе, я шоферил. В такси. И так еще, по всякой мелочевке подрабатывал. Там подфарцуешь, здесь. – Семченко хохотнул.

– Я не спрашиваю, что ты делал. Я спрашиваю, был ты кем-нибудь или нет. Зависело от тебя что-то в мире или ни хрена не зависело, подохнешь ты или жив будешь.

– Ты что, серьезно? Ну, не знаю. Наверное...

– Наверное, не зависело. И не был ты никем. А здесь, посмотри, тебе ведь паскудно, правда?

– Правда.

– А поспорим, ведь ты и приятелям своим, и детям своим, а может, если повезет, и внукам взахлеб заливать будешь, как тебе здесь было. Как и в танке горел, и в гильзу срал. Потом-то и окажется, что вот это, – Чупров махнул рукой к горизонту, – и было самым замечательным в твоей жизни. И зависело от тебя ой как много. Моя жизнь, например. Или того пацана. Как знать, может, из него в самом деле Эйнштейн бы вырос? А ты его – хрясь – и на гусеницу намотал. По собственной семченковской воле. На своей собственной войне. Вот он ты, меняющий историю человечества Вася Семченко.

– Не я мотал! Я танком не командую.

– А разница?

– Как это? Я никому пистолетом под нос не тыкал! И почему это война – моя?

– А чья же? И твоя тоже. Ведь ты же на ней пацанов давишь.

– Я не давлю!

– Давишь, давишь. Думаешь, раз старлей приказал, всё на нем или на водиле, а ты чистенький? Э, нет. Простая б тогда жизнь была. И ты, Васенька, тоже детоубийца.

– Так и ты ведь.

– И я. Только я и не трус. Меня сюда послали убивать – и я убиваю. По приказу и собственной воле. И люблю потом в зеркало на себя смотреть. Какой я, Чупров, солдат отечества.

– Злой же ты, Чупров. И охота тебе... вспоминать всё время.

– Злой, говоришь. А насчет охоты... Тебе не кажется странным, что нас вдруг отправили сюда – без пехоты, без палатки нормальной, окоп для танка, и то самим отрывать пришлось? И сидим мы здесь черт-те знает сколько времени, и никто не едет, не идет, и по рации не вызывает, и непонятно, на кой мы здесь вообще ляд. Тут-то и дорог никаких.

– Потому и здесь, что дорог никаких, а проехать можно. А допустить, чтобы проехали, нельзя. А почему именно мы? Так это лейтенанту вроде гауптвахты. И нам заодно.

– Ага, именно. Гауптвахты. Место отбывания наказания, как говаривал один мой

приятель. А вот представь, друг Вася, что мы умерли.

– Как умерли?

– Так. Сгорели тогда, в танке. Сжег нас малец. Затекло в жалюзи или еще куда, на мотор, скажем, добралось до боезапаса, и – кранты. И судили нас за то, что сделали. Убийц и на том, и на этом свете судят. А теперь мы за грехи наши и будем сидеть здесь, в аду, посреди невозможной этой степи, и всегда будет лето, жара невыносимая, мухи со слепнями, пыль, и мы будем караулить, караулить, а никто так и не проедет. И так – всю вечность. А я, например, бес, который тебя, Васю, всё время мучает и мучить будет за трусость твою и глупость. Дергать больную твою глупую совесть.

– Ты что, серьезно?

– Или, скажем, наш старлей – бес. Кажется, в это тебе будет полегче поверить.

– Ну ты, знаешь...

– Не веришь? Ладно, дело твое. – Чупров ухмыльнулся. – Кстати, живой человек Вася, ты не разбудишь Храмца? Может, он уже точно не живой. Шестой час под танком валяется.

Небритый человек посмотрел диковато на Чупрова, встал и пошел. Он обошел танк, у кормы присел на корточки и крикнул:

– Храмец!

В ответ не услышал ничего. Тогда он взял лопату и потыкал под танк черенком. Некоторое время не происходило ничего. Потом кто-то хрипло и непристойно выругался.

– Ты как, Храмец, живой? – участливо спросил небритый человек в грязной майке.

– Пошел на х...й! – ответил с ненавистью хриплый голос. – Какого х...я ты меня будишь? Моя вахта, что ли? Или командиру нейметя?

– Да нет, Чупров просил узнать, как ты там. Лежишь там под танком, как труп. Душно там. Задохнуться можно.

– Просил узнать?! Какая ему, на х...й, разница, труп я или нет? Ему хоть все сдохни, всё по х...й. И мне тоже, а он – особенно... Шел бы ты на х...й и спать не мешал!

– Тут перекусить кой-чего есть. Ты как? – спросил небритый человек.

Но ответа не услышал. Подождал немного, пожал плечами и пошел назад, к Чупрову.

– Ну как, спросил? – спросил Чупров.

– Спросил. Ну ты, наверное, слышал.

– Слышал.

– Чего он, не пойму. Накумарился, что ли? Слышь, Чупров, а ты ведь так и не сказал, кем на гражданке был?

– Никем я не был, – сказал Чупров, глядя в мутное, белесое небо, – и никем не буду.

Потом они сидели и молчали, прихлебывая пахнущий мазутом чай, а по небу, как и вчера, и позавчера, как и за множество дней перед тем, медленно и тяжело, оплывающей кляксой жира ползло к горизонту солнце.